

Клод Карон



**ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ
ПАРИЖА**



CLAUDE CARON

HISTOIRES D'AMOUR
DES MAISONS
DE PARIS

КЛОД КАРОН

ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ
ПАРИЖА

МОСКВА
КРОН-ПРЕСС
1998

ББК 83.34 Фр
К25

Перевод с французского
Н. ВАСИЛЬКОВОЙ

Оформление
В. ОСИПЯНА

Карон К.

К25 Любовные истории Парижа/Пер. с фр. Н. Васильковой. — М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. — 384 с. — Серия «Экспресс».

ISBN 5-232-00677-0

«В этом доме жили и любили...» Проходя по парижским улицам, Клод Карон рассказывает нам истории знаменитых любовников, которые в его книге совсем не таковы, какими мы привыкли их видеть.

Мы встретим здесь эгоистичного ипохондрика Ламартина, для которого восхитительная «Жюли — Эльвира» была, может быть, всего лишь ступенькой на пути к славе. За свирепой маской Скаррона скрывается достойный жалости человек, который до самой смерти с трогательным самоотречением любил ту, которая станет впоследствии госпожой де Ментенон. А вот Анри Мюрже, этот жирный и лысый Рудольф, оставивший бедняжку Мими (Люсиль Луве) умирать в больнице, так и не найдя в себе мужества отдать ей последний визит...

Вот еще Александр де Богарне и Дельфина де Сабран, Огюст Конт и Клотильда де Во, Пьер и Мария Кюри, Люс и Бланш д'Антиньи... Аристократы и простолюдины, нищие и богачи, которые жили в парижских домах, теперь знакомых и нам благодаря великолепным иллюстрациям к книге.

Эта книга одновременно развлекает и обогащает; мы найдем в ней не только результат трудов и многолетних исследований, но и самые прекрасные страницы любовных писем великих людей. Это чудесная книга, рождающая мечты.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Любовь и Париж... Эти два слова таят в себе неизъяснимое очарование. Не случайно мы объединили их в названии этой книги, потому что ни один город мира не был свидетелем стольких любовных историй. Ведь действительно — именно в Париже чаще всего встречались великие любовники: писатели, артисты, политические деятели — или просто безвестные жители ушедших эпох.

Мы сознательно говорим «ушедших эпох», потому что решительно не намерены рассказывать здесь о любви — далеко не всегда супружеской — тех, кто находится сегодня рядом с нами.

Мы так же сознательно рассказываем лишь о тех домах, которые и сейчас стоят на улицах Парижа, чтобы дать возможность каждому из наших читателей самому отправиться на поиски навеки умолкнувших теней. Разыскать эти здания было непросто: мы то и дело натыкались на следы деятельности «реконструкторов», не питающих ни малейшего почтения к старым стенам — хранилищу хрупких воспоминаний. И не однажды на своем пути проклинали мы барона Османа* и ему подобных!

* Осман, барон (1809—1891) — префект департамента Сены времен Второй империи, возглавивший грандиозные работы по реконструкции Парижа. — *Прим. ред.*

Но эти трудности придавали нашему поиску особенно волнующий характер, и какая-нибудь мансарда с окном, выходящим в прошлое, значила больше, чем роскошный дворец, не согретый теплом великого чувства.

К счастью, в этом неисчерпаемом городе сохранилось достаточно домов, особняков, квартир, чтобы дать материал для одной, а то и нескольких книг, способных пробудить в тех, кто прочтет их, — мы очень на это надеемся! — желание самим отправиться в путь по улицам, дворам, лестницам и садам, чтобы оживить в воспоминаниях уснувшую на время любовь.

А может быть, благодаря этому им посчастливится пережить свой собственный чудесный роман — роман с Парижем. Ведь этот город дарит себя всякому, кто любит его, — дарит свои улицы, дома и свою историю...

ФРАНСУАЗА Д'ОБИНЬЕ И ПОЛЬ СКАРРОН

Улица Тюренн, 56

Вероятно, именно в память о своей беспокойной Юности Франсуаза д'Обинье, став госпожой де Ментенон, основала школу Сен-Сир, чтобы дать приют и хорошее воспитание бедным девушкам из хороших семей.

Надо сказать, мало кому выпало испытать в детстве столько превратностей и невзгод, сколько ей.

В ноябре 1635 года, когда девочка появилась на свет, ее отец, Констан д'Обинье, сын знаменитого гугенота Агриппы, сидел в тюрьме за долги. Собственно, за решеткой этот человек провел большую часть своей жизни. Констан д'Обинье был личностью малоинтересной — слабовольный, не желавший жить скромно, но не обладавший талантом и размахом, которые позволили бы ему сколотить состояние — хотя, видит Бог, он испробовал все возможные и невозможные способы, вплоть до изготовления фальшивых купюр. К тому же он заколол кинжалом свою первую жену с любовником, застав их на месте преступления. Любовь слепа, и все вышеизложенное не помешало Жанне де Кардильяк увлечься д'Обинье и выйти за него замуж, несмотря на большую разницу в годах. В промежутке между отсидками Констан ухитрился

сделать жене троих детей — Констана, Шарля и Франсуазу, — ничуть не беспокоясь о том, как она сможет их вырастить.

Но она, действительно, обожала его. И полжизни провела, умоляя Ришелье освободить мужа, которого кардинал предпочитал все-таки держать за решеткой. На эти цели она израсходовала — нет, не состояние, которого у нее не было, но все свои скудные средства к существованию. Поэтому она любила повторять:

— Я жива только милостью Божьей...

К счастью, Франсуаза не находилась на ее попечении. С трех лет девочка жила в замке де Мюрсей у своей тетки мадам де Виллетт, сестры отца. Родителей Франсуаза видела крайне редко — встречи после долгой разлуки происходили только по случаю появления в доме главы семейства. Впрочем, Франсуазе они не приносили никакой радости, потому что тогда между супругами сцена следовала за сценой, упрек за упреком. И единственное, что давало девочке силы переносить подобные «каникулы», — это присутствие Шарля: Франсуаза всегда испытывала к брату, который всю жизнь будет ярмом у нее на шее, неистоимую нежность.

В 1642 году умер Ришелье. Это означало свободу для Констана д'Обинье, и он воспользовался ею, чтобы принести своих близких в жертву очередной бредовой идее. Он взял жену и детей и отправился с ними на Антильские острова, воображая, что получит там пост губернатора острова Мари-Галант.

Франсуазе исполнилось десять лет; она провела все свое детство в семье, исполненной нежности, но тем не менее носившей на себе отпечаток кальви-

нистской суровости, и вот теперь, в томной и чувственной атмосфере островов ей надо было только пошире раскрыть глаза, чтобы узнать то, что обычно скрывают от девочек ее возраста: любовь на Антильских островах не таилась от посторонних глаз, ее здесь отнюдь не считали грехом.

В течение двух лет своего пребывания на Гваделупе девочка многое повидала, но держала свои знания при себе, потому что мать бдительно следила за воспитанием детей и запрещала им говорить друг с другом на любые темы, кроме упомянутых у Плутарха*. Такое противоречие между тем, что дети видели, о чем догадывались, и тем, что их заставляли думать, ставило перед братьями и сестрой множество вопросов.

Разумеется, никакого поста Констан не получил, и семейство вернулось во Францию, где д'Обинье умер, ничего больше не успев натворить. Очень скоро за ним последовал старший сын: юноша утонул в восемнадцать лет.

Жанна де Кардильяк попыталась спасти его скудное наследство, но на те двести ливров ренты, которые ей удалось отвоевать, содержать детей было невозможно. Шарль устроился пажом к друзьям семьи, Франсуаза вернулась в Мюрсей.

Ей исполнилось тринадцать — возраст, когда дети особенно подвержены любым влияниям, особенно религиозным. Да и вообще она, хотя и была крещена по-католически, воспитывалась как протестантка и вполне готова была отречься от религии, данной ей при рождении, чтобы доставить удовольствие дяде и тете, которые были так к ней добры.

* Плутарх (ок. 46 — ок. 127) — древнегреческий философ-монархист. — *Прим. ред.*

Но тут вмешалась другая ее тетка — госпожа де Нейян, жена губернатора Ньюра. Внезапно вспомнив, что, будучи крестной матерью девочки, она несет ответственность за ее душу, мадам де Нейян не позволила Франсуазе стать гугеноткой. Она получила у Анны Австрийской разрешение забрать к себе девочку, чтобы вернуть ее на путь праведный.

Так Франсуаза покинула кров, где все дышало добротой и нежностью, и перебралась к мадам де Нейян, которая была столь же скупа, сколь богата, и столь же суха, сколь и набожна и ни на минуту не позволяла девочке забыть, что держит ее только из милости.

Осознавая важность своей миссии, благородная дама пыталась силой вдолбить в голову племяннице азы католической веры. Разумеется, подобный метод не дал никаких результатов; раздираемая между двумя религиями, бедная Франсуаза едва не стала атеисткой. Но поскольку ей не хотелось сердить благодетельницу, получившую одобрение двора, она притворилась, будто и впрямь вернулась на праведный путь. Именно с тех пор у девочки появилась привычка скрывать свои чувства — привычка, которая сопровождала ее в течение всей дальнейшей жизни.

Ее отдали в монастырь урсулинок в Ньюре — скорее потому, что так принято, для завершения образования. Франсуазе там не нравилось, она никак не могла приспособиться к слишком суровой дисциплине. Госпоже Нейян пришлось забрать ее из монастыря, и она заставила девочку заплатить за это, взвалив на нее всю тяжесть хозяйственных работ. Франсуаза жила как служанка и пасла индюшек, изучая Пибрака, что позже послужило

темой лубочных картинок из жизни мадам де Ментенон.

Когда ей исполнилось шестнадцать, тетка решила, что пора пристроить племянницу, ибо всякое милосердие имеет свои границы. Мадам де Нейян прекрасно понимала, что выдать Франсуазу замуж будет трудно, если не вовсе невозможно. У нее не было приданого, отец ее пользовался более чем сомнительной репутацией, а ее образование во многих областях оставляло желать лучшего. В такой ситуации у девушки было лишь два пути — уйти в монастырь или коротать век в девках. Но как для одного, так и для другого требовались определенные средства, а обращаться за этим к мадам д'Обинье, которая и так почти нищенствовала, было бесполезно. Хорошенько все обдумав, «благодетельница» пришла к выводу: замужество будет наименее разорительным решением.

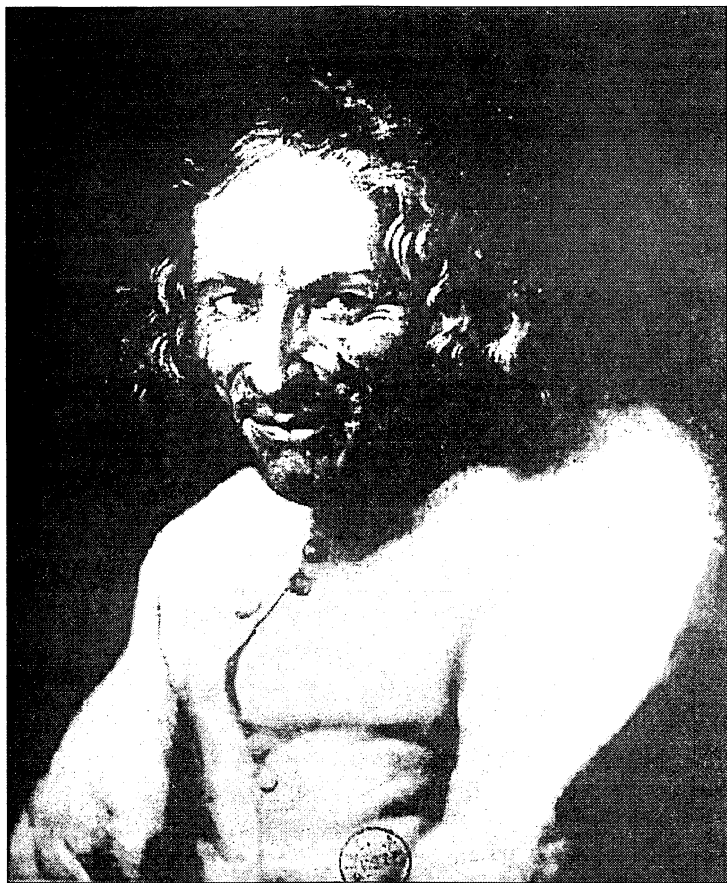
Отправляясь в Париж на переговоры, связанные со свадьбой ее дочери с герцогом Навальским, она взяла племянницу с собой. Кто знает — может быть, там, в столице, где ты не так на виду, представится случай, какого не встретишь в провинции...

Они остановились у двоюродного брата Нейянов, Пьера Тирако, барона де Сент-Эрман.

Как-то в разговоре тот упомянул Поля Скаррона — своего соседа, жившего в особняке де Труа. Мадам де Нейян это имя было знакомо: его слава докатилась и до Пуату.

Действительно, Скаррон был знаменит — и не только как поэт.

Его называли распутником, кутилой, сквернословом, но люди из самого что ни на есть лучшего общества бросали все дела, чтобы увидеться с ним,



*Поль Скаррон, поэт,
родился в 1601 году, умер в 1660 году.
Национальная библиотека.*

потому что он смеялся сам и смешил других, потому что, слушая его, люди забывали, что перед ними калека, урод, почти чудовище. У него была слишком большая для его тщедушного тела голова, один глаз посажен глубже другого, редкие темные зубы, ноги шли «сначала под тупым углом, потом под прямым, затем — под острым», тело изгибалось дугой, а подбородок почти упирался в грудь, так что если кому-то хотелось заглянуть ему в лицо, приходилось заниматься акробатикой.

Он не жаловался на свое уродство, он даже подшучивал над ним:

— До чего же я похож на букву «Z»! Руки у меня короче, чем надо, как, впрочем, и ноги, а пальцы — как руки; словом, перед вами — сокращенный вариант человеческого убожества!

Какая хворь превратила придворного красавца аббата в карлика, скорчившегося на стуле? Одни поговаривали о «мужской болезни», которую плохо лечили, другие обвиняли во всем зимнюю ночь, проведенную на болоте голышом после костюмированного бала.

Но как бы там ни было, в те времена наука была не в силах бороться с этим уродством, даже наоборот — казалось, от лечения ему становилось только хуже.

Такой это был человек.

Но это был также один из самых остроумных и забавных людей своего времени. Вопреки моде, он называл вещи своими именами и не стеснялся высмеивать в своих стихах тех, кто ему не нравился. Он не побоялся атаковать даже фаворита королевы-матери — самого кардинала Мазарини! Над этими его строками много смеялись втихомолку, но вслух из низкопоклонства, а больше из осторожности — счита-

ли нужным находить их чересчур резкими, предпочитая восхвалять «Перелицованного Вергилия», в котором поэт, по крайней мере, издевался только над предками. Многие говорили и о «Комическом романе», который он в то время писал и сюжетом которого должны были стать приключения бродячих артистов. Светские щеголи цитировали его эпиграммы, его остроты, его реплики, и самые утонченные критики прощали ему любые непристойности.

Госпоже Нейян все было интересно. Она узнала, что хозяйство поэта ведет одна его давняя любовница — сестра Селеста де Палезо. Запутавшись в личной жизни, она ударилась в религию и теперь «по старой дружбе» продолжала заботиться о человеке, который сделал ей немало добра и на которого она пыталась (впрочем, совершенно безуспешно) оказывать благотворное влияние.

Все это чрезвычайно возбуждало благочестивую провинциалку, которая в Париже, вдалеке от укоризненных взглядов соседей и родни, чувствовала себя как школьница на каникулах. Она выразила желание увидеть этот феномен, как он сам себя называл, и ее желание вскоре исполнилось: хозяева дома, где она остановилась, были знакомы с Эспри Кабаром, экстравагантным искателем приключений, который был одним из завсегдатаев особняка Скаррона.

Наименее понятно во всей этой истории то, что, отправляясь к Скаррону, госпожа Нейян взяла с собой Франсуазу: казалось бы, дом скандального поэта — не лучшее место для молодой девушки, религиозным и духовным воспитанием которой ее тетка столь энергично занималась.

Обе дамы явились в особняк де Труа, и сестра Селеста проводила их к калекке. Тот, как всегда,



Произведения Скэррона. 1649.
Национальная библиотека. Фото Роже Виолле.

восседал в окружении самого блестящего общества в своем знаменитом кресле, единственном, которое, благодаря механическим устройствам, позволяло ему совершать кое-какие движения. Из подлокотников этого кресла выдвигались вперед железные опоры, на которые можно было поставить столик для еды или письма: ведь практически у поэта оставались подвижными только пальцы.

Мадам де Нейян во все глаза глядела на знаменитую Желтую комнату и всех тех, кто толпился в ней. Она догадывалась, что все это — личности весьма известные.

Но Франсуаза — то ли из-за смехотворности своего слишком короткого платья, то ли из-за уродства Скаррона, причины нам не узнать никогда, — неожиданно разразилась рыданиями.

Гости повскакивали со своих мест. Они ахали, что-то восклицали, суетились вокруг девушки... И красная от стыда госпожа де Нейян поспешила убраться восвояси, толкая перед собой племянницу — эту никчемную, неловкую дуреху.

Вскоре они вернулись в Пуату.

За несколько дней, проведенных в Париже, Франсуаза успела подружиться с дочерью хозяев дома, мадемуазель де Сент-Эрман. Девушки стали переписываться. Франсуаза рассказывала новой приятельнице о мелочах своей повседневной жизни, мыслях, которые приходили ей на ум.

Очевидно, в письмах ее было что-то действительно интересное, потому что мадемуазель де Сент-Эрман показала их Скаррону, который не выносил банальности. Тот припомнил свою заливавшуюся слезами гостью, удивился, обнаружив в посланиях знание жизни, редкое в таком возрасте, и попросил побольше рассказать о девушке.

Узнав, что Франсуаза жила в Америке, Скаррон решил сам написать ей, чтобы расспросить о стране, о которой всегда мечтал и где, наслушавшись рассказов Кабара, надеялся исцелиться от своих болезней.

«Теперь, когда вы разоблачены, надеюсь, вам нетрудно будет написать мне такое же чудесное письмо, какие вы пишете мадемуазель де Сент-Эрман. Я изо всех сил постараюсь ответить вам тем же, и вы будете иметь удовольствие воочию убедиться, что мне до вас далеко...»

Со стороны Скаррона это был вполне естественный поступок: в те времена, когда люди много переписывались, не имея возможности по-другому общаться со своими друзьями, подобный обмен письмами ни к чему не обязывал. С другой стороны, поэт всегда был мастером на комплименты; он знал по опыту: от человека с такой внешностью, как у него, женщины предпочитают читать любезности, чем слушать их из его уст. Вот он и взял за обыкновение, сочиняя письма дамам, очаровывать их словами, и делал это почти машинально.

Ни Франсуаза, ни он сам не придавали переписке большого значения, но, кажется, госпожа де Нейян отнеслась к ней совсем по-иному. Она поспешила увидеть в обмене письмами возможность пристроить племянницу.

Расчет был довольно гнусный, учитывая физическое состояние Скаррона, но благородная дама нашла себе оправдание в том, что Франсуаза-де не может иметь особых амбиций, а для семьи лучше согласиться на такой брак, чем позволить девушке пуститься в любовные приключения, раз уж у нее нет ни

средств к существованию, ни призвания свыше для того, чтобы посвятить себя религии.

Можно предполагать, что, обладая обостренной интуицией, какой отличаются обычно обиженные природой люди, Поль Скаррон мало-помалу распознал суть интриги и забавлялся этим. И если он поддался на уловки мадам де Нейян, то только потому, что это позволяло ему продолжать общение с девушкой, которая вызывала у него жалость. Он настолько хорошо сознавал свое физическое убожество, что решил, если когда-нибудь ему придется жениться, вступить в брак «с особой, с которой достаточно плохо обращались», — тогда стороны будут чувствовать себя на равных.

Но постепенно он стал задумываться о том, что сестра Селеста стареет и все больше становится похожей на монашку и что видеть подле себя каждый день Франсуазу — такую свеженькую, такую аппетитную — идея довольно соблазнительная. А то, что она была не только красива, но и умна, еще больше его вдохновляло.

Однако в его письмах все эти соображения никак не отражались — прежде всего, чтобы не отпугнуть шестнадцатилетнюю Франсуазу, а кроме того, ему не хотелось, чтобы мадам де Нейян подумала, будто он попался на ее удочку.

Вскоре благородная дама снова приехала в Париж — на этот раз на свадьбу дочери — и опять взяла с собой племянницу. Госпожа де Нейян твердо решила, что обратно ее не повезет: в монастырь или под венец, но на этот раз она от Франсуазы избавится. А пока, не желая упустить случай, она всячески потворствовала встречам девушки с калеккой.

И вот между этими двумя существами, каждое из которых было несчастливо по-своему, установилась своего рода близость, ставшая естественным продолжением их переписки. Найдя — может быть, впервые в жизни — человека, которому интересно было ее слушать, Франсуаза поверяла Скаррону свои секреты, постепенно привыкая к уродству, которое вскоре вовсе перестала замечать. Тот, со своей стороны, страшно боялся разонравиться — и в один прекрасный день сам влюбился, так и не решившись, при всей своей распущенности, намекнуть на это даже словом.

Можно даже предположить, что именно этой девочке, чью невинность Скаррон так почитал, он решился рассказать о своей юности: о втором браке отца, который был членом Парижского Парламента и которого за избыток набожности прозвали Апостолом; о ненависти мачехи; о том, как в девятнадцать лет его назначили «маленьким аббатом»... Вряд ли он много говорил о своих тогдашних любовных приключениях — не из стыда и не от сожалений о них: ведь тогда он был так хорошо сложен... так хорошо, что отец, обеспокоенный его успехами, отослал сына в провинцию... Не вдаваясь в причины этого изгнания, Скаррон рассказывал Франсуазе о своей ссылке в Манский капитул, о путешествии в Рим в свите епископа и о том, как по возвращении его назначили каноником.

А вскоре случилось несчастье: ему было двадцать восемь лет, когда его поразила болезнь, с каждым днем усиливавшаяся, несмотря на лечение, несмотря на лекарства, а может быть, и из-за этих самых лекарств.

В этом месте его рассказа Франсуаза должна была пожалеть его, как пожалела когда-то впавшая

в немилость фаворитка Людовика XIII Мари де Отфор, нашедшая себе приют в Мане. Вернувшись в Париж после смерти короля, она испросила для больного у Анны Австрийской ежегодный пенсион в 500 экю, потому что у Поля в то время не было ничего, кроме пребанды — полагавшегося ему как канонику дохода с церковного имущества, который не налагал на него особых обязательств, но позволял худо-бедно прожить, а главное — прокормиться, ведь еда тогда стала для Скаррона единственным из всех возможных удовольствий. Он не мог рассчитывать на наследство отца, потому что его мачеха, а позже и ее дети, затеяли нескончаемый судебный процесс, чтобы завладеть состоянием Апостола. Правда, тот и при жизни не слишком-то мог помогать сыну, поскольку Ришелье лишил его должности.

Наверняка это совпадение — их отцы оба были жертвами кардинала, — еще больше сблизило Скаррона и Франсуазу.

О Поле она говорить избегала. Она знала, что его сестра, ее тезка, ведет жизнь весьма свободную; что в особняке де Труа деньги появляются редко и что ради них Скаррон готов пресмыкаться перед богатеями... Она знала, что он не примет религию (у нее-то самой их было целых две!), что ему — канонику! — чужда всякая мораль...

Франсуаза не задавала вопросов — может быть, потому, что знала ответы от Сент-Эрманов, а может, и потому, что считала: все это ее не касается. Что ей было за дело до общества, окружающего Скаррона, — этой разношерстной и весьма сомнительной компании, несмотря на громкие имена ее членов, — если она не встречалась с



*Мадам де Ментенон
в бытность госпожой Скаррон (1635—1719).
Жена поэта Скаррона с 1652-го по 1660 год.
Живопись Петита, рисунок Жакото, гравюра Ланжье.
Национальная библиотека. Фото Роже Виолле.*

этими людьми и думала, что так никогда и не встретится?..

Однако самой ей надо было что-то решать. Поль, зная об этом, предложил дать ей некоторую сумму, которая могла бы в какой-то мере послужить девушке приданым или, во всяком случае, позволила бы ей спокойно сделать выбор между замужеством и монастырем.

Франсуаза отказалась — из гордости, а может быть, и потому, что ей было известно, как нуждается сам Скаррон.

Но тетка продолжала твердить ей, что единственное возможное для нее будущее — дать религиозный обет, и угрожала заставить племянницу пойти на это. Как-то, во время одного из визитов к поэту, Франсуаза внезапно подумала: до чего ужасно было бы вот так, без всякого призвания, отказаться от своей молодости, дать запереть себя в монастыре. Она высказала свои мысли вслух, и тогда Скаррон предложил ей стать его женой. Она приняла предложение.

Сказала ли она, утверждает Таллеман*:

«Уж лучше замуж, чем в монастырь!..»? Не исключено, что и сказала. А может, она действительно привязалась к Скаррону, покоренная его умом и добротой, которую он проявлял по отношению к ней. Конечно, ее привлекало и блестящее, остроумное окружение, в котором он жил, хотя царствовавшая там свобода была ей не по вкусу. Но какая женщина не надеется изменить образ жизни своего мужа?

Боязнь стать монашенкой... Жалость к больному человеку... А может быть, тайная мысль: он долго не

* Таллеман де рео Гедеон (1619—1692) — французский мемуарист. — *Прим. ред.*

протянет, и еще молодой я стану свободной?.. Трудно с точностью разобраться в мотивах действий других людей, особенно если речь идет о такой женщине, как мадемуазель д'Обинье.

Во всяком случае, одно совершенно ясно: мадам де Нейян и ее племянница были в равной мере счастливы избавиться друг от друга.

Учитывая возраст невесты, брак невозможно было заключить немедленно. В ожидании свадьбы внезапно повеселевший Скаррон стал вынашивать самые фантастические планы, вплоть до пресловутого путешествия в Америку, и пристроил Селесту, добившись для нее сана настоятельницы. Он хотел, чтобы его дом и его жизнь принадлежали только молодой жене.

Но он все еще был каноником и, следовательно, не имел права жениться. Продав свой сан, Скаррон перевел три тысячи ливров, которые принесла ему эта сделка, в кассу Вест-Индской компании, которую он перед тем создал, чтобы осуществить переезд через Атлантику.

Франсуаза еще несколько раз приезжала в Пуату, но по преимуществу жила в Париже на улице Сен-Жак, у урсулинок, которым вовсе не нравились визиты ее жениха. Правда, тот в самом деле стал менее сдержанным в разговорах с Франсуазой, если судить по нескольким стихотворным строкам, написанным им однажды, когда она заболела лихорадкой:

*Когда вы поживаете, дебелия,
На ложе, меж двух грязных простыней,
Я, бедный и несчастный, то же делаю.
Но только сон бежит души моей.*

Перевод Ларисы Румарчук

В конце концов, поскольку ему не терпелось жениться, да и все этого желали, ход событий был форсирован, и брачный контракт подписан 4 апреля 1652 года. Госпожа д'Обинье к тому времени уже умерла, а мадам де Нейян довольствовалась тем, что заочно благословила чету: можно надеяться, что она испытывала угрызения совести.

Ни один из новоявленных супругов не владел никаким имуществом, что не помешало Скаррону отписать Франсуазе «тысячу ливров ренты из наследства, которое будет оставлено мужем в виде имущества, движимого и недвижимого, и преимущественную долю от трех тысяч ливров, находящихся в общем владении супругов», плюс полную собственность на все добро, движимое и недвижимое, «при условии, что от вышеупомянутого брака не будет ни детей, ни внуков». Это последнее примечание вызвало потаенную улыбку у всех, кто присутствовал при оглашении документа: ведь скрюченное тело калеки делало невозможным какие бы то ни было физические отношения с супругой.

На этот счет ни у кого не было сомнений, и сама королева, когда узнала о свадьбе своего подопечного, не удержалась от смеха:

— Жена для него — самый бесполезный из всех предметов обстановки!

Церковный обряд был проведен самым что ни на есть тайным образом — никаких записей о нем не сохранилось. Кажется, Скаррон вполне отдавал себе отчет в том, насколько отвратительно и вместе с тем комично это бракосочетание, и — сам насмешник — не захотел, чтобы над ним смеялись. Но в особенности ему было бы неприятно, если бы ехидные взгляды пали на Франсуазу; он не желал, чтобы

гости потихоньку обсуждали, как будут происходить их интимные отношения.

Говорят, что, благословляя новобрачных, священник спросил жениха:

— Можете ли вы исполнять супружеский долг?

— Это дело моей супруги и мое...

То был наиболее вежливый способ сказать: не суйте свой нос в то, что вас не касается.

Однако, встречаясь с друзьями, он пыжился и одному из них, который отважился намекнуть на деликатную тему, бросил, как бросают вызов:

— Я не делаю с ней глупостей, но учу ее им!

В обществе говорили, что этот брак фиктивен лишь наполовину: с одной стороны, мужчина, у которого болезнь не отняла никаких желаний, но отняла нормальные способы их удовлетворить, а с другой стороны — юная, абсолютно здоровая женщина, которая наверняка мечтала о любви, хотела познать ее, но могла получить вместо этого лишь суррогат.

Стремясь быть примерной супругой, а также, может быть, из сочувствия, она соглашалась делать то, о чем он просил ее — и страдал оттого, что вынужден просить. Но ведь ему было всего сорок пять лет и он был завзятым ловеласом до того, как болезнь приковала его к креслу или к кровати, в которой он даже не мог повернуться без посторонней помощи. И, чтобы скрыть смущение, охватывавшее его от некоторых требований, ему приходилось, в соответствии со своими всегдашними принципами, шутить, насмешничать, издеваться: это был его способ плакать.

В том-то и заключалась его драма: он обожал Франсуазу, которая не любила его или, по крайней мере, любила не так, как ему хотелось. Потому что

новоявленная мадам Скаррон вышла замуж в точности так же, как отправилась бы в монастырь: без истинной веры, без радости, осознавая свой долг и решившись исполнить его, не позволяя себе никаких слабостей, со спокойствием и достоинством. Раз уж она согласилась стать женой калеки, вынесет все последствия этого шага, не жалуясь и не раскаиваясь. Наверное, сам Скаррон хотел бы большей жизни в их отношениях, большего взаимопонимания, большего тепла, большей нежности. Но молодая женщина — возможно, из страха перед искушениями, которые неминуемо должны были возникнуть, поскольку она знала, что красива, — окружила себя стеной, из-за которой вряд ли кто-нибудь мог бы ее выманить.

Новобрачные начали совместную жизнь с поездки в Турень: «он в кресле, она в рыдване».

Дело в том, что процесс между Скарроном и его мачехой закончился компромиссом, согласно которому ему отходили не слишком, правда, обширные владения на Ривьере и в Фужерэ, так что было вполне естественно, что он отправился туда вступить в права наследования.

Но, вполне вероятно, для отъезда поэта из Парижа была и другая причина: вернулся из изгнания Мазарини, и те, кто (как Поль) в свое время жестоко высмеивал его, предпочли теперь оказаться как можно дальше от кардинала. Скаррон даже всерьез рассматривал возможность реализовать свою давнюю мечту о путешествии в Америку. Но первая экспедиция Вест-Индской компании, учредителем которой он был, потерпела полное фиаско, и в данный момент даже речи не могло быть о том, чтобы предпринять новую.

С наступлением зимы поэт махнул рукой на свои

LE
POVTRAIT
DV MESCHANT MINISTRE DESTAT,
IVLLE MAZARIN,
ET SA CHEVTE SOVHAITEE



...
Parler
nom
celui
sente
écrit,
pense
reine
laquel
mêmes
temps
ruinan
tout et
et cond
L
donc
ne per
ponde
la Fio
bles, s
que G
peut-è
gonfle
que R
maints
tance t
sation
trône.
C
durée
Fébr
1640
raison

Мазарини в начале одной из «Мазаринад».
Фото Пьера Марешаля.

попытки вести деревенскую жизнь и с облегчением вернулся в Париж, по которому успел соскучиться.

На какое-то время сестра Скаррона приютила молодую чету у себя, в особняке на улице Двенадцати Ворот (ныне Виллеардуж), но Поль считал, что Франсуаза должна иметь собственный дом.

Подходящий дом нашелся совсем рядом — на углу улиц Двенадцати Ворот и Нев-Сен-Луи (теперь улица Тюренн). Таким образом Поль с сестрой оказались соседями, но жили каждый в своем доме, что устраивало всех, потому что невестка с золовкой были слишком разными, чтобы испытывать взаимную симпатию.

Договор о найме был подписан 27 февраля 1654 года:

«...настоящий арендный договор заключен на сумму в триста пятьдесят турецких ливров, которые должны выплачиваться ежегодно в течение вышеупомянутых трех лет вышеупомянутыми господином и госпожой Скаррон, нанимателями, которые обещают, обязуются и берут на себя солидарно обязательство... отдавать и выплачивать вышеуказанному господину Мери, арендодателю, в его парижском доме или его посылному в четыре срока в равных долях, первую из которых следует выплатить к ближайшему дню Святого Иоанна Крестителя, и так продолжать и далее...»

Когда чтение договора закончилось, нотариус протянул Скаррону перо, и тот подписал документ: затем то же самое сделала Франсуаза.

А тем временем Жак Мери, «советник короля в его советах», разглядывая их, не мог удержаться от мысли, что редко встретишь столь более неподходящих друг другу супругов.

Франсуазе не исполнилось еще и двадцати. Она

была высокого роста, статная, величественная. Пухлый маленький рот, светлые пепельные волосы. Очень закрытое платье не могло скрыть совершенной линии плеч. Но молодая женщина казалась сдержанной и целомудренной, хотя в ее взгляде и мелькал внутренний огонь. Присматриваясь же к ее супругу, Жак Мери заметил, что, даже если не принимать во внимание его явную физическую неполноценность, Скаррон был явно староват для такой юной жены: ему уже перевалило за сорок.

Мери вздохнул и попросил нотариусов, Рише и Лека, подписать договор. В конце концов, что за дело ему было до этой странной четы — лишь бы деньги платили исправно...

Так Поль и Франсуаза Скаррон обосновались в квартале Марэ.

Чтобы понять, чем был тогда этот квартал, попытайтесь представить себе смесь современных районов Нейи, Сен-Жермен-де-Пре, Пасси, Французской Академии и Монпарнаса образца 25-го года. Иными словами, здесь в избытке присутствовали снобизм, богатство, удача, успех, артистическая или литературная слава, известность в свете — здесь жил «цвет Парижа», его лучшие люди, его элита.

Понятно поэтому, что значил тогда для парижан этот небольшой участок земли, границами которому служили Лувр, Королевская площадь и Новый мост и с которого глаз не сводила вся Европа: о человеке говорили «он из Марэ» так, будто один только этот адрес заменял свидетельство о благородном происхождении.

Для Скаррона, который не мог передвигаться

иначе как в своем инвалидном кресле, возможность жить в этом квартале имела большое значение, но вовсе не из снобизма: просто он очень ценил возможность жить поблизости от своих друзей. Поэт не строил на их счет никаких иллюзий, он прекрасно знал: чем меньше им придется до него добираться, тем чаще он будет их видеть. И действительно: мадемуазель де Скюдери*, автор «Карла Великого», жила на улице де Бос, маршал д'Альбре владел особняком на улице Фран-Буржуа, а дом маршала д'Омона, дальнего родственника поэта, стоял на улице де Жуи. Нинон де Ланкло** поселилась на улице де Турнель; а верный Александр д'Эльбен, прозванный «покровителем девушек из Марэ», обитал разом во всех окрестных кабаках, в том числе на Ранси, откуда было всего несколько шагов до улицы Парк-Рояль.

Место работы Скаррона тоже находилось в этом квартале — театр, где игрались его комедии, располагался в сотне метров от его дома, на улице Вьей-дю-Тампль.

Дом, где поселилась наша чета, был построен совсем недавно, как и улица, на которую он выходил. Правда, он стоял «на плохой стороне»: улица Нев-Сен-Луи разделяла кварталы Марэ и Марэ-дю-Тампль, и чтобы попасть в обиталище парижского «бомонда», супругам пришлось бы перейти дорогу. К тому же дом, по существу, являлся пристройкой к особняку Монтрезоров и не имел ни своего сада, ни ворот.

* Скюдери, Мадлен де (1607—1701) — французская писательница, автор галантных романов. — *Прим. ред.*

** Ланкло, Нинон де (1616—1705) — французская писательница. — *Прим. ред.*

Но Поль не придавал значения подобным мелочам. К чему ворота, если нет экипажа? И зачем сад, если не можешь спуститься туда без посторонней помощи? Что же до «хорошей» или «плохой» стороны улицы, то для него это было вовсе не важно. Он отлично знал, что те, кто составляет ему компанию, отнюдь не снобы. Кроме того, ему не приходилось краснеть за соседство: справа — Клод де Бурдейль, граф де Монтрезор; слева — казначей Клод де Женего; кареты, которые останавливались у его дверей, принадлежали только отпрыскам из знатных фамилий.

Да и сам особняк, где они поселились, вполне отвечал потребностям Скарронов: наверху — апартаменты Франсуазы с большой спальней, смежной с ней комнатой поменьше и гардеробной; внизу, на втором этаже — гостиная и комната Поля, где была полностью воспроизведена обстановка, окружавшая его в особняке де Труа.

За три века, прошедших с тех пор, здесь ничего не изменилось: тот же узкий темный коридор, соединяющий улицу с малюсеньким двориком, куда выходят окна кухни и подсобных помещений; та же лестница под навесом, ведущая на верхние этажи...

Глядя на это неприветливое место, понимаешь — куда лучше, чем из рассказов современников, — сколь велика была популярность поэта, если дворяне, знатные господа и светские дамы с радостью приходили в этот дом, так мало напоминавший особняки Марэ, которые они привыкли посещать.

Правда, внутренние помещения были довольно приятными: Скаррон слишком долго жил в чужих домах, чтобы не мечтать о собственном жилье,



*Дом на улице Тюренн,
где в XVII веке жил поэт Скаррон.
Фото Харлинг — Роже Виолле.*

которое отличалось бы от всех его временных пристанищ. Впрочем, самому ему немного было нужно — он лишь перебирался из кровати в кресло и обратно, другая мебель была для него бесполезной. Но Франсуаза! Вот для нее он и хотел обрамления, достойного ее красоты. Поэт хотел, чтобы ей нравилось жить в их новом доме, чтобы она чувствовала себя здесь хорошо, чтобы ей было уютно. Все деньги, которые у него были, он вложил в мебель и гардины и занимал не задумываясь, чтобы купить еще один ковер или пару светильников. Его друг д'Эльбен предоставил ему неограниченный кредит, и Поль не скупясь тратил его деньги. Может быть, он надеялся, что в такой обстановке его жена забудет, что в действительности она не жена ему и не станет ею никогда? Он догадывался, что она тоскует, и изо всех сил пытался ей угодить:

— Нравится вам все это, душенька?

Он хотел, чтобы у нее были служанки, как у настоящей дамы, и они наняли горничную, Мишель Дюмей, кухарку Анну Ле Блон и, чтобы Франсуаза не исколола себе пальцы, штопая белье, — белошвейку Мадлен Жольtren. Кроме того, была специально приглашена девушка для особо тяжелых работ по дому.

Полю по состоянию здоровья требовался лакей, который бы ухаживал за ним. Такой вскоре нашелся — по имени Жан Брюлло и по прозвищу «де Сюлли»*, что звучало весьма достойно.

Может показаться, что супруги Скаррон были слишком расточительны, ведь сам Скаррон прозвал

* Сюлли Максимальен де Бетюн, герцог де (1560—1641) — французский государственный деятель, министр Генриха IV. — *Прим. ред.*

свой особняк Домом Безденежья. Но ведь в то время трудно было прожить без прислуги: надо было ходить по воду, чаще всего довольно далеко, надо было присматривать за масляными лампами и сальными свечами, необходимыми в помещениях, куда нередко вообще не проникал дневной свет. Платья, белье — все шили в доме. Завтраки, обеды и ужины были обильными, а продукты и способы их приготовления — весьма примитивными, так что застряпню надо было приниматься чуть ли не с рассвета.

С другой стороны, деньги, которые платили прислуге, — самый высокооплачиваемый из них, лакей, получал шестьдесят ливров в год — не слишком отягощали семейный бюджет.

И потом — что заботиться о будущем, когда настоящее так прекрасно? Жена, дом, друзья... Разве не об этом мечтает всякий порядочный человек, даже если жена — жена только по названию, арендная плата за дом слишком высока, а друзья проедают все, что ты зарабатываешь...

Очень скоро весь квартал узнал, что Скаррон женился и что жена его молода и хороша собой. Старые друзья Поля заспешили на улицу Нев-Сен-Луи, а те, кто не был раньше вхож к нему в дом, стали искать возможностей туда проникнуть.

Впрочем, это было не так уж трудно: здесь принимали любого, лишь бы он был человеком компанейским — иными словами, мог посмеяться над шутками хозяина и сам к месту сострить, принадлежал к артистическому кругу или был хорошим рассказчиком. Всегда были рады женщинам, красивым и не очень; дверь была закрыта только перед глупцами и занудами.

Франсуаза очень нравилась гостям своего мужа; все единодушно восхищались ее очарованием, умом, веселостью и тем, что никогда не портит всего выше перечисленного, — красотой.

И, разумеется, каждый мужчина, едва войдя в дом, тут же начинал строить прожекты: жену такого чудовища, должно быть, нетрудно соблазнить, особенно в наш век, когда добродетель — удел простолюдинов и не имеет никакой цены в скольконибудь приличном обществе.

Сдержанность, которую демонстрировала юная супруга, сначала слегка удивила воздыхателей, но потом они решили, что она слепо следует моде и что добиться от нее желаемого можно лишь после того, как пройдешь все изгибы и повороты Страны нежных чувств. Вот почему они не были обескуражены и продолжали наводнять дом днем и ночью в надежде, что их усердие, их постоянное присутствие будет вознаграждено хотя бы словом или взглядом. Некоторые даже дошли до того, что заключали между собой пари: сколько денег надо выложить, чтобы победить в этой игре. Называлась сумма в двадцать тысяч ливров...

Но вскоре ухажеры поняли: Франсуазу не купишь даже за все золото мира.

«Связав свою жизнь с этим несчастным калекой, я оказалась в высшем обществе, где меня ценили и почитали. Я не гонюсь за богатством, я на десять голов выше всякой корысти, но я хочу, чтобы меня уважали».

Итак, если бы дело было только в молодой женщине, дом Скаррона быстро бы опустел; но была еще Желтая комната, где царствовал сам Скаррон, и которая стала так же знаменита, как Голубая гостиная божественной маркизы де Рам-

буйе. Однако фразы, звучавшие на улице Нев-Сен-Луи, не отличались ни деликатностью, ни целомудрием, свойственными всему, что произносилось у маркизы, и в доме Скаррона гости чаще хохотали над непристойной шуткой или едкой остротой, чем восхищенно вздыхали над каким-нибудь мадригалом.

Правда, в то время жеманный тон начал уже уходить в прошлое, а рискованные шутки еще не стали так вульгарны, как сейчас: язык той эпохи отличался добродушной распушенностью, и вольности, которые были в ходу, свидетельствовали о здоровье духа и о сохранении древней французской традиции, единственной, которая сможет в будущем притушить пуританское влияние викторианской Англии.

Вскоре ходить к Скаррону стало модным; получить приглашение в его дом считалось большой честью. Практически не было случая, чтобы Поль кого-то не допустил в свой дом, особенно из числа знатных господ: за веселые часы, проведенные в его обществе, они платили деньгами и подарками. Всех богатств мира не хватило бы этому калеке: он не мог видеть несчастье и не помочь, услышать зов и не ответить — и сам не мог бы сказать, куда и как уходят из его дома деньги, едва в нем появившись.

Франсуазе так и не удалось залатать эти дыры. Позже кто-то утверждал, что она изменила своего мужа за несколько месяцев, — как будто бы можно было изменить Скаррона! Она пробовала — с переменным успехом, когда с меньшим — вести хозяйство так, как, наверное, учили ее тетки; но разве можно сравнить дом на улице Нев-Сен-Луи с замком госпожи де Виллетт или с особняком госпожи де Нейян? Совершенно очевидно, что в

конце концов и она — она тоже — приняла предлагавшийся ей ритм жизни, поняв, что профессия писателя подразумевает нерегулярность финансовых поступлений, и мало-помалу смирилась с этим.

А в настоящем она довольствовалась тем, что жила в этом вихре, принимая меры предосторожности для того, чтобы он не увлек ее. Она оставалась веселой, забавной, непосредственной и если все так усердно молилась перед своим большим распятием слоновой кости, то скорее по привычке, чем из глубокой истинной религиозности.

Чтобы только перечислить всех, кто толпился в гостиной у Поля, понадобился бы не один десяток страниц. Не было в то время в Париже ни одного человека со сколько-нибудь звучным именем, каким бы званием он ни обладал, который ни разу бы не пересек порога дома Скаррона. Академики, аббаты, военные, герцоги, поэты всех мастей, самые изысканные женщины, герцогини, музыканты, живописцы, танцовщики, писатели женского и мужского пола, — все они собирались вокруг кровати с занавесками из желтого дамаста, где возлежал больной, уставая сидеть в своем инвалидном кресле.

А он был счастлив, что видит у себя всех этих людей, — счастлив за Франсуазу: он знал, что она любит общество, и поскольку сам не мог выводить ее в свет, делал все возможное и невозможное, чтобы свет пришел к нему.

Но следом за самыми блестящими людьми своего времени в дом проскальзывала всяческая шушера: полуголодные рифмоплеты, девицы легкого поведения, паразиты всех сортов. Скаррон не замечал этого — или, скорее, не хотел замечать. Несмотря на всю свою язвительность и насмешливость, он искренне любил людей и не мог выставить за дверь

тех, кто хотел быть рядом с ним. А кроме того, ему необходима была разнообразная аудитория, потому что он любил проверять свои сочинения на публике, улавливая своим пронизательным взглядом реакцию гостей. Он не терпел только зануд и глупцов; все остальные развлекали его, интересовали или забавляли.

Когда наступал час обеда или ужина, всех присутствовавших приглашали к столу — или, скорее, они сами себя приглашали: за столом у Скаррона места хватало всем.

Но поскольку у поэта совершенно не было денег на подобные роскошества, те, кто особенно ценил атмосферу таких пирушек, сами заботились о хлебе насущном, и получалось что-то вроде пикника, куда каждый приносил что-нибудь из еды. Все знали, что для обезноженного калеки «что-нибудь вкусненькое» оставалось единственной физической радостью, какую он мог себе позволить; и чтобы доставить ему — да и себе тоже — удовольствие, завсегдатаи-сотрапезники снабжали кухню Скаррона пулярками, окороками, паштетами и другими съестными припасами. Поэт благодарил их в стихах и поднимал за их здоровье бокал с ими же присланным вином.

Если же счастливый случай приносил ему хоть немного денег, он сам устраивал пир — роскошный и обильный, независимо от числа гостей. В такие дни он был весел, как никогда, и шутки его становились настолько вольными, что это шокировало даже его ко всему привыкших гостей, — но таков уж был его способ показать, до чего он счастлив.

Правда, для Франсуазы, на которую наложило отпечаток кальвинистское воспитание мадам де Вил-

летт, подобная распушенность была внове, в такой атмосфере ей было не по себе; это ее травмировало, как сказали бы мы сейчас. Наверное, именно этим объясняется многое в ее последующем поведении, и, не побыв госпожой Скаррон, очаровательная мадемуазель д'Обинье, возможно, и не превратилась бы в суровую мадам де Ментенон.

Когда речи в Желтой комнате становились совсем уж непереносимыми, когда начинались нападки на церковь или другие священные для нее предметы, молодая женщина, не говоря ни слова, тихо выскальзывала за дверь и поднималась к себе. Ее отсутствие, как правило, оставалось едва замеченным. Во всяком случае, гости были ей признательны за то, что она не бросала неодобрительных взглядов и не поднимала возмущенно брови.

Она оставляла свою дверь открытой в ожидании, когда раскаты хохота начнут утихать, а пока занималась домашними делами: нетрудно представить ее себе у окна, одетой в простое фернандиновое платье и широкий передник, который она редко снимала, коротающей время за шитьем.

В венецианском зеркале отражается скромная, спокойная обстановка комнаты: стены, украшенные шпалерами, на которых изображены сцены из Ветхого Завета; кровать с балдахином из желтого дамаста, такого же, каким обиты кресла и стулья; полотняные занавески, пропускающие немного света, который падает на кабинет грушевого дерева или на ореховый стол...

Именно в эти минуты, проводимые наедине с самой собой, и происходили в ней те изменения, которые привели впоследствии к фанатической религиозности. Франсуаза станет набожной из гордости, чтобы чувствовать себя выше тех людей, чья весе-

лость была ей чужда. Поскольку ей не удавалось — по многим весьма серьезным причинам — слиться с ними в одно целое, она безотчетно старалась как-то отделить себя от них — так две дороги, не будучи параллельными, расходятся в разные стороны и никогда не приводят к одной цели.

Но пока все это было нестойко, скрыто, зыбко... Когда госпожа Скаррон слышала, что разговор снова зашел о литературе или о поэзии, она спускалась к гостям, занимала свое место и, сдержанно улыбаясь, присоединялась к беседе, которая теперь уже не оскорбляла ее чувств.

А Скаррон, казалось, вовсе не испытывал благодарности к жене за ее исполненное тактичности поведение. Напротив, он доходил до того, что грубил ей при посторонних, осыпал оскорбительными упреками. Вызывал ли у него беспокойство ее живой ум — или он унижал ее, чтобы она меньше говорила и не отвлекала от него аудиторию?

Нет, он попросту ревновал...

Он боялся вовсе не слов, которые произносила его жена, — он боялся взглядов, которые бросали на нее слушатели, а он никак не мог этому помешать.

Его тревога была мучительна. Он сравнивал свое скрюченное тело со статными фигурами гостей и, не признаваясь в этом и самому себе, начинал ненавидеть даже лучших друзей. Кто знает — может быть, он специально доводил разговор до последнего бесстыдства, чтобы заставить Франсуазу ретироваться, сбежать, потому что знал: там, у себя в комнате, она окажется вдалеке от нескромных взглядов своих обожателей?..

Она не отвечала на его грубости, только тихо вздыхала, а как-то раз намекнула на несправедли-

вость мужа в письме к Менажу, прося его объяснить Полю, что подобное его поведение ей обидно. Впрочем, посредник был выбран неудачно.

А кроме того, у нее была причина быть терпеливой и закрывать глаза на многие вещи, которые не нравились: ее братец Шарль, паразит из паразитов, отлично разобравшись в обстановке, обращался с бесконечными просьбами о деньгах не к сестре, а прямо к зятю, который благосклонно принимал попрошайничество молодого человека. Скаррон даже ни разу не намекнул д'Обинье, что финансовое состояние того куда более стабильно, поскольку Шарль был прапорщиком в полку инфантерии кардинала Мазарини. Более того, Поль находил оправдания его поведению:

— Он самый бедный из дворян Франции, и он настолько несчастен, что ему некому помочь, кроме меня, который до того несчастен, что сам с трудом находит средства к существованию.

Франсуаза притворялась, что ничего не замечает, разрываясь между суровым порицанием разгульной жизни своего брата и нежностью, которую испытывала к нему с самого детства...

Когда наступала ночь и великие люди расходились по домам, оставались грязная посуда, сдвинутая с мест мебель, затоптанный многочисленными гостями пол в прихожей. Всем этим Франсуаза гнушалась. Уборкой занималась кухонная прислуга, Мадлен Круассан: вот преимущество того, что в доме есть слуги, — можно больше не пачкать рук, выполняя будничную домашнюю работу.

В тишине теперь слышался только визгливый голос калеки, который, пока лакей Манжен передевал его, обсуждал с ним сегодняшние события и сегодняшних гостей. Молодая женщина не могла



«Трапеза» Абраама Босса.
Национальная библиотека. Фото Пьера Марешаля.

скрыть своего раздражения: сколько раз она говорила мужу, что нельзя быть столь фамильярным со слугами! Поль жаловался на них, выставлял за дверь вконец обнаглевших, брал новых — и все начиналось сначала. Ведь он весь день только и делал, что болтал, — и зачем разговаривать с лакеем, если ты принимаешь у себя академиков?

Наконец все в доме затихало. Только немного печальная мелодия раздавалась из спальни калеки: он играл на лютне — негромко и так хорошо, насколько позволяли ему больные пальцы. Тогда Франсуаза спускалась к мужу.

Между этими двумя, такими непохожими, существами было кое-что общее: они оба были умны. Скаррон показывал жене то, что написал, интересовался ее мнением, принимал ее поправки. Он, со своей стороны, совершенствовал ее образование, учил ее латыни, итальянскому, испанскому и не просто искусству писать, чем она владела инстинктивно, но искусству писать приятно для читателя.

Это была короткая передышка, которую в любой момент могла разрушить насмешка, непристойный жест, чересчур фривольная фраза... Самым тяжелым для Поля в эти минуты их близости было сожаление о невозможности стать для той, которую он так желал, мужем не только по названию. И неловко, как всегда, он пытался заменить близость ее суррогатами, и Франсуаза делала то, что он хотел, и каждый из них, не признаваясь в этом, был сам себе противен.

Так продолжалось семь лет, и за эти семь лет между супругами разверзлась пропасть.

Скаррон все хуже и хуже спал. Он накачивался опиумом, чтобы хоть немножко отдохнуть, и все же

ежечасно слушал колокольный звон окрестных церквей.

Назавтра утром, еще под влиянием снотворных, он — вполне отдавая себе в этом отчет — чувствовал себя оглушенным, отупевшим и от этого был невыносим. Но, несмотря ни на что, он брал себя в руки и к вечеру снова становился жизнерадостным шутником, снова обретал способность писать.

Драматическая борьба с болью толкала его на поиски новых лекарств. Он больше не верил врачам, доверял только самому себе, решил сам изобрести панацею, которая вернула бы ему здоровье.

Вот почему он окунулся в алхимию, вот почему настойчиво добивался позволения установить у себя в доме печи и перегонные кубы, чтобы иметь возможность «разгадывать тайны металлов, минералов, полуминералов и растений, добывать из них эссенции и соли, составлять из них бальзамы и лекарства для облегчения страданий человечества». По такому случаю он был удостоен королевского письма, разрешавшего ему «размышлять над способами получения питьевого золота, не опасаясь визитов со стороны полиции».

Истинной причиной этой деятельности была боязнь за будущее Франсуазы: что станет с ней, когда он уже не сможет добывать ей средства к существованию: что останется на ее долю, кроме нищеты и унижений перед сильными мира сего? Напомним: авторского права еще не существовало, и самый громкий успех пьесы или книги не приносил никаких выгод ее автору, а тем более ничего не давал после его смерти.

Алхимия была для него способом сделать жену



Поль Скаррон (1601—1660).
Фронтиспис. Национальная библиотека.
Фото Роже Виолле.

богатой, независимой, свободной. Но и теперь, по своему обыкновению, он прятал свою глубокую нежность за шутовским стремлением привязать себя к жизни — ведь он чувствовал себя наполовину мертвым.

Можно себе представить, как удручало его жену это новое, непонятное ей безумие, как она морщилась, вдыхая зловонный пар, струящийся из перегонных кубов, как вздыхала, подсчитывая стоимость всех этих экспериментов. Она сердилась на Мере, подтолкнувшего Скаррона на этот путь, на Кабара де Вилермона, посылавшего Полю из Седана работы Раймунда Луллия* по алхимии. Франсуазе не приходило в голову, что он занимался своими опытами лишь для того, чтобы забыть о боли, а может, и снова обрести надежду.

Однако в ожидании прибыли от философского камня надо было оплачивать аренду дома и на что-то жить. Прекрасные произведения искусства одно за другим покидали особняк на улице Нев-Сен-Луи. Коллекционер Жабаш купил «Вознесение на небо Святого Павла», написанное Пуссеном** в честь небесного покровителя Поля, а затем перепродал картину герцогу Ришелье. Судя по всему, с картиной Миньяра***, которому Скаррон доверил в 1656 году воспроизвести на полотне черты Франсуазы, им тоже пришлось расстаться.

Но поэт не придавал значения подобным пустякам. У него была цель — он хотел разбогатеть, и неважно каким способом.

* Лулий Раймунд (1235—1315) — средневековый алхимик, философ и теолог. — *Прим. ред.*

** Пуссен Николя (1594—1665) — французский художник-классицист. — *Прим. ред.*

*** Миньяр Пьер (1612—1695) — французский художник и декоратор, модный портретист. — *Прим. ред.*

Ничего не заработав на алхимии, он снова возвращается к перу и бумаге. «Газетт Лоре» имеет успех? Отлично, он создает «Газетт Бурлеск». Одну за другой он пишет пьесы, а «Школяра из Саламанки» посвящает Мадемуазель* в надежде получить от этого дополнительную выгоду, но зарабатывает всего пятьдесят пистолей.

Пьесы его сразу же ставятся, за «Сам себе сторож» появляется «Принц-корсар», обе имеют успех. Но деньги не держатся в доме Скарронов: у них слишком много долгов, при них слишком много паразитов, худший из которых — Шарль д'Обинье.

Втайне от жены Поль продолжает снабжать его деньгами, отлично зная, что он либо пропьет их, либо проиграет.

Но оказать услугу Шарлю для него означает хоть в какой-то степени услужить Франсуазе, пусть та и не одобряет поведения брата... И, наверное, опять-таки для того, чтобы доставить ей удовольствие, Скаррон притворяется, будто верит, что долг будет возвращен, и даже заставляет должника выдать расписку:

«...обязался уплатить и вернуть указанную сумму в четыре тысячи ливров вышеупомянутому господину и кредитору или его посыльному в его доме, где он проживает в Париже, через год в вышеупомянутом доме указанного кредитора, обозначенного выше...»

Шарль, разумеется, так ничего и не отдаст, и придется продавать земли и сдававшиеся в аренду фермы Фужерэ и Ривьеры... Кредиторы не давали

* Так называли старшую дочь брата короля Людовика XIII. — Прим. ред.

поэту покоя, и злейшим из них оказался домовладелец Мери, на которого не производили никакого впечатления шуточки отчаявшегося Скаррона:

От господина Мери, у которого я наниматель и который каждый день говорит мне кисло-сладким голосом:

«Господин Мери вверяет свою судьбу в ваши руки...»

Последнему нельзя было уплатить стихами, ему нужны были наличные. Возможно, это был единственный человек на свете, которого Скаррон боялся, — ведь он мог выбросить их с женой на улицу, а Поль не мог допустить, чтобы его Франсуазу так оскорбили.

Он писал одно прошение за другим, заставляя себя униженно льстить их адресатам, но и эта лесть порой не достигала цели, потому что одно дело восхищаться поэтом и совсем другое — снабжать его деньгами. Чаще всего, получив такое письмо, вельможи заходили поблагодарить Скаррона — и только.

Представляя себе это литературное унижение, это систематическое и в то же время беспорядочное попрошайничество, уже и не знаешь, презирать ли Скаррона или жалеть. Но если мы вспомним, что главной движущей силой всего, что делал этот калека, была любовь и только любовь, — верх наверняка одержит жалость.

Друзья — или те, кто так назывался, — теперь почти не приходят к нему: они боятся, что Поль снова станет просить у них денег. Несчастный, раздавленный Скаррон вовсе не так забавен, а его нищета, в которой они вовсе не собираются ему помогать, просто неприятна.

*Экю — это всегда экю,
а стихи становятся подтиркой...*

У калеки из одежды остался один камзол, а денег не хватает ни на еду, ни на дрова:

*Из двух смертей — от голода или от холода —
Не знаю, которая страшнее...*

Но худшая пытка для него, хотя он в этом и не признается, — видеть, что его жена мало-помалу начинает вести такую жизнь, в которой он участвовать не может.

Он провожает ее взглядом, когда, надев платье из цветастого шелка с меховой оторочкой — единственное нарядное платье, которое у нее сохранилось, — она направляется — такая красивая, такая соблазнительная, такая юная — в какой-нибудь светский салон или даже в Лувр, ибо госпожа Скаррон принята при дворе — Франсуаза идет пешком, потому что экипажа у них нет.

А Поль коротает часы совсем один в своей промерзшей комнате. Даже слуги не откликаются на его зов, — ведь они остаются в доме только потому, что надеются хоть когда-нибудь получить заработанное, и, разумеется, не проявляют ни малейшего рвения.

Когда Франсуаза возвращается, он встречает ее эпиграммами, шутками, каламбурами, скрывая за этой бравадой свою тоску.

Она же поднимается к себе в спальню, аккуратно убирает на место выходной наряд, переодевается в серое кисейное платьице, повязывает свой вечный передник, а затем, спокойная, как всегда, усаживается рядом со Скарроном и тихим голосом расска-

зывает ему, как провела день. А тот выворачивает наизнанку всякую ее фразу, ища в ней тайный смысл и терзая себя вопросами: что она от него скрывает? с кем виделась? каких комплиментов наслушалась?

Однако за ее речами не таилось никакого тайного смысла. И в блестящих гостиных, и при дворе Франсуаза оставалась тою же, какой была у себя дома: выше всяких подозрений, всякого недоброжелательства; коварные вопросы Скаррона теряли свою остроту — они тупились, как когти, царапающие мрамор. Впрочем, он, видно, и сам сознавал бесцельность этих «допросов», потому что позже признавался:

— Единственное, о чем я сожалею, это о том, что не оставляю никакого наследства моей жене, которая в высшей степени этого заслуживает и радуется мне постоянно.

В вечной погоне за деньгами, наконец, наступила передышка: узнав от Пелиссона о бедственном положении Скаррона, суперинтендант Фуке* — без всяких просьб со стороны поэта — назначил ему пенсiон. Тот был настолько ослеплен неожиданным везением, что стал злоупотреблять им: каждый раз, как кто-то из кредиторов становился слишком уж настойчивым, Скаррон обращался к Фуке:

*Для меня это не преступление —
будучи больным и нищим,
попросить что-нибудь для себя...*

* Фуке Никола (1615—1680) — суперинтендант финансов при Людовике XIV. — Прим. ред.

Его расточительность не знала пределов. Все, что он получал, он немедленно раздавал или проматывал, это было у него в крови, и ничто не способно было его изменить.

Вскоре Скаррона одолела тоска. Провал алхимических опытов, охлаждение приятелей-сотрапезников, бесконечные визиты кредиторов, страх перед тем, что влечет Франсуазу за стены их дома, — все это, вместе взятое, привело поэта к решению провести лето 1656 года в деревне у сестры. Там, в Фонтене-о-Роз, он сможет спокойно работать и закончит наконец свой «Комический роман».

Но в деревне ему быстро надоело: местное общество было ужасно скучным, и все его остроты принимались здесь с равнодушием или, что еще хуже, с возмущением. Он замкнулся в себе, а осенью вернулся в Париж.

Это было начало конца — наступал предел долгим страданиям, которые истерзали его тело. Последние месяцы жизни поэта были особенно мучительны.

— Мое состояние непрерывно ухудшается, и я чувствую, что конец наступит куда раньше, чем мне бы этого хотелось. Все тело у меня болит; кажется, что тысяча дьявольских легионов поселилась в моих руках и ногах...

Поль прекрасно понимал, что с ним происходит. Он знал, что умирает, но это не умеряло его пыла: он даже решил написать сатирические стихи об икоте, которая добавилась к преследовавшим его болям. Те немногие друзья, что остались ему верны, приносили еду, подкармливали больного поэта.

Наконец свершилось то, что разбило последние его иллюзии: перо выпало из пальцев, которые уже не могли держать его.



Фронтиспис «Комического романа» Поля Скаррона.
Париж, 1652.
Национальная библиотека. Фото Роже Виолле.

— Нет больше стихов, нет больше прозы, — одним словом, нет меня!..

Это была первая смерть, может быть, более мучительная, чем настоящая.

Зная, что дни его сочтены, Скаррон становится серьезным и позволяет заглянуть в глубину своей души: единственное, что волнует его по-настоящему, это судьба Франсуазы, которую он ввел в свой дом бедной, а оставляет нищей. Это терзало его куда больше, чем болезнь.

А пока он изводил себя подобными мыслями, его жена пыталась убедить его «умереть по-хорошему», что для нее теперь означало примириться с Богом и отречься от всей прошлой жизни, полной скепсиса и цинизма.

Маршал д'Альбре и д'Эльбен, старые друзья поэта, умоляли ее оставить его в покое, дать уйти с миром, не вырывая у умирающего при смерти слов, которые ей угодны. Они убеждали Скаррона, что он еще поправится, что ему нет нужды участвовать в комедии, которую его заставляли разыгрывать.

Но Поль хотел того, чего хотела его жена.

В свете много говорили об этом его неожиданном обращении к религии. Одни считали, что Скаррон трусил перед лицом смерти, другие — что на него снизошла благодать. И те и другие были неправы: если больной выказал желание увидеть священника, исповедаться, если он сам делал все то, за что безжалостно высмеивал других, то причина на это была только одна — любовь к Франсуазе. Ради нее он желал бы стать красивым, богатым, еще более знаменитым, но раз уж все это было невозможно — во имя Франсуазы он отрекся от всего, что составляло его образ мыслей, отказал-

ся от своих убеждений, — короче говоря, от всей своей жизни.

Понимала ли она это? Конечно, нет. Можно даже предположить, что, узнай она действительную причину его обращения, ее бы это неприятно удивило, если не оскорбило.

Поль умер 7 октября 1660 года.

Не успело еще застыть его маленькое тельце, как дом заполонили кредиторы: они опечатывали помещения, назначали продажу имущества... Франсуаза решила возбудить судебное дело, чтобы получить то, что Поль обещал ей по брачному контракту.

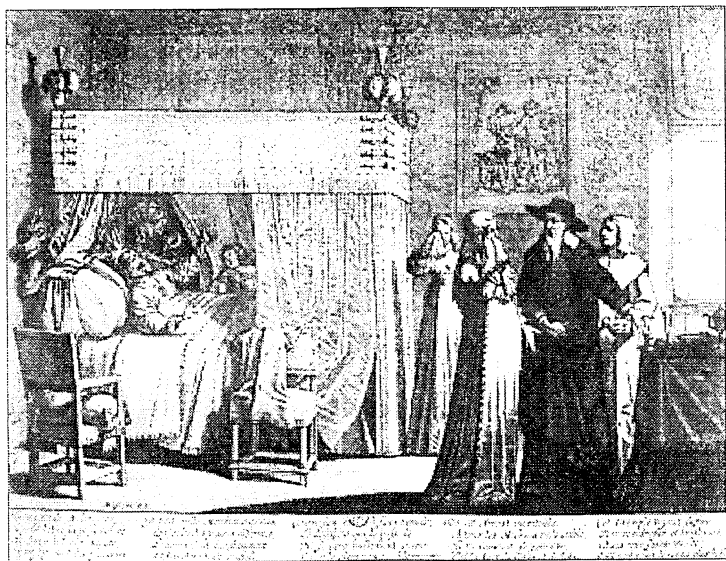
Только это ее сейчас и интересовало.

«В случае благополучного завершения тяжбы я получу четыре или пять тысяч франков, свободных от долгов. Это все состояние моего бедного мужа, у которого в голове были одни химеры и который разбазаривал все, что имел, в поисках философского камня или еще какой-нибудь подобной ерунды. Я не рождена для того, чтобы быть счастливой, но мы, люди верующие, считаем такие испытания знаком Господним и с радостью кладем все, чем владеем, к подножию Креста».

От этого письма мурашки бегут по коже...

А для Скаррона все было кончено. Его гроб под покровом ночи, почти тайком, вынесли из дома на улице Нев-Сен-Луи, где он столько смеялся, столько угощал, так преданно любил...

На его похороны не потрудился прийти никто из тех, кого он забавлял, кого кормил и кому помогал. Вопреки обычаю, за гробом шла одна Франсуаза: она хотела до конца насладиться своей победой — похоронами этого ренегата по церковному обряду.



Комната больного в XVII веке.
Гравюра Абраама Босса. Национальная библиотека.
Фото Пьера Марешаля.

Несмотря на многочисленные ходатайства, церковная служба и похороны, впрочем очень скромные, так и не были оплачены. Никто не позаботился поставить хотя бы камень, обозначающий место захоронения останков калеки: в общей ли он похоронен могиле или под плитами церкви Сен-Жерве, нам не узнать никогда.

Но какую же прекрасную эпитафию он сочинил, завещав написать ее на своей могиле:

*Прохожий, не шуми,
остерегайся разбудить его,
Потому что это первая ночь,
Когда бедному Скаррону удалось уснуть...*

ФРАНСУАЗА СКАРРОН И ЛУИ ДЕ ВИЛЛАРСО

Улица Турнель, 36

Поль Скаррон умер... «Умер и в землю зарыт», как поется в песенке...

Мы так и не знаем, где покоится его гробик, маленький, словно у ребенка.

А в доме на улице Тюренн раздавались шаги нотариусов Лекарона и Галлуа, которые сменили собиравшееся здесь когда-то блестящее общество, и вместо искрометных шуток в этих стенах звучали теперь их унылые голоса:

«...В маленькой комнате, где скончался упомянутый выше покойный Поль Скаррон, — кушетка с высокими столбиками, снабженная постелью и подушкой в виде валика из тика, набитой перьями, два матраса из бумазеи, левантиновое одеяло, крытое хлопчатобумажной тканью в цветах; три маленькие занавески у книжных полок, три гардины, четыре полога, стеганое одеяло с лица и с изнанки из желтого дамаста... два кресла и четыре гнутых стула, также из орехового дерева и обитых желтым дамастом... всего стоимостью... в IX ливров...»

Вот только знали ли эти нотариусы, что оцениваемое ими в подобных терминах имущество — не что иное, как знаменитая Желтая комната, попасть в которую почитала за честь вся парижская знать,

как когда-то стремилась в Голубую гостиную маркизы де Рамбуйе...

«...также старый еловый стол, стульчак орехового дерева...»

Вскоре вся эта мебель покинет дом и будет продана с аукциона.

Франсуаза равнодушно смотрела, как выносят все, что могло напомнить ей о покойном муже. Даже инвалидное кресло, которое было неотделимо от бедного калеки... Этому предмету обстановки придали столь мало значения, что он даже не фигурировал в инвентарной описи. Франсуаза уступила кресло за несколько су какому-то незнакомцу. Кому он мог пригодиться, где найдешь такого уроды, который станет пользоваться креслом по прямому назначению?

Одежду отдали слугам: как сказали Франсуазе, — таков обычай.

За исключением, может быть, ее личных вещей, у молодой женщины не осталось ничего: кредиторы отстаивали свои права, а ее золовка размахивала предыдущей дарственной, делавшей недействительным брачный контракт от 4 апреля 1652 года, отписывавший «тысячу ливров наследственной ренты» той, которая отважилась стать супругой калеки.

От Скаррона ей остались только долги, а поскольку авторского права тогда не существовало, она не могла рассчитывать и на будущие поступления.

Все требовали от нее денег: и сапожник Шерон, и обойщик Тартерон — «за кое-какие работы, которые он выполнил и не знает, сколько они стоят на самом деле»; и Доффре — портной с улицы Гренель — «за шитье одежды, включая траурную».

И слуги, которые не получали положенного жало-

ванья в течение многих месяцев... И похороны, которые так никогда и не были оплачены...

Мы знаем, что Франсуаза не горевала; возможно, даже наоборот. Но она знала правила этикета и считала необходимым демонстрировать обязательную в таких случаях скорбь. Сестра Поля писала Нюбле: *«Моя невестка, сильно огорченная смертью мужа, удалилась в «Шарите»». А сама Франсуаза утверждала в письме своей тетке, госпоже де Виллетт: «Я была очень подавлена в последние дни, и смерть господина Скаррона причинила мне столько боли и принесла столько хлопот, что у меня совершенно не осталось сил и времени написать вам».*

«Столько хлопот»... Не забудем, что на языке того времени это слово могло означать и «неприятности», и «проблемы». В наши дни Франсуаза наверняка выразилась бы более резко и более определенно.

Судя по всему, она не могла простить Скаррону безденежья, в котором тот ее оставил, и это чувство проявилось в ее письме дяде, господину де Виллетту; пусть нас извинят, что мы снова цитируем это послание:

«Это все состояние моего бедного мужа, у которого были в голове одни химеры и который разбазаривал все, что имел, в поисках философского камня или еще какой-нибудь подобной ерунды...»

Как быстро она забыла, что у Поля «были в голове» не только химеры, но и замыслы литературных произведений, которые давали им средства к существованию и которые надолго пережили своего создателя! Что же до «поисков философского камня или еще какой-нибудь подобной ерунды», то она могла бы подумать и о том, что единственной целью

несчастливого поэта было сделать ее богатой, чтобы, став вдовой, она ни в чем не нуждалась.

Действительно, она никогда особенно не понимала своего мужа — ни его таланта, ни любви, которую он к ней испытывал. Для нее он оставался всего лишь больным, о котором следует заботиться, да еще неисправимым остряком, чьи шутки вечно заставляли ее краснеть...

В оправдание Франсуазы надо сказать, что теперь она снова оказалась в такой же незавидной ситуации, как до замужества: положение бедной вдовы ничуть не лучше положения бедной девицы, и порой она спрашивала себя, не принесла ли свои лучшие годы в жертву достаточно мрачному будущему. Пред ней снова замаячил страшный призрак монастырской кельи.

Франсуаза обивала пороги, судилась, и в конце концов ей удалось-таки получить свои четыре или пять тысяч франков.

Жена маршала д'Омона добилась для нее собственной небольшой квартирке в Шарите-Нотр-Дам.

Итак, дела ее были более или менее улажены.

Но теперь в жизни той, которая говорила о себе: «Я стала вдовой, не будучи женой», — наступило смутное время, о котором одни потом говорили слишком много, а другие упорно молчали — кто-то из чрезмерной почтительности, а кто-то от чересчур разыгравшегося воображения.

Впоследствии, став маркизой де Ментенон, сама она лишь вскользь упомянет об этих годах — либо потому, что тогда не происходило ничего интересного, либо, наоборот, что интересного происходило слишком много.

Что до нас, мы не хотели бы ни впадать в

религиозное ханжество, ни уподобляться кумушкам из простонародья. Возможно, мы — на чей-то вкус — слишком часто прибегаем к цитатам, но это, как нам кажется, единственная возможность приблизиться к истине, насколько это позволяет избранный нами предмет, в котором никто не может знать ничего наверняка.

Однако, сохраняя полную объективность, придется признать: после долгих изысканий, сопоставлений, изучения характеров и обстоятельств нам кажется очевидным, что Франсуаза Скаррон, при поддержке и соучастии самой знаменитой куртизанки того времени Нинон де Ланкло, стала любовницей Луи де Морне, маркиза де Вилларсо.

Мы знаем, что подобное утверждение покажется многим неприличным, даже шокирующим: есть люди, которым как будто не пристало быть человеческими, и Франсуаза, вероятно, входит в их число, потому что она всегда сторонилась всякой истинной человечности.

Любопытно, что именно во Франции, где людей так забавляют любовные истории и падения идолов на кушетку, кажется святотатством предполагать, что такая особа, как будущая госпожа де Ментенон, будучи вдовой, следовательно — свободной женщиной, оказалась чувствительной к знакам внимания со стороны привлекательного дворянина и — не без некоторых угрызений совести — ответила на его пыл.

Кажется, тот факт, что она имела честь разделить ложе с Людовиком XIV, заранее возводит вокруг нее некий барьер добродетели, защищающий от любых посягательств на ее честь. Для той эпохи, когда сам король не делал никакой тайны из своих многочисленных любовных походов — более

того, чуть ли не выставлял их напоказ, — подобная щепетильность просто удивительна.

Но ее можно объяснить, если вспомнить, что сама мадам де Ментенон, еще со времен своего первого замужества, творила свою собственную легенду, творила с ревнивой тщательностью и редкостным упорством.

В тот век, когда супружеская верность была уделом лишь простых горожанок, Франсуаза ни разу не изменила мужу, который являлся таковым только по названию: это был ее способ приобрести индивидуальность, которой она была лишена. Не обладая ни знатным происхождением, ни литературными способностями, ни талантом к любовным интригам, она стала той, кем не способна была стать ни одна другая женщина ее круга, — добродетельной женой. Так она решила, раз и навсегда.

Вопрос лишь в том, выбрала ли она подобный стиль поведения вопреки собственной натуре, жила ли она в постоянной борьбе с собой или здесь проявилась ее истинная природа.

Ладно скроенная, живая, игривая, умная, хитрая... Возможно, нормальная семейная жизнь сделала бы ее великолепной любовницей, и история, может быть, не узнала бы ее имени, если бы ее муж был молод и хорош собой.

Но Скаррон, этот несчастный калека, побуждая ее — с грехом пополам, а может, и не пополам, — выполнять супружеские обязанности, должно быть, приводил ее в ужас своими ласками, подобные которым другие женщины рассматривают как прелюдию к высшему наслаждению, преддверию рая.

Для нее чувственность была неразрывно связана с гнусными действиями, даже воспоминания о которых казались грязными. И, конечно, страх перед



*Нинон де Ланкло в период ее связи с Вилларсо.
Фото Роже Виолле.*

тем, что надо будет повторить это с кем-то другим, прежде всего и поддерживал в ней присущую ей сдержанность.

Потом сдержанность вошла в привычку, да и слишком хорошо она знала всех бездельников и распутников, которые ее окружали, чтобы не понимать: ее случайное грехопадение будет объявлено чьей-то победой и удостоится эпиграммы.

Она — из гордости — стала пленницей себя самой, и, возможно, так было лучше для нее, потому что если бы она во время замужества поддалась своим страстям, то, став вдовой, уже не смогла бы остановиться, скользя по этому опасному склону от одного увлечения к другому.

Ведь несмотря на всю добродетель, которой она обладала и которую выставляла напоказ, лучшей ее подругой была Нинон де Ланкло.

Мы далеки от мысли бросить камень в последнюю; она была соблазнительна, добра, верна в дружбе, если не в любви. Мы надеемся как-нибудь посвятить ей главку, которая немного реабилитировала бы ее в глазах людей благочестивых. Но факт остается фактом: она была куртизанкой и притом — из самых признанных. Конечно, в те времена куртизанки еще походили на античных гетер: это были умные и образованные женщины, с которыми мужчинам было интересно поговорить в те часы, когда они не находились в их объятиях. Полусвета пока не существовало, и Нинон де Ланкло принимали в салонах Марэ точно так же, как мадам Скаррон или мадам де Севинье, у которой Нинон сначала увела мужа, а потом и сына... И разве не естественно, что, не будучи женщинами, на которых женятся, им только и оставалось, что довольствоваться мужьями других?

Нинон, возможно, несколько отличалась от остальных; о ней говорили, что «женщины могут смотреть на нее без стыда, а мужчины — без угрызений совести».

К тому же она всегда служила украшением общества, и считалось совершенно естественным, что Нинон появлялась среди завсегдатаев гостиной Скаррона, который был достаточно давно с ней знаком.

Но что на самом деле удивительно, так это то, что из всех, кто приходил на улицу Тюренн — а среди них было немало людей весьма уважаемых, — именно ее осторожная и сдержанная Франсуаза выбрала своей лучшей подругой.

Влечение... Любопытство... Какие все-таки чувства толкали их одну к другой, а особенно — Франсуазу к Нинон?

Говорят, что между ними была такая близость, что «в течение месяцев они делили одну постель». Но нужно воспринимать это заявление Ла Фара в контексте эпохи: тогда было обычным делом спать по несколько человек в одной кровати, и никто не усматривал в этом доказательства чересчур сильной привязанности.

Франсуаза, не отдавая себе в этом отчета, искала в Нинон те качества, которыми сама она не обладала: презрение к общепринятой морали, свободу в обращении с мужчинами и умение добиваться своего, особенно часто, конечно, вспоминаясь ей, когда она встретила Людовика XIV.

Франсуаза начала свою карьеру при дворе с маленьких должностей, будучи уже далеко не юной, и тем не менее сумела вытеснить всех прочих из сердца и жизни короля, отнюдь не обделенного вниманием самых обольстительных и умных женщин своего времени.

Маловероятно, чтобы она смогла добиться всего этого, не применяя кое-каких «технических приемов», которым Нинон единственная могла ее научить. Франсуаза покорила короля не только и не столько своей уже несколько перезревшей свежестью, сколько умением завлечь мужчину и стать ему необходимой.

Но в молодости она не заглядывала так далеко и сочла бы сумасшедшим любого, кто предсказал бы ей подобное будущее. Уроки, которые преподавала ей Нинон, она усваивала почти бессознательно, поскольку твердо решила остаться добродетельной.

У Нинон, впрочем, на этот счет не было иллюзий.

«Скаррон был моим другом, — писала она, — а его жена доставила мне немало удовольствия своим умением вести беседу, и было время, когда я находила ее слишком неловкой для любви...»

«Было время, когда...»

Эти три слова, несмотря на свою краткость, говорят о многом.

Надо думать, что после смерти Скаррона в жизни Франсуазы кое-что изменилось, потому что продолжение начатого выше письма Нинон достаточно красноречиво:

«Подробностей не знаю, сама я ничего не видела, но я часто уступала ей свою желтую спальню — ей и Вилларсо...»

Эта фраза заставила впоследствии спорщиков сломать немало копий — не в связи с настоящим вдовы Скаррон, а в связи с ее будущим. В действительности все споры основывались на некотором хронологическом сдвиге в данных и сводились к решению одной проблемы: была ли мадам де Ментенон любовницей Луи де Вилларсо.

Что касается нас, мы как раз предпочли бы забыть о будущем: нас интересует не мадам де Ментенон, но Франсуаза д'Обинье, вдова Поля Скаррона; о ней единственной нам хотелось бы знать все.

И с этой точки зрения близость между Франсуазой и Нинон де Ланкло объясняется совершенно естественными причинами — ведь для молодой и добродетельной вдовы подруга была той нитью, которая соединяла ее с Вилларсо, не давая поводов для излишней болтовни.

Здесь нам придется вернуться немного назад...

В 1652 году Нинон самым что ни на есть обычным порядком познакомила своих друзей Скарронов с Луи де Морне, маркизом де Вилларсо, который стал тогда ее новым возлюбленным. Этот последний, не довольствуясь тем, что его любовницей была одна из самых ярких представительниц мира амурных походов, с самого начала увлекся Франсуазой и, чтобы открыть для себя двери дома, где он рассчитывал на очередное приключение, написал Скаррону, предлагая ему свою дружбу.

Не откажем себе в удовольствии привести полностью ответ поэта. Кажется, он, инстинктивно ревнуя к дворянину, воспользовался, чтобы разоружить соперника, своим единственным оружием — умом:

«Для очистки собственной совести я должен предупредить вас: вы не знаете, что делаете, когда предлагаете мне свою дружбу и просите взамен мою.

Вы привыкли делать добрые дела, но вы даже не представляете себе, сколь губительно может быть ваше великодушие, выражающееся в хорошем отношении к такому несчастному человеку, как я. Боюсь,

что для вас нет уже никакой надежды; берегитесь: я не советую вам предпринимать ничего такого, что могло бы пойти мне во благо. Подобный порыв стоил жизни покойному Армантьеру, и некоторое время спустя — бедняге д'Окуру. Не стану говорить вам о других (а я мог бы назвать многих, чьи имена вам незнакомы), кто слишком рано ушел из жизни только из-за того, что поторопился полюбить меня. Нужны ли вам еще примеры того, насколько заразительно мое несчастье? Извольте... Вот кардинал Ришелье — он умер спустя месяц после того, как мы с ним познакомились и я имел счастье ему понравиться. Принц Оранский всего-навсего возымел желание пригласить меня на обед, — и что же? Он заболевает оспой и умирает. Президент де Месме тоже долго не протянул после того, как посетил меня на моем третьем этаже. Моя дружба становится для любого, кто рискует ее принять, столь тяжким бременем, что я удивляюсь, как новый кардинал де Рец, вопреки всем стихиям и невзирая ни на что, сумел получить этот сан, хотя не уставал повторять всем, что испытывает ко мне некоторое почтение. Если после всех этих примеров ваше решение остается неизменным — я ваш душой и телом. И все же мне искренне жаль вас, ибо — снова и снова предупреждаю: я на самом деле приношу несчастье. Скажу вам большие завтра у мадемуазель де Ланкло, куда меня доставят к ужину».

Можно сказать, что в этом послании сделано все, чтобы не допустить влюбленного в дом, — даже мимолетное упоминание о мадемуазель де Ланкло, которое должно напомнить Вилларсо, что он «состоит при ней» и нечего ему искать увлечений на стороне.

Когда знаешь, насколько широко были открыты двери Скаррона для всех — для голодных поэтов, светских женщин, военных, маркизов и «синих чулков», — такое старание не подпустить к себе возможного друга дома выдает внутреннюю муку, и трудно остаться бесчувственным, слыша эту горькую ноту.

Правду сказать, калека и не мог испытывать особой симпатии к этому новому знакомому: насколько он любил «шалунов», распушенных на словах, настолько ненавидел грязных развратников, а Вилларсо был именно грязным развратником и никем иным.

Он родился в 1619 году, был старшим сыном Пьера и Анны Ольвье де Лёвилль. В 1648 году Людовик XIV назначил его начальником над сворой из семидесяти гончих, с которыми охотился на зайцев, а в 1649-м он стал капитаном — младшим лейтенантом роты солдат герцога Анжуйского. Впрочем, шесть лет спустя его освободили от этой должности. Позже будет ходить красивая легенда о происхождении его рода де Морне:

*Когда-то давно христианнейшая королева Констанс,
Властительница венгров,
Произвела на свет ребенка,
Но тот оказался мертворожденным.
Вся в скорби,
Она посвятила несчастного ребенка святому
И взяла святого ему в покровители.
После усердных молитв
Младенец в гробу
Зашевелился,
Папа Сильвестр его окрестил
И дал ему имя
Леон.*

*И он совершил прекрасные подвиги
В стране Ко.
От него пошел род
Моншеврелей и Вилларсо...
Si non e vero...**

Несмотря на наличие столь благочестивых предков, Луи де Вилларсо не был особенно интересной личностью. Когда ему было двадцать лет и его хотели женить на Мари де Жирар, он сделал эту девицу своей любовницей, а потом отказался жениться. Зато взял в жены Денизу де Ла Фонтен д'Эш, дочь королевы, и она родила ему четырех детей: Шарля, Мари-Анн, Пьера и Филиппа.

Но едва закончились свадебные торжества, де Вилларсо вернулся к Мари, которая за это время успела принять руку и сердце, предложенные ей генерал-лейтенантом Жаком де Кастельно, господином де Мовисьером.

И поскольку Мари не переставала обожать своего обольстительного соблазнителя, она снова отдалась ему, как только он об этом попросил, правда, отдалась не без угрызений совести, которые особенно сильно пробуждались в ней именно в те моменты, когда для них уж точно имелись основания, что чрезвычайно забавляло ее любовника.

Однако он несколько перешел границы в день, когда узнал, что Жером де Нуво, зять его любовницы, питает к ней чересчур нежную дружбу. Но предоставим слово Таллеману де Рео — нашему современному языку не хватает сочности для повествований такого рода:

* Если это не верно... (ит.) — Прим. ред.

«Заметив, что Нуво, зять госпожи де Мовисьер, слишком уж с нею любезен, он расспросил ее маленькую дочку и между прочим выяснил, что мамочка и Нуво целовались. Однажды, когда дама говорила с ним уклончиво, стараясь, как ему показалось, поскорее от него отделаться, явился Нуво. По ее смущению де Вилларсо заключил, что было назначено свидание и именно поэтому она так с ним обращалась. Вне себя от гнева, он сказал Нуво: «Пусть тот, у кого окажется меньше доказательств ее любви, уступит ее другому!» И тут же предъявил две сотни писем и браслеты из волос, взятых со всех возможных мест. Нуво признался, что ничего подобного у него нет и что между ними все ограничивалось поцелуями. «Но если бы, — сказал он, — вы могли поспособствовать мне в получении большего, я был бы вам весьма признателен». Впав в неистовство, де Вилларсо швырнул ему пачку писем и, назвав даму потаскухой, рассыпал остальные по всему Парижу...»

Самое меньшее, что можно сказать, возвращаясь к нашему современному языку: это был не слишком приятный господин.

Правда, Таллеман добавляет: «Говорят, что Нуво унаследовал от него любовницу... Есть все же в мире справедливость!»

Не стоит думать, что подобное поведение было редкостью в жизни Вилларсо: точно так же он поступил с супругой маршала де ля Ферте и многими другими женщинами, дарившими ему свою благосклонность.

Говорят даже, что несколько лет спустя он пытался продать Людовику XIV собственную племянницу, мадемуазель де Грансей.

При дворе его не жаловали, цenia в нем лишь

охотничий талант; это недоверие раздражало его и побуждало идти еще дальше, создавая себе в парижских салонах просто-таки катастрофическую репутацию.

Но каким образом, почему Нинон де Ланкло допустила в свою жизнь подобного человека, когда вокруг нее так и толпились вельможи, наперебой добивавшиеся чести «разделить с нею ложе», если говорить языком того времени, и заодно решить все ее финансовые проблемы?

Мольер, знавший толк в подобных делах, писал примерно тогда же в «Мизантропе»:

*Вы правы; каждый день мне это ум твердит,
Но пламенем любви не ум руководит*.*

Можно сказать, что для Нинон это была великая страсть, хотя, правда, прежде всего физическая. Это чувство закружило в своем вихре их обоих.

Отношение Скаррона, равно как и поведение Франсуазы, отняли у Вилларсо всякую надежду получить желаемое. Следовательно, он мог полностью посвятить себя Нинон, результатом чего стал сын, родившийся в 1653 году. Впрочем, отец признал его только в 1690-м.

А госпожа де Вилларсо?.. Ведь в той большой деревне, какой в ту эпоху являлся Париж, и при том отсутствии сдержанности, какое проявляли любовники, она должна была довольно быстро узнать, что к чему...

Муж тщетно пытался склонить ее к разрыву их союза: в течение некоторого времени, а особенно с

* Мольер. «Мизантроп», действие 1, явление 1, перевод М. Е. Левберг. — Прим. пер.

тех пор, как узнал, что Нинон его стараниями беременна, он хотел жениться на последней. Однако госпожа де Вилларсо на все уговоры мужа отвечала решительным отказом.

У нее были причины выйти из себя: муж поместил свою возлюбленную прямо у нее перед глазами, совсем недалеко от их дома — у Шарля де Валликьервиля, снисходительного и все понимающего друга.

Единственное, чем она могла ответить на вызывающее поведение супруга, было то достоинство, с каким она воспитывала детей и занималась их образованием.

Даже когда во время ее отсутствия Вилларсо поселился вместе с Нинон в их семейном доме, она не поддавалась искушению устроить скандал и, неожиданно вернувшись, изгнать свою временную заместительницу.

Может быть, она была слишком мудра для этого, а может быть, слишком хорошо знала своего мужа.

Но мы, кажется, совсем забыли о Франсуазе... Впрочем, Нинон уже начинает понимать, что ее любовник, скорее всего, не стоит того, чтобы хранить ему верность.

Она обнаружила, что о ней уже поют песенки:

*Милейшая Филис, что с вами стало?
Этот обольститель, который удерживал вас
В течение трех лет своими чарами, —
Не заточит ли он вас при помощи новых чар
В каком-нибудь старинном замке?*

И, что еще хуже, до ее ушей дошли пересуды: «Она стареет... Она становится постоянной...» — и

*Продли его, сколь сможешь.
Ведь близок час, когда он станет
невозможен — увы!
И навсегда!*

Перевод Ларисы Румарчук

Вилларсо был взбешен и, следуя своей привычной гнусной тактике, начал распускать слухи, что он-де «отделался навсегда» от любовницы, «которая упорствует в любви к нему вопреки его воле».

А потом, поскольку не в его привычках было чахнуть в одиночестве, снова обращает свой взор на Франсуазу Скаррон.

Впрочем, та за эти три года ничуть не изменила своего отношения к обольстительному дворянину. Что же до Скаррона, то он слишком хорошо знал (или думал, что слишком хорошо знает) свою жену и даже на секунду не мог вообразить, что она может оказаться чувствительной к чарам подобного фата. «Он знал, что Вилларсо влюблен в нее, но, кажется, вовсе не грустил из-за этого», — пишет современник. А Таллеман де Рео уточняет: «Вилларсо предпринимал атаку за атакой, а муж только смеялся над теми, кто пытался мягко намекнуть ему на опасность».

Правда, и Франсуаза вполне искренне свела дружбу с госпожой де Вилларсо, что было в какой-то мере и способом показать Луи, на чьей она стороне.

Современники, впрочем, совершенно единодушно высказывают досаду по поводу сдержанности госпожи Скаррон, а шеваље де Мере, один из самых верных ее воздыхателей, с большим юмором описывает ситуацию:

«Признаюсь, то, что меня в ней раздражает, —

это ее верность долгу, несмотря на все усилия тех, кто стремится сделать ее неверной».

Мы слишком хорошо знаем Вилларсо, чтобы подумать, будто он способен был смиренно ожидать милостей столь суровой красавицы, но чем больше она его отталкивала, тем сильнее он стремился ее завоевать.

Его друг Буаробер, тот самый, что представил его Нинон де Ланкло, не раз — и всегда тщетно — пытался побудить его к смирению:

*Маркиз, у меня есть причины тебя жалеть,
Потому что тебе следует опасаться ее нрава.
У нее почти столько же гордыни,
Сколько грации и красоты.
Как ни исключительны твои достоинства,
Подумай о том, чтобы любить лишь ту,
кто любит тебя...*

*Знай, кто тебя ценит, и не бросай
На ветер ни вздохов, ни поступков...*

Иначе говоря: «Брось эту ломаку!»

Но столь явно афишируемая добродетель Франсуазы не мешала ей проявлять — разумеется, бессознательно — известный интерес к Вилларсо. Этот интерес сквозит в ее письме к его жене, в котором Франсуаза рассказывает о приезде в Париж только что обвенчавшихся Людовика XIV и Марии-Терезии:

«Я искала глазами г-на де Вилларсо, но у него была такая горячая лошадь, что он обогнал меня на двадцать шагов прежде, чем я успела его узнать. Мне показалось, что он очень хорошо выглядит. Он был не из самых роскошных всадников, но наверняка из самых ловких. К тому же у него прекрасная

ломадь, которой он отлично управляет. Его темново-
лосая голова тоже была великолепна, и люди, когда
он проезжал мимо, приветствовали его криками...»

Порой одно слово может сказать о многом; даже
не слово, но построение фразы... А тут — тут в
избытке и того, и другого.

В письме не хватает нескольких страниц — тех,
где Франсуаза рассказывает о короле, — неизвест-
но, кто их уничтожил и зачем это было сделано...
Но до нас дошла последняя фраза этого рассказа,
которая звучит достаточно забавно в свете будущего
развития событий:

*«Королева, должно быть, уснула вчера вечером
весьма довольная мужем, которого себе выбрала...»*

Но мы уже говорили, что не собираемся зани-
маться будущим; вернемся же в прошлое, чтобы
перейти к настоящему...

Письмо к госпоже де Вилларсо датировано 27
августа 1660 года.

Спустя два месяца Скаррон умер, и Франсуаза
стала вдовой...

Плохо ли, хорошо ли, дела ее были улажены —
скорее плохо, чем хорошо, — и она оказалась в
Шарите-Нотр-Дам.

Это был монастырь, основанный в 1624 году
Анной Австрийской и предназначенный давать
убежище бедным девушкам и больным женщинам.
Однако монахини оставили свободными несколько
квартир для «знатных дам, которым назначен
пенсион», и считалось хорошим тоном среди дво-
рянства и представителей высшего сословия вла-
деть одной из подобных квартир, чтобы иметь
возможность предоставить ее той, кто будет в этом
нуждаться.

Именно так, благодаря жене маршала д'Омона,

попала сюда и Франсуаза; ее служанка, Анна Бальбьен, устроилась наверху, где жила в большой тесноте.

Не ограничившись этим благодеянием, мадам д'Омон предоставила Франсуазе все, в чем молодая женщина нуждалась, включая одежду. К несчастью, собственное великодушие так восхищало благородную даму, что она хвасталась им, где только могла, и слухи об этом в конце концов достигли ушей Франсуазы.

Последняя, взбешенная подобной оглаской оказываемых ей благодеяний, однажды не выдержала: когда госпожа д'Омон прислала ей воз с дровами и его стали разгружать во дворе монастыря, Франсуаза отказалась от дара и отправила дрова обратно.

К счастью — возможно, этим и объясняется ее поступок, — в окружении королевы нашлись действительно добрые души, которые сочли нужным вмешаться в дела молодой вдовы, добиваясь для нее пенсии, который позволил бы ей не зависеть от милости мадам д'Омон. Самым простым было бы отдать ей то, что в свое время получал Скаррон.

Аргументы этих милосердных людей звучали так: *«Поскольку он оставил без всяких средств свою жену, молодую женщину, очень красивую, добродетельную и умную, оказавшуюся в весьма стесненных обстоятельствах, Ее Величество не могла бы сделать ничего лучше, чем восстановить пенсией, которого она лишилась после смерти мужа. Королева сразу же спросила, о какой сумме идет речь: Скаррон получал всего лишь пятьсот экю, но один из придворных, быстро вмешавшись в разговор, заявил, что сумма была в две тысячи ливров. Королева оказалась настолько добра, что тут же утвердила пенсию в размере двух тысяч*

ливров и распорядился, чтобы деньги были немедленно выплачены».

Но поскольку у Франсуазы были не только доброжелательницы, то, явившись в Валь-де-Грас благодарить королеву, она невольно услышала, как одна из дам, присутствовавших при этом событии, нарочито громким голосом заявила:

— Если Ее Величество предназначала этот пенсион самой обворожительной и кокетливой женщине Франции, она не могла бы сделать лучший выбор!

Много лет спустя мадам де Ментенон хранила еще тягостное воспоминание об этих словах.

Попробуем разобраться, насколько мнение вышеупомянутой дамы соответствовало реальности.

«Самой обворожительной...» В ту эпоху Франсуаза действительно считалась одной из наиболее соблазнительных женщин Парижа.

«Вдова в двадцать пять лет; красивая, умная, обаятельная, добродетельная из тицеславия; хороший рост, царственная осанка, благородство движений, величественный взгляд; восхитительный овал лица, отличная кожа, большие черные глаза, орлиный нос, большой рот, прекрасные зубы, прекрасно очерченные ярко-алые губы, очаровательная улыбка, изящно вылепленные руки и кисти, тонкие черты; остроумная собеседница, нежная, искренняя, хороший друг, великодушная, бескорыстная; всегда скромна, заботливо прикрывает роскошную грудь».

Таким образом — при помощи довольно сухого описания — создается достаточно живой портрет; к сожалению, нам неизвестен его автор.

Но вернемся к словам несдержанной дамы, на-



*Портрет Франсуазы Скаррон работы Вилларсо.
Замок Вилларсо.
Фото Пьера Марешаля.*

завшей молодую вдову самой кокетливой женщиной Франции.

Не нужно воображать, будто Франсуаза была настолько лицемерна, что заточила себя в глубокий траур.

Конечно, она не появлялась на придворных празднествах, но много принимала у себя и часто выходила в свет. Шарите-Нотр-Дам стоял в самом центре Марэ, и она могла наносить визиты пешком, что было весьма удобно для женщины, не имеющей экипажа.

Ей наносили ответные визиты, что совсем не нравилось обитательницам монастыря: *«Монахини жалуются, что она видится с невероятным количеством людей и это мешает жизни монастыря».*

Пожалуй, лучше положение вещей не обрисуешь!

Ведь если Франсуаза имела такой успех в свете, о чем свидетельствуют все письма и мемуары того времени, значит, ее общество было людям приятно, значит, она не была ни слишком болтливой, ни слишком сварливой.

А ведь эпоха эта была такова, что чересчур добродетельные и стыдливые дамы успехом не пользовались, и Франсуаза, будь она таковой, очень быстро оказалась бы в одиночном заключении в своем монастыре: те, кто когда-то принимал ее как жену Скаррона, скоро бы ее забыли, не поддерживай она в них ощущения прелести ее собственной индивидуальности.

Это отнюдь не значит, что она была «дурной женщиной»: она привлекала, но не отдавалась... Ну и что это, если не кокетство?

Но как она заботилась о своей репутации! Это стало для нее почти навязчивой идеей, и из-под ее пера выходили фразы, простосердечная искренность которых способна вызвать улыбку:

CORRESPONDANCE

SECRETTE

ENTRE

NINON DE LENCLOS,

LE MARQUIS DE VILLARCEAUX,

ET MADAME DE M.....

PREMIERE PARTIE.



A PARIS,

Chez LE JAY, Libraire, rue de l'Échelle.

1739.

Один из самых известных сборников апокрифов,
посвященных любви Франсуазы и Вилларсо.
Музей города Парижа. Фото Пьера Марешаля.

«Я многое повидала, но никогда не теряла чести... Я хотела... чтобы обо мне говорили с уважением, хотела хорошо выглядеть в глазах других, хотела, чтобы порядочные люди одобряли меня... Нет ничего такого, что бы я не способна была сделать или вытерпеть — только ради того, чтобы обо мне хорошо отзывались... Я не знаю за собой решительно никаких грехов. Моя мораль и мои природные склонности не позволяют мне сделать ничего дурного...»

Словно ребенок поет песенку, заглушая свой страх пред темнотой...

Ведь все эти высказывания Франсуазы о добродетели, о желании «одобрения со стороны порядочных людей» не помешали ей сделать своей самой близкой подругой Нинон де Ланкло...

Та порвала с Вилларсо, но — верная дружбе больше, чем любви, — продолжала видеться с ним, как поступала со всеми своими бывшими любовниками.

Чего же удивляться тому, что Вилларсо, часто встречаясь у своей бывшей любовницы с той, на которую не переставал иметь виды, решил снова попытать счастья: теперь госпожа Скаррон была вдовой, следовательно — свободной женщиной, и между ними больше не существовало никаких преград.

Во всяком случае, Франсуаза не видела ничего зазорного в том, что она появлялась с ним в свете, и даже принимала у себя своего открытого воздыхателя: «Вилларсо постоянно туда ходит...» Разумеется, о них стали судачить.

«Говорят, и с уверенностью, что маркиз де Вилларсо влюблен в нее и принят благосклонно...»

Одно очевидно: Франсуаза не отвергала его и

даже согласилась провести лето в семействе Моншеврёй — у близких родственников прекрасного маркиза. Намного позже она рассказывала, что они с мадам де Моншеврёй занимались тогда в основном вышивкой, и упоминала «ее милых братцев, которые вдевали для нас нитки в иголки, чтобы мы не теряли даром времени...» Но если, верные своему принципу рассматривать людей и обстоятельства такими, каковы они есть, мы представим себе всю эту праздную молодежь, прогулки в тесных повозках, а особенно — свободу языка и любых проявлений, свойственную той эпохе, то невозможно будет поверить, что Франсуаза и Вилларсо не воспользовались всем этим.

Молодая женщина, незадолго перед тем из гордости отославшая назад воз с дровами, не раздумывая вернулась бы в Париж, если бы была шокирована теми вольностями, от которых Вилларсо, насколько мы его знаем, вряд ли считал нужным воздерживаться.

Почему-то обычно биографы мадам де Ментенон, касаясь этого предмета, ищут для нее оправданий или объяснений. Мы же совершенно не считаем это необходимым.

Ситуация чрезвычайно проста: есть молодая женщина, грезившая о нормальной любви, и есть мужчина, которому она нравится уже несколько лет. Франсуаза свободна; Вилларсо, со своей стороны, не затрудняет себя никакими сомнениями, ему незнакомы угрызения совести, а кроме того, ни сомнения, ни угрызения совести в те времена в подобных обстоятельствах «хождения не имели».

И было бы просто удивительно, если бы между ними ничего не произошло!..



*Дом Нинон де Ланкло. Улица Турнель, 36.
Фото Роже Виолле.*

Насчет этого пресловутого отдыха на природе существует несколько версий.

Согласно Таллеману де Рео, «она (Франсуаза) проводила ту весну с Нинон де Ланкло и Вилларсо в Вексине, на расстоянии одного лье от госпожи Вилларсо, жены их воздыхателя. Кажется, дамы относились к последней довольно высокомерно...»

А Сен-Симон* утверждает, что «маркиз подолгу беседовал» с госпожой Скаррон, а в ответ на немые упреки жены сперва поселил мадам в своем поместье, а затем предложил своему кузену Моншеврёю приютить ее у себя; тот с радостью согласился, и они, таким образом, не одно лето провели в его имении».

После подобных утверждений трудно уже закрывать глаза на знаменитое упоминание «желтой спальни» на улице Турнель, хотя письмо мадемуазель де Ланкло не единожды пытались представить как подложное.

Мы даже думаем, что Нинон с веселым любопытством и даже радостью — ведь она очень любила подругу — наблюдала за грехопадением Франсуазы, которая стала наконец такой, как все женщины.

И, проходя мимо небольшого строения, единственным украшением которого служит круглый барельеф над дверью (говорят, он является портретом Нинон), нам трудно отогнать от себя мысль о том, что любовные свидания, происходившие когда-то в этом доме, круто изменили судьбу Франции.

Действительно — и это, возможно, один из главных аргументов в пользу существования связи

* Сен-Симон Луи Ровруа, герцог де (1675—1775) — французский писатель и мемуарист. — *Прим. ред.*

между Вилларсо и Франсуазой, — никогда бы эта женщина не смогла соблазнить Людовика XIV, если бы до этого в ее жизни не было мужчины.

Мы говорим «мужчины», а не «мужчин», потому что уверены: что бы там ни говорили клеветники, других любовников у этой молодой женщины не было. Один из историков, занимавшийся ее биографией, хотя и не любивший ее, утверждает: «Если у госпожи Скаррон и был любовник, то только один, и именно этот...»

Но этого было достаточно, чтобы она преобразилась физически.

Не стоит забывать, что когда она стала возлюбленной короля, ей уже исполнилось сорок пять, то есть она была уже не слишком молода для женщины, а тем более для девицы.

Дожив до таких лет девственницей, она, очевидно, не высохла — это противоречило бы ее конституции, — но расплылась, и на коже появились бы красные прожилки. Короче, вряд ли она смогла бы обратить на себя внимание монарха, который еще находился в расцвете сил и в чьей постели успели перебивать самые соблазнительные из придворных красавиц.

Если Франсуаза смогла при помощи своей зрелой красоты завлечь, а потом и удержать самого пресыщенного из монархов, если он захотел жениться на ней и прожил бок о бок с ней более тридцати пяти лет, то всем этим, без сомнений, она обязана Вилларсо.

А без нее, возможно, не было бы ни отмены Нантского эдикта, ни оцепенения, овладевшего двором, бывшим когда-то самым блестящим в Европе, ни печального угасания самого Людовика XIV... В общем, не было бы всей этой скуки, тоски, которая

в конце концов породила бесчинства Регентства, затем философов, затем — привела к Революции...

От какой малости зависит порой ход Истории!..

Внезапно, как будто поняв, что роль, предназначенная Вилларсо в ее жизни, сыграна до конца, она порвала с ним.

Она не отрицала всего того, что привлекало ее, что нравилось ей в период вдовства, — она просто вырвала его из своего существования.

Независимо от того, одобряем ли мы поведение Франсуазы, отдадим должное ее уму и интуиции, побудившим ее покинуть путь, ведущий в никуда, ради дороги, приведшей ее туда, где, как нам известно, она оказалась.

Она сделалась смиренной, набожной, она душой и телом отдалась религии, очень смахивавшей на ханжество, она взяла себе духовника и — высшая жертва для той, которая всегда была столь разговорчива, — стала помалкивать в салонах, где велись такие блестящие беседы.

На самом ли деле она так преобразилась? Или, подобно Нинон, вдруг обнаружила, что одаривает своей благосклонностью мужчину, который этого не стоит, и решила вот так себя за это наказать? А может быть, просто осознала, что в ее возрасте (а ей было уже почти тридцать) ей придется выбирать между браком с каким-нибудь распутным стариком-придворным, которого ей сосватают, что сулило, по самым мрачным предположениям, возобновление всех неприятностей, связанных с союзом со Скарроном, — и уходом от мирской жизни, от всего, что в ней было блестящего и фальшивого.

Но теперь, после того как в течение какого-то времени она наслаждалась простыми человеческими радостями, ей пришлось заставлять себя снова на-

деть свой «панцирь», и это, хоть она и не подавала виду, далось ей с трудом.

— Вы одеты в самые обыкновенные ткани, но — странное дело! Когда вы опускаетесь на колени и ваши одежды падают вместе с вами к моим ногам, мне кажется, что это получается у вас слишком уж грациозно...

Так говорил аббат Гобелен, ее исповедник.

Однако как же старается эта прекрасная кающаяся грешница вычеркнуть из своей памяти прошедшие годы, включая воспоминания о несчастном Скарроне... Кажется, что религия стала для нее чем-то вроде купели, куда она погружалась, чтобы отмыться от грязи и любых пороков и войти в новую жизнь, сверкая чистотой.

К несчастью, была одна вещь, которую она не могла уничтожить, — может быть, потому, что просто не знала о ней. Речь идет о картине, написанной Вилларсо во времена их любви, картине, где Франсуаза изображена едва прикрытой...

Он все еще существует, этот портрет. Он находится в замке Вильфранш, в башне, называемой башня Нинон, и вправлен в деревянную панель второго этажа.

После смерти Франсуазы эту картину выставили на торги в Версале. Настоятельница Сен-Сира, «возмущенная увиденным, купила портрет, чтобы он не возбуждал нечистых помыслов». Ходили даже слухи, что монахини приказали «нарисовать на прекрасном теле пристойные одежды и повесили картину в укромном уголке дома».

На самом деле ничего подобного не было. Фамилия настоятельницы была де Морне, то есть она находилась в родстве с Вилларсо, и, скорее



*Портрет Франсуазы Скаррон работы Миньяра.
Фото Пьера Марешала.*

всего, она удовольствовалась тем, что сослала вещественное доказательство преступления в семейное поместье, рассчитывая, как мы предполагаем, что там оно быстрее забудется, чем в Сен-Сире, где история его создания рано или поздно выплывет наружу и неизбежно станет причиной скандала.

Вот вам рассказ о единственном увлечении той, что была Франсуазой д'Обинье и станет потом госпожой де Ментенон, без колебаний отказавшись от фамилии своего первого мужа, которой тем не менее она была многим обязана.

Больше в ее жизни любовных историй не было: связь, а затем и брак с Людовиком XIV были основаны лишь на расчете и выгоде.

И все-таки — какой любовницей могла бы стать эта восхитительная женщина, которую мы видим на портрете Миньяра и в которой все лучится радостью, жизнью...

Но, может быть, в этом случае она осталась бы для нас только одной из многочисленных жеманниц квартала Марэ или некоей дамой из высшего общества, лишь упоминание о которой мелькнуло бы в ученых трудах, поскольку ничего особенно интересного о ней сказать было бы нельзя.

Зато, возможно, она стала бы той, кем не была никогда, кроме — по крайней мере, мы на это надеемся, — нескольких дней, проведенных в объятиях Вилларсо: счастливой женщиной...

Вот только — хотела ли когда-нибудь Франсуаза счастья?

ДЕЛЬФИНА ДЕ КЮСТИН И АЛЕКСАНДР ДЕ БОГАРНЕ

Улица Вожирар, 70

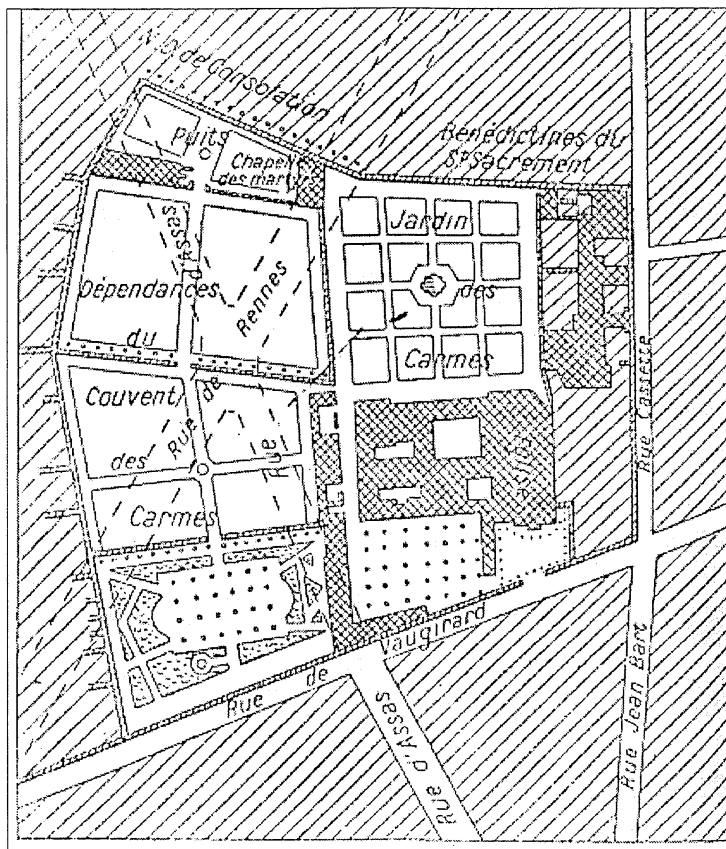
До 11 августа 1792 года казалось, что Революция обойдет семинарию Босых Кармелитов стороной. Известно, что монахи, жившие здесь с 1611 года, были весьма популярны в квартале. К тому же их очень уважали члены совета округа, благодарные кармелитам за сделанное в 1789 году предложение построить за их счет и на их территории казарму для национальных гвардейцев. Несмотря на гонения на церковников, некоторые монахи по-прежнему жили в монастыре. Тем не менее строения были подвергнуты секвестру, а в часовне перестали совершать церковные обряды.

Таким образом, жизнь в семинарии еле теплилась — но все же теплилась, что в ту бурную эпоху уже было знаменательно.

Вечером 11 августа все переменилось.

Ворота, выходявшие на улицу Вожирар, были широко распахнуты, и в них вошла странная процессия: полсотни служителей культа, каждый — для пущей надежности — между двумя национальными гвардейцами, державшими его под руки. Во главе процессии стоял Жоаким Сейра, бывший преподаватель математики, недавно повышенный в должности до мирового судьи Люксембургской секции*.

* Секциями назывались административные участки коммун, пользовавшиеся статусом юридического лица. — *Прим. ред.*



План монастыря кармелитов
в эпоху Революции.

Это был первый результат охоты на священников, опустошивший храмы сначала в квартале Сен-Сюльпис, а потом по всему Парижу.

Узников поместили в часовню, снова открытую по такому случаю, и на всякий случай приставили к каждому для наблюдения одного из солдат.

Им принесли несколько караваев хлеба и кувшины с водой; затем двери были заперты.

Аресты продолжались до 30 августа, и не проходило дня, чтобы к кармелитам не привели новых задержанных.

Таким образом было арестовано более ста пятидесяти священников. Среди узников, впрочем, оказалось десять человек, не имевших к этой профессии никакого отношения: восемь из них попали к кармелитам по ошибке, а двое сочли за честь добровольно разделить участь заключенных.

Эти люди оказались в совершенно невыносимой обстановке. Они спали на каменном полу днем и ночью, освещали свою темницу лишь огарками свечей, более чем скудно питались; скученность и летняя жара делали проблемы гигиены почти неразрешимыми. Но никто из арестованных не жаловался. В часовне бок о бок томились архиепископ Арльский и сельский священник из Нормандии, капеллан больницы де ля Питье и настоятель робертинцев... Там были больные, как аббат Ален из Эпина, и старики, взятые из дома престарелых Сен-Франсуа, там был Эбер, исповедник короля... А аббат Бертеле де Бардо, главный викарий Манда, явился сюда по собственной воле.

В конце концов спокойствие и смирение этих людей смягчили даже сердца их тюремщиков, которые были коммунарами худшего толка: нищими, хвастливыми гуляками. Молва о тяжком положении

священнослужителей распространилась по округе, и нашлись милосердные люди, благодаря которым жизнь узников более или менее устроилась: им доставили убогие кровати и столы, стали более или менее регулярно кормить — спасибо человеку, пожелавшему остаться неизвестным; им даже было дано разрешение на короткие прогулки в саду. Правда, в квартале к тому времени начали шептаться, что от арестантов могут распространяться заразные болезни — как же иначе, когда столько людей заперто в одном маленьком помещении, — так что их «проветривание» было скорее политическим вопросом местного значения.

Однако арестовать священников было недостаточно — надо было найти способ избавиться от них. Опыт показывал, что для этого есть только одно надежное средство — убийство.

То, что происходило у кармелитов 2 и 3 сентября, навсегда останется для Французской революции несмываемым пятном позора: пародия на судебное заседание под предводительством Майяра, «освобождение из-под стражи» через маленькую дверь, выходящую на внутреннее крыльцо, убийство ударами поленьев и штыков. Беглецов преследовали и укладывали на месте. Некоторым, однако, удалось спастись — пробежав через цветники, они перемахнули ограду... Другие — те, кому не повезло, — корчились в агонии на дорожках сада. Нет слов, способных описать эту картину, кровь жертв опьяняла убийц — они калечили, обезображивали, разрубали на куски и, конечно, грабили...

Но совет Люксембургской секции, не согласившись с подобными действиями, вмешался и остановил бойню. Надо сказать, что и сами палачи, утихомирившись, пришли в ужас при виде дела

своих рук. Они поторопились убрать трупы и смыть кровь, двадцать шесть выживших отпустили потихоньку домой, выдав им свидетельства. Тюремщики были столь любезны, что на прощание угостили несчастных отличным ужином и посоветовали не высовываться из дома в течение нескольких дней.

В монастыре кармелитов снова воцарилась тишина.

Когда шестеро монахов, которые там еще жили, отважились заглянуть в коридоры, куда до тех пор вход им был запрещен, они были потрясены: на стенах повсюду пятна крови, отпечатки окровавленных рук и следы штыков.

Понятно, что они предпочли оставить проклятое место, и к марту 1793 года семинария опустела.

Городские чиновники, свободные от излишних эмоций, сочли выгодным сдать помещения и сады семинарии в аренду садовнику Гийому Дюфранкастелю. Тот подписал договор, согласно которому все это отдавалось ему в безраздельное пользование за сумму в 4 280 ливров.

Благодаря этому до нас дошло сухое, но весьма точное описание того, что представлял собою ансамбль строений 5 мая 1793 года:

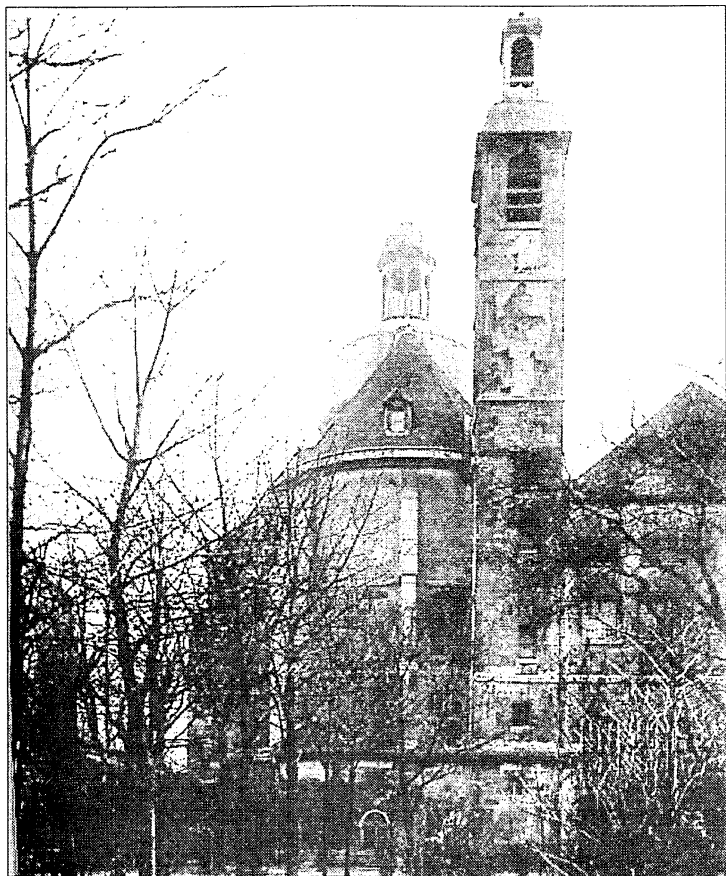
«Дом выходит большим двором на улицу Вожирар. В левом крыле находится большой зал; прямо перед нами — церковь. По периметру маленького монастыря с двух сторон — два корпуса, каждый из которых выходит в свой двор и состоит из двух этажей и чердака. С трех сторон большого монастыря выстроены трехэтажные здания с чердаками, с четвертой его стороны — большой корпус из четырех этажей, стоящий фасадом к большому саду. На задах находится еще одно здание с маленьким двором, а также большой двор с каретными сараями

и оранжереями. В первом этаже строения, служащего казармой и занятого национальными волонтерами, находятся четыре комнаты, а также насос, стояк, горизонтальное колесо и резервуар, дающие воду всему дому. Есть еще задний двор и служебные пристройки, жилище для конюха и прочей прислуги, двор с помещением для садовника. Под всеми строениями существуют весьма просторные подвалы. Наконец, есть три больших огорода, где растут и фруктовые деревья, приносящие плоды; липовые аллеи, теплицы и бассейны с водой».

Не зная, что делать со всем этим хозяйством, но желая извлечь из него выгоду, Дюфранкастель сдал его целиком в субаренду некоему Ланглуа — или Ланглэ, — которому здания были хорошо знакомы, потому что именно он в свое время доставлял еду арестованным священникам.

Вступив во владение бывшим монастырем, Ланглуа поторопился изменить его назначение. Была весна, стояла прекрасная погода, и предприимчивый коммерсант, имея в своем распоряжении отличные сады и огороды, нашел им весьма выгодное применение. Он велел построить посреди лужайки кухню, винный погреб, кладовые и прилавок, поставил 150 столов и множество стульев и скамеек. Затем он приказал развесить на ветвях деревьев гирлянды и цветные фонарики, а над входом поместить транспарант, на котором можно было прочесть: «Бал под липами».

Предприятие сразу же стало процветающим, и целое лето горожане ничтоже сумняшеся танцевали там, где так недавно умирали от рук убийц несчастные священнослужители. Конечно, многие об этом не знали, а если бы и знали — все равно не испытывали бы ни сомнений, ни угрызений совести:



*Церковь и сад «У кармелитов», улица Вождар.
Фото Роже Виолле.*

неписанным девизом того времени были слова «каждый за себя», и парижане забывали о Революции, наслаждаясь любовью и прекрасной погодой.

Ланглюа уже потирал руки, строя планы на следующий сезон, когда в ноябре месяце на него — как снег на голову — свалилось решение Комитета общественного спасения реквизировать монастырь кармелитов, чтобы превратить его в тюрьму: аресты шли полным ходом и в Париже уже некуда помещать все новых и новых заключенных.

Частенько конвоирам приходилось бродить с арестованными из тюрьмы в тюрьму, ища свободное место; старые темницы, такие, как Аббатство, Шатле, Консьержери и Форс, были переполнены, и надо было прибирать к рукам опустевшие монастыри, покинутые дворцы и школы, особняки, владельцы которых эмигрировали, — короче, любые здания, способные вместить все возрастающее количество мужчин и женщин, объявленных вне закона. Таким образом, в Париже оказалось сорок мест заключения, не считая полицейских участков сорока восьми секций.

Понятно, что в таких условиях «Бал под липами», растерявший с приходом осени своих посетителей, тут же привлек внимание исполнительной власти.

Когда решение властей дошло до господина Ланглюа, тот, разумеется, начал с выражения живейшего протеста. Перечислив в письме от 18 ноября 1793 года все виды работ по обустройству, предпринятых им в обеспечение арендного договора, он предложил отделить участок, где расположены кафе и танцевальная площадка оградой; на случай же, если это предложение не будет принято и его предприятие все-таки придется закрыть, вызвался

занять место сторожа или повара при тюрьме; в качестве обоснования своих претензий он и упомянул о том, что в августе 1792 года уже готовил еду для арестованных священников.

Нет смысла говорить о том, что его ходатайство осталось без ответа, что ему не оставили даже сарай, где бы он мог разместить свое добро, пока найдет для него новое помещение. Дюфранкастель и Ланглуа получили приказ убираться из монастыря 14 фримера II года, иными словами, 4 декабря 1793-го, а 11 декабря туда уже водворился новый сторож. Его фамилия была Роблятр, и был он по первой профессии столяром. К своим новым обязанностям он отнесся очень серьезно и, заведя новую толстую тетрадь, красивым почерком вывел на обложке:

«Книга регистрации арестов в доме предварительного заключения, называемом «У кармелитов», начата 28 жерминаля II года Первой республики, неделимой и вечной, составлена, утверждена и пронумерована мною, Роблятром, сторожем вышеупомянутого арестного дома».

В тот же самый день заключенные, которые до того помещались в трапезной Аббатства, были переведены к кармелитам: их было пятьдесят семь человек, в том числе несколько дворян.

Не стоит думать, что тюрьмы периода революции представляли собой Версаль и что туда помещали лишь «благородных господ». Достаточно бросить взгляд на список заключенных, чтобы понять: в ту эпоху, как и во все бурные времена, поводом для ареста мог послужить любой непроверенный донос, сочиненный соседом-завистником или женой, которой не терпелось избавиться от мужа. Доносили и должники, надеявшиеся таким образом избежать преследований со стороны кредиторов. На одного

маркиза, одного высокопоставленного чиновника, одного вице-адмирала или одного каноника в тюрьмах того времени приходилось множество слуг, простых служащих, матросов... Рабочего табачной фабрики обвиняли в заговоре; литейщика — в контрреволюционных призывах, равно как и шестнадцатилетнего подмастерья ювелира; о торговце вином сообщали, что он — «тайный аристократ»; причиной ареста лакея послужило его иностранное происхождение, столяра посадили за то, что он когда-то работал на свергнутого короля; часовщик угодил к кармелитам за предупреждение одной гражданки о готовящемся аресте, а супруги Луазон, артисты-марионеточники с Елисейских полей, окончили свои дни на гильотине за то, что одна из кукол кричала «Смерть Марату»*, причем никто не удосужился заметить, что кукла эта изображала Шарлотту Корде** и преступный призыв в ее устах был просто репликой из пьесы на актуальную тему, поставленной сразу же после смерти трибуна...

Итак, меньше, чем за год, — с декабря 1793-го по сентябрь 1794 года — в бывшем монастыре побывало в общей сложности 707 узников. 352 из них были отпущены на свободу — во многом благодаря 9 термидора***; 110 — приговорены к смертной казни и казнены; 9 скончались естественной смертью, двое сбежали и 98 были переведены в другие тюрьмы. Остается еще 138 человек, относительно которых ничего не известно: нет упо-

* Марат Жан Поль (1743—1793) — деятель Великой французской революции, член Конвента. — *Прим. ред.*

** Корде Шарлотта (1768—1793) — убийца Ж. П. Марата. — *Прим. ред.*

*** 9 термидора II года (27 июля 1794) — поворотный момент в истории Французской революции, ознаменовавший собой конец эпохи Террора и наступление Термидорианской контрреволюции. — *Прим. ред.*

минаний ни о том, что их куда-либо перевели, ни о том, что выпустили.

От всех этих административных подробностей остается впечатление полной неразберихи. Это слово может показаться слишком легкомысленным в применении к подобным событиям, но тем не менее оно точно. Кажется, Революция с головой захлестнула своих зачинщиков, которые не успели разобраться ни в судопроизводстве, ни в исполнении решений. Здесь даже и не пахло никакими законами или принципами, отдельные указания никоим образом не были связаны друг с другом, что доказывает: их «авторы» не имели никакой четкой линии поведения.

Впрочем, подобное происходит при всех революциях, — среди их участников всегда найдется кто-то святее Папы Римского»...

И все же внутри тюрем жизнь начала устраиваться. Правда, в разных местах порядки были разные, и схожие на первый взгляд темницы на самом деле резко отличались своим отношением к узникам.

Что касается кармелитов, то, без сомнений, это было одно из наименее приятных заведений.

Как и везде, качество питания здесь было подвержено колебаниям, зависевшим от настроения сторожа и числа арестантов. Однако раз в день узники могли твердо рассчитывать на неограниченное количество хлеба и пол-литра вина. Кроме того, имея деньги, можно было получить больше, а некоторым узникам позволялось выращивать на огороде овощи и фрукты.

Но сами условия жизни оставляли желать много лучшего. В камеры практически не попадал солнечный свет, потому что окна на три четверти были забиты досками. В более или менее освещенных

коридорах обычно сильно пахло отхожим местом, потому что посудины для отправления естественных надобностей устанавливались на каждом этаже в закутках без водосливов.

В помещениях, где содержались заключенные, было настолько сыро, что одежду приходилось отжимать. И в то же время, как ни парадоксально, невозможно было выпросить кружку воды, чтобы помыться. Разумеется, во дворе был источник, но одним из любимых издевательств над арестантами было запрещение выходить на улицу, и узники, одолеваемые паразитами, находившими в этой тесноте идеальную почву для размножения, порой по нескольку дней не имели возможности умыться.

Возможно поэтому, в отличие от Консьержери, Форс и других тюрем, где узники старались одеваться более или менее прилично, даже элегантно, у кармелитов мужчины были «грязны, неряшливы, расхристаны, ходили без галстуков, в одних рубашках и панталонах, с босыми ногами; вокруг головы повязывали платок, волос не причесывали, отпускали длинные бороды...» Что же до женщин, то они довольствовались полотняными платицами или балахонами, от которых в иных условиях отказалась бы и служанка.

Не стоит, однако, думать, что подобные условия, усугублявшиеся тем, что мужчины были отделены от женщин даже в столовой, убивали в заключенных всякий интерес к противоположному полу. В бывшем монастыре, как и в других тюрьмах, завязывались многочисленные романы. Добрый Роблятр, который таким способом добавлял кое-что к своему скудному жалованью, договорившись с небесами, тщательно запирали по ночам входные двери, но частенько забывал о дверях камер.

Кроме того, был сад, где в определенные часы разрешалось гулять всем узникам, без различия полов. Там несчастные на время забывали о своем бедственном положении: образовывались компании, завязывались разговоры, организовывались игры, и если бы не нищенские одежды, можно было бы подумать, что все они снова встретились в Трианоне.

Когда оклик тюремщика вырывал одного из игроков из мира живых, он уступал свое место кому-то из товарищей, раскланивался с невыразимым изяществом и тем же шагом, каким шел еще совсем недавно к своей карете, направлялся к повозке, которая ждала его, чтобы препроводить в трибунал, а следовательно — на смерть: подобная нравственная элегантность стоит дороже всякой элегантности физической...

Появление в такой обстановке Дельфины де Сабран не могло не произвести впечатления. Это была очаровательная женщина двадцати четырех лет, с аквамариновыми глазами и длинными светлыми волосами. Ее красоту подчеркивал глубокий траур, который она носила по недавно казненному мужу. Что ею двигало: отвага, кокетство или необдуманность, — кто знает, ведь подобные знаки скорби весьма болезненно воспринимались властями. Но когда речь идет о Дельфине, на язык просится слово «легкомыслие».

Она была знакома с большей частью заключенных: до арестов встречалась с ними в свете. Ее мать, госпожа де Сабран, одна из самых остроумных женщин своего времени, рано осталась вдовой после смерти весьма престарелого мужа, который тем не менее ухитрился оставить ей двух детей: Дельфину и ее брата Эльзеара. После положенного



Дельфина де Кюстин.
Национальная библиотека.

года траура, который она провела в провинции, молодая вдова вернулась в Париж и очень быстро обнаружила в шевалье де Буфлэре все качества, каких не находила в своем супруге. К тому же оба они обладали именно тем складом ума, характера и легкостью нрава, какие были типичны для конца XVIII века. Пожениться они не могли, так как Буфлэр был рыцарем Мальтийского ордена, который требовал от своих членов celibата. Шевалье был не настолько богат, чтобы пренебречь финансовыми преимуществами, предоставляемыми рыцарством, да и у его любовницы не было состояния, которое позволило бы решить эту проблему, поэтому их внебрачная связь длилась двадцать лет, до самой Революции, которая, упразднив привилегии, ликвидировала причину, заставлявшую этих людей откладывать свадьбу.

Чтобы лучше понять характер этой девушки, надо представить себе, как проходило детство и отрочество Дельфины и Эльзеара между прелестной и пылко влюбленной матерью и ее любовником, который только о том и думал, как бы их побаловать, надеясь сделать в каком-то смысле союзниками. Впрочем, в этом не было необходимости, потому что дети и так не представляли себе жизни без него и считали членом семьи. К этому воспитанию, мягко говоря, небрежному, добавилась печальная история с их наставником, необдуманно порекомендованным д'Аламбером. Наставник этот был аббатом лишь по названию и более всего стремился отдалить детей от матери, чтобы они не рассказали ей о его двойной жизни, совершенно не подобающей представителю духовного сословия, весьма далекой от церковных правил и в очень малой степени поучительной. Понадобилось шесть лет, чтобы обман раскрылся и

чтобы госпожа де Сабран расставила все по местам, изгнав фальшивого «аббата»; здесь надо уточнить, что она страстно любила своих детей и что дорожила ими больше всего на свете. Но эта история неопровержимо доказывает, что легкомыслие Дельфины было наследственным.

Повзрослев, девушка стала такой грациозной и хорошенькой, что шеваље де Буфлёр прозвал ее «королевой роз».

Вокруг нее толпилось множество молодых людей, но замуж она вышла за Армана де Кюстина. Ей тогда было семнадцать лет, ему девятнадцать, и он был столь же серьезен, чувствителен и вдумчив, сколь она жизнерадостна, беззаботна и непостоянна.

После медового месяца, затянувшегося на целый год, отношения между супругами разладились: Дельфина часто выходила в свет, как любая молодая женщина ее круга, а Арман обвинял ее в кокетстве. Привыкнув с ранних лет слышать любовные признания в адрес матери или в свой собственный, она в конце концов перестала относиться всерьез к этим потокам слов, и ее оскорбляли подозрения мужа. Вот она и решила оправдать их — и весьма в том преуспела.

Ее доверенным лицом и, может быть, единственным мужчиной, которого она по-настоящему любила, был ее брат, и в ее письмах к нему, сохранившихся до нашего времени, царит образ беспечного мотылька, порхавшего от одного возлюбленного к другому, отдаваясь отныне этому занятию — как бы забавно это ни звучало, — с какой-то даже невинностью. Дельфина не представляла себе жизни без, как минимум, двух или трех любовников, ни одного из которых она не отвергала, чтобы не огорчать. Она охотно им уступает, не придавая

этому значения и не делая из этого тайны, и поэтому не понимает, в чем же ее можно упрекнуть: так, отбив любовника у своей лучшей подруги, графини Алекс де Ларошфуко, она совершенно искренне недоумевает в письмах к Эльзеару, на что та обиделась. Эльзеар, в свою очередь, пытается наставить сестру на путь истинный, но абсолютно тщетно.

Несмотря на то что у четы де Кюстин было двое детей, Гастон и Астольф, супруги практически жили порознь, и госпожу де Сабран, которая очень любила своего «зятка», это ужасно огорчало. К счастью, тут вернулся из Африки шевалье де Буфлёр, которому вздумалось попросить пост губернатора Сенегала, и это ее немного утешило. Правда, ей не нравилось, с каким пылом ее любовник хватается за новые идеи, но такая уж тогда была мода среди дворян. Арман де Кюстин тоже вступил в Рейнскую армию.

Не обращая внимания на бурные события, происходившие вокруг нее, на сотрясавшую страну Революцию, Дельфина с завидным постоянством продолжала разбивать сердца.

Армана отправили с поручением к герцогу Брауншвейгскому, чтобы просить того отказаться от командования союзными армиями, которое ему предлагали, и взять на себя руководство армией французской. Коалиция сопроводила свое предложение богатыми дарами, однако миссия Армана, как и следовало ожидать с самого начала, провалилась. Тогда его послали в Берлин, чтобы заменить там графа де Сегюра, который безуспешно пытался сохранить мир с Германией. Он преуспел в этом не больше, чем его предшественник. Надо сказать, что в глазах иностранных держав власть во Франции

принадлежала тогда шайке бесноватых, и вся Европа полагала: пора положить конец этому безобразию, которое, чего доброго, могло и перехлестнуть границы.

В семье де Кюстин произошла трагедия: после прививки оспы умирает их сын Гастон. К тому же Арман, которого совершенно несправедливо упрекали в якобы совершенных им дипломатических ошибках, попал в категорию неблагонадежных.

Массовые убийства заключенных в сентябре 1792 года стали началом конца аристократии и открыли народному правительству широкую дорогу к репрессиям. Буфлёр, который к тому времени расстался со своими либеральными идеями, уехал к захворавшей госпоже де Сабран в Рейнсберг, где она жила вместе с Эльзеаром. Они застряли там надолго...

Арман просил у начальства разрешения присоединиться к отцу, назначенному генерал-аншефом Рейнской армии, чтобы служить под его началом. Ему пошли навстречу, но до того как уехать, он решил отправить жену с сыном в провинцию.

Изгнание не помешало Дельфине вести прежний образ жизни, что приводило окружающих в некоторое замешательство, поскольку, надо признать, время было самое что ни на есть трагическое. Гости в Андели у сестры своего мужа, госпожи де Дребре, она дошла даже до того, что покинула ее поместье, чтобы встретиться с графом де Груши:

«Чичисбей» командует в Гавре. Он там уже несколько месяцев, и идея поехать к нему взволновала меня. Я нашла удобный предлог: что соскучилась по морю, — и отправилась «на свидание с морем» совсем одна, только с горничной. Сына оставила сестре. И вот уже шесть дней, как я здесь».

История умалчивает о том, как восприняла госпожа де Дре-Брезе это путешествие.

Но когда Дельфина вернулась в Андели, ей уже было не до романов. Генерала де Кюстина только что арестовали: он слишком горячо разоблачал глупость военного начальства, ответственного, на его взгляд, за неудачи Рейнской армии.

И тут мы можем наблюдать удивительный поворот событий: родная дочь генерала под предлогом беременности отказывается покинуть свой дом, зато Дельфина, несмотря на смертельную опасность, которой ей это грозит, едет в Париж, чтобы быть рядом со свекром и с мужем, — просто потому, что считает это своим долгом.

Отчаянно рискуя, она проводит все судебные заседания у ног генерала. Ее поведение трогает даже простолюдинок, и Фукье-Тенвиль* начинает бояться, что толпа встанет на защиту де Кюстина. Тогда он принимает решение организовать убийство «возмутительницы спокойствия» на ступенях Дворца Правосудия, когда она выйдет с очередного заседания суда. Но ее спасает женщина из народа: она дает ей в руки собственного ребенка, чтобы Дельфина могла невредимой пройти сквозь чернь, возбуждаемую агентами общественного обвинителя. Назавтра мадам де Кюстин все так же спокойно является в суд. Процесс затягивается, и Эрбер обвиняет судей в том, что они слишком чувствительны к чарам Дельфины.

В конце концов генерала осудили и казнили.

Армана заключили в тюрьму Форс, и жена часто навещала его.

17 сентября 1793 года был принят декрет о

* Фукье-Тенвиль Антуан (1746—1795) — французский судья, общественный обвинитель в Революционном трибунале. — *Прим. ред.*

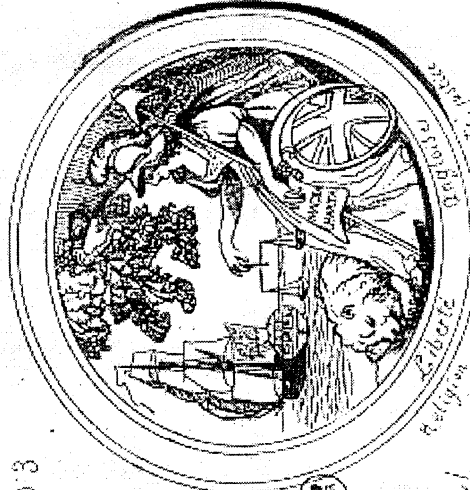


Генерал де Кюстин.
Национальная библиотека.

Le Contraste
1793



Liberte
Honneur
C'est la nation & del
lequel
Et le liberte



Religion
Prospere
Moyens de la nation & del
lequel
Et le liberte

«О том, как представляют себе свободу в Англии и Франции» — английская карикатура 1793 года. Национальная библиотека.

подозрительных лицах, согласно которому арест, а следовательно — казнь грозила каждому, кто не обладал свидетельством о благонадежности... Решено было изгнать из страны эмигрантов, конфисковав их имущество... Мария-Антуанетта*, мадам Элизабет**, жирондисты, даже сам король — окончили жизнь на эшафоте... Началась эпоха террора...

И как же не удивиться, читая очередное письмо Дельфины брату, датированное 8 декабря 1793 года:

«Должна тебе сказать, что о «Любезнике» больше не может быть и речи: он поступил бесчестно и вылечил меня наконец от безумия любви. Совсем другое дело — «Чичисбей»: это роман самый продолжительный, самый интересный и самый нежный; я его очень люблю и думаю, он этого достоин... «Товарищ по несчастью» был безупречен. Я ужасно его люблю; он немножко влюблен, хотя с виду не скажешь...»

Правда, в том же письме она констатирует: *«Что же делать — мне никогда не хватало здравого смысла...»*

Дельфина перевезла в Париж сына Астольфа и Нанетту, свою верную служанку, — настолько верную, что она бранила продавцов газет, когда те выкрикивали стишки о предателях Кюстинах: процесс Армана последовал за процессом его отца.

С августа месяца Арман томился в тюрьме Форс, и его жена проводила там с ним долгие часы. Нет ничего удивительного в том, что такое обилие несчастий сблизило их, но «легкомыслие Дельфины оставалось беспредельным и неисправимым».

* Мария-Антуанетта (1755—1793) — французская королева, жена Людовика XVI. Гильотинирована. — *Прим. ред.*

** Мадам Элизабет, Елизавета Французская (1764—1794) — сестра Людовика XVI. Гильотинирована. — *Прим. ред.*

«Что касается Армана, мы уже давно в силу различных причин охладели друг к другу и живем каждый по-своему. Правда, наши последние несчастья сблизили нас; мое поведение, моя абсолютная преданность ему самому и всему, что ему дорого, тронули его, и он влюбился в меня, как никогда прежде. Но с моей стороны существует лишь нежная дружба, ничего более. Это его огорчает, и он говорит, что я бегу от счастья. Теперь, когда он меня любит, я душой и телом принадлежу другому — разумеется, только в мыслях, но это мешает миру и счастью между нами».

Без слов ясно, что эта исповедь была адресована Эльзеару...

Арман не избежал общей участи, отказавшись от попытки побега, предложенной Дельфиной, он не хотел, чтобы его сообщница в случае провала заплатила жизнью за его свободу.

Перед тем как подняться на эшафот, он написал жене совершенно безмятежное послание, в котором молчаливо прощал ее за все несчастья, что она ему причинила. Арман де Кюстин взошел на эшафот с достоинством, которое потрясло даже его палачей; а ведь ему было всего двадцать пять лет! «Он отправился на казнь с удивительным спокойствием и твердостью духа», — сообщала газета «Карающий меч», которую трудно заподозрить в симпатии к аристократам.

Дельфина осталась в Париже совсем одна, как бывало со многими женщинами, члены семьи которых не угодили Исполнительному комитету. У нее не было ни друзей, ни средств к существованию, и эта изоляция была тем более для нее мучительна, что она не имела никаких известий от

матери и брата: почтовая связь с Нейнбергом прервалась.

Она хотела, чтобы ее забыли, хотела вести с сыном и Нанеттой скромный и уединенный образ жизни. Но ее поведение во время процесса свекра привлекло к ней слишком много внимания, чтобы не иметь последствий. Поэтому она решила бежать, но горничная предала ее, и в момент, когда Дельфина, переодетая простой работницей, была уже на пороге, в дверь постучали члены Исполнительного комитета. К счастью, Астольф и Нанетта успели ускользнуть.

Были опечатаны все комнаты, кроме кухни, все было перевернуто вверх дном в поисках компрометирующих документов. В ожидании, пока обыск закончится, Дельфина, сидя на кушетке, рисовала профили «гостей», чтобы немного успокоиться. Никому не пришло в голову заглянуть под обитую тканью с бахромой кушетку, на которой сидела молодая женщина. А ведь именно под эту кушетку она быстренько затолкнула ногой шкатулку, полную писем, которые намеревалась уничтожить как раз в ту минуту, когда явились комиссары. Несмотря на три обыска письма так и не были обнаружены!

Дельфину сначала препроводили в тюрьму Сент-Пелажи, затем, после нескольких недель заключения, перевели к кармелитам. Это произошло 24 марта 1794 года.

Поскольку тамошние узники знали о героизме, проявленном ею во время процесса свекра, и о недавней казни ее мужа, Дельфину приняли с распростертыми объятиями, и очень скоро она сделалась королевой маленькой общины: ей посвящали мадригалы, искали ее общества, спрашивали совета...

Там, у кармелитов, вместе с нею находились самые знатные люди Франции: князь де Роан Гемене, маркиз де Каркадо, граф де Суайекур, принц де Сальм Кирбург, который, обосновавшись во Франции, забыл, что он немец, генерал Ош, Леруа де Граммон... Нет смысла говорить о том, что Дельфина оказалась в своей стихии: все они стали ее поклонниками, каждый стремился завоевать расположение.

Женщины были с ней вежливы, но вели себя сдержанно: а как могло быть иначе, если эта обольстительная соперница лишала их возможности услышать, быть может, последние в жизни слова любви? У кармелитов много говорили о любви, как и во всех тюрьмах времен революции: дни узников были сочтены, и именно любовь стала одним из самых приятных способов провести остаток жизни — те считанные дни, какие им остались.

Дельфине оставалось только выбрать — и, чтобы не слишком ее затруднять, один из ее воздыхателей быстро опередил остальных. Нисколько не стремясь защититься, молодая женщина пала жертвой Александра де Богарне. Правда, тут ей можно найти оправдание: она как бы не покинула лона семьи, потому что де Богарне занял место генерала де Кюстина во главе Рейнской армии, что, впрочем, как мы видим, принесло ему не больше счастья, чем его предшественнику. К тому же Дельфина и Александр уже встречались прежде, несколько лет назад, у близкой подруги Дельфины Алекс де Ларошфуко, но надо думать, тогда генерал был больше занят другими, потому что Дельфину даже и не заметил.

Естественно, они поторопились наверстать упущенное, и поскольку, если не считать прогулок в

саду, делать в тюрьме было в общем-то нечего, любовники целыми днями вели переписку.

Увы, до нас дошли лишь два фрагмента из этих писем, которые Дельфина отдала своему брату, потому что там шла речь о нем. Роль Эльзеара в жизни сестры была настолько велика, что даже после трех лет разлуки он оставался одним из главных предметов ее бесед с Александром. Безусловно, брат и сестра были объединены чувством гораздо более сильным, но и куда менее чистым, чем родственная любовь. Удивительно, что официальный любовник, кажется, принял игру и нисколько, по-видимому, не ревновал к отдаленному, непредсказуемому и вездесущему сопернику — похоже, даже наоборот:

«Вчера, в несправедном гневе, я перестал считать тебя достойной сестрой Эльзеара. Но сегодня, если я все еще верю, что это сверхъестественное существо не вымысел, — то только лишь потому, что говорю себе: он брат Дельфины, и природа пожелала искупить все несчастья нашего времени, создав два этих удивительных феномена. Я настолько отождествляю с вами этого восхитительного молодого человека, что сделал бы что угодно, приложил бы какие угодно усилия только ради того, чтобы заслужить его уважение, вызвать в нем интерес к себе...»

А во втором письме мы читаем:

«Я жду от тебя тайного способа передать тебе то, что меня волнует. Нужна ли тебе моя кровь? Я бы с удовольствием пролил ее, если бы она могла, пролившись ради тебя, разжечь твою и сильнее запечатлеть мой образ в твоей памяти. Тогда, поселившись в твоём сердце последовательно как друг, как брат, как любовник, я бы слился с

Эльзеаром, слился с твоим сыном, со всеми, кто тебе дорог, чтобы не упустить ни одной из твоих привязанностей и слиться с каждым твоим вздохом, даже если он будет вызван иной страстью...»

Эти два коротких фрагмента интересны не только с психологической точки зрения: они типичны для любовной литературы эпохи романтизма.

Но кто же этот блестящий генерал, который пишет такие чудесные письма?

Александр Мари де Богарне родился в 1760 году на Мартинике, где его отец исполнял обязанности наместника и губернатора французских Антильских островов. Совсем юным Александр покинул острова и стал офицером. Обольстительный, божественно сложенный, он начал покорять сердца уже тогда, когда в шестнадцать с половиной лет был назначен младшим лейтенантом Саарской инфантерии.

А пока он таким образом одну за другой менял любовниц, его тетка, госпожа Реноден, остававшаяся на Мартинике, думала, как бы его получше пристроить. Естественно, ее взгляд пал на друзей семьи — Таше де ля Пажери. Сначала было решено женить молодого человека на старшей их дочери, Катрин-Дезире, но та умерла от чахотки вскоре после официального предложения. Ну что ж, тогда ее заменит Роза, младшая сестра! И вот так Александр оказался женихом юной креолки, которую видел последний раз трехлетней девчушкой. Разумеется, он никак не мог вернуться на Карибы, так что Розе, которая к тому времени еще не стала Жозефиной, пришлось ехать к нему во Францию в сопровождении мадам Реноден.

Можно себе представить, как затосковала молодая девушка — ей в ту пору едва исполнилось



*Виконт Александр де Богарне.
Фото Роже Виолле.*

шестнадцать, — высадившись в Бресте утром 2 ноября 1779 года, по солнцу Антильских островов. Но все ее горести мигом улетучились, как только она увидела Александра: он показался ей самым привлекательным из всех ранее виденных мужчин.

Что до него, он нашел невесту прелестной, не более того.

Их обвенчали в церкви Нуази-ле-Гран. Юная креолка без памяти влюбилась в своего мужа, а ему это казалось дурным тоном.

К тому же он решил, что она плохо воспитана, и занялся ее образованием, чтобы «усердием восполнить пробелы, образовавшиеся за первые пятнадцать лет ее жизни, когда обучением пренебрегали». Очень быстро двадцатилетний педагог оказался самым педантичным, самым нудным, самым эгоцентричным из мужей. Впрочем, он быстро вернулся к привычкам своей холостяцкой жизни, считая упреки жены по этому поводу совершенно неуместными.

А она скучала... Александр почти не бывал дома, а когда приезжал, не водил ее на придворные балы, о чем она страстно мечтала. На самом же деле Богарне не были достаточно родовиты, чтобы их туда приглашали, и, говорят, именно отказ — впрочем, довольно вежливый — включить молодую чету в список приглашаемых, вызвал у обидчивого офицера стойкую ненависть к монархии.

Как бы там ни было, но, несмотря на появление на свет двух детей, Ортанс и Эжена, у супругов не было ничего общего, и в июле 1783 года произошел окончательный разрыв, спровоцированный исполненным ревнивого гнева письмом, которое Александр послал Жозефине. Особенно пикантно здесь то, что сам он в этот момент находился на Мартинике, куда

отправился на «Венере» за лаврами и славой в компании госпожи де Лонгпре.

Жозефина использовала этот случай, чтобы сыграть роль негодующей супруги и, хотя ее собственная совесть тоже не была абсолютно чиста, в декабре 1793 года потребовала развода.

Это была уже не та восторженная провинциалка, что приплыла во Францию четырнадцать лет назад. Уроки мужа принесли свои плоды. Она расцвела, креольская томность придавала ей еще больше очарования, а кроме того, она проявляла в беседах незаурядный ум. Большого и не требовалось для того, чтобы очаровать высший свет, и одна ее улыбка сделала то, в чем было отказано Александру в силу его происхождения: Жозефина получила приглашение ко двору.

Но Богарне не волновали успехи его бывшей супруги: он всерьез занялся политикой. Назначенный депутатом Генеральных Штатов от дворянского округа, находившегося в ведении сенешаля Блуа, он энергично высказался ночью 4 августа за упразднение привилегий, за равную ответственность и возможность получить любую работу для всех граждан.

Александр стал секретарем Ассамблеи, потом членом военного комитета и, наконец, президентом Ассамблеи. Именно на этом последнем посту он произнес фразу, которая имела в то время большой успех. Открывая заседание в день, когда король сбежал в Варенн, он сказал:

— Господа, король отбыл этой ночью. Перейдем к повестке дня.

Эту реплику отличала поистине республиканская лапидарность.

Назначенный командовать Рейнской армией вместо генерала де Кюстина, он куда больше занимался

мирными гражданами, чем обороной Майнца. Город оказался в руках врагов, и Александр, который из благоразумия отступил, подал в отставку.

Она была немедленно принята; мотивировочная часть судебного постановления гласила:

«...принимая во внимание... что он не обладает ни силой, ни энергией, необходимыми генерал-аншефу республиканской армии; принимая во внимание, что слабость и апатия, заставившие его покинуть армию на время боя, вселили в солдат неверие в победу и обескуражили офицеров...»

Бывший генерал без возражений отбыл в свое поместье в Ферте, но в ту эпоху невозможно было просто уйти в тень, и 14 марта 1794 года его препроводили к кармелитам, обвинив в том, что из-за его халатности была проиграна битва при Майнце.

Вся жизнь этого соблазнителя доказывает, что, будучи весьма привлекателен как мужчина, он тем не менее был весьма заурядной личностью. Правда, самомнения у него было в избытке — зато мужества явно недоставало...

Но что за дело было Дельфине до его мужества? Ее интересовали лишь его красота, обаяние и умение пылко говорить о любви, отгоняя от возлюбленной мысли о тяготах их беспокойной эпохи.

Их роман длился уже больше месяца, когда к кармелитам по анонимному доносу попала и Жозефина. Влияние, которое она приобрела в свете благодаря своему обаянию и умению его применять, естественно, способствовало появлению завистников, а в особенности — завистниц.

Как бы там ни было, все прошло отлично: все они были людьми светскими, и Александр одним из первых поцеловал руку своей бывшей супруге.

Случай — или чей-то злой умысел — привел Жозефину в ту же камеру, где жила Дельфина. Сокамерницы стали лучшими подругами, и именно Жозефина, по природной доброте, часто передавала письма любовников друг другу. Правда, она и сама весьма приятно проводила время с генералом Ошем.

А тем временем на узников надвигалась гроза. Число арестантов все увеличивалось, места для них катастрофически не хватало, и власти, озабоченные этой проблемой, попытались решить ее, ускорив исполнение приговоров.

Этой меры оказалось недостаточно, и тогда Эрман, комиссар гражданской администрации полиции и трибуналов, изобрел более действенный метод разгрузить тюрьмы — он предложил одним махом «очистить почву свободы от этого мусора, этих подонков общества». Комитет общественного спасения, вдохновленный идеей Эрмана, отдал приказ выявить «среди заключенных заговорщиков — зачинщиков кровавых бунтов, направленных на убийство патриотов и удушение свободы». Но среди узников царило такое спокойствие, пассивность и почти овечья покорность своей судьбе, что это вынуждено было признать даже руководство. Никто и не думал ни бунтовать, ни устраивать какие бы то ни было заговоры, и это совершенно обескураживало власти.

Однако члены Комитета общественного спасения сдаваться не собирались. Раз заключенные не желали бунтовать по собственной воле, в ход были пущены «наседки», провокаторы, которые должны были развязать языки, подслушать неосторожные фразы, раскрыть наличие преступных замыслов.

Но несмотря на рвение стукачей, узников так и не удавалось спровоцировать ни на что серьезное:

просто удивительно, насколько эти жертвы режима примирились со своей судьбой.

Интересно, а как бы повернулась История, если бы во всем Париже вспыхнул бунт узников против тюремщиков? Силы полицейских были тогда весьма ограничены, кроме того, эффект неожиданности, соединенный с извечной нелюбовью простонародья к власти имущим, мог бы привести к полной перемене настроений толпы. Но, может, мятежников постигла бы печальная участь шуанов*? Кто знает, кто знает...

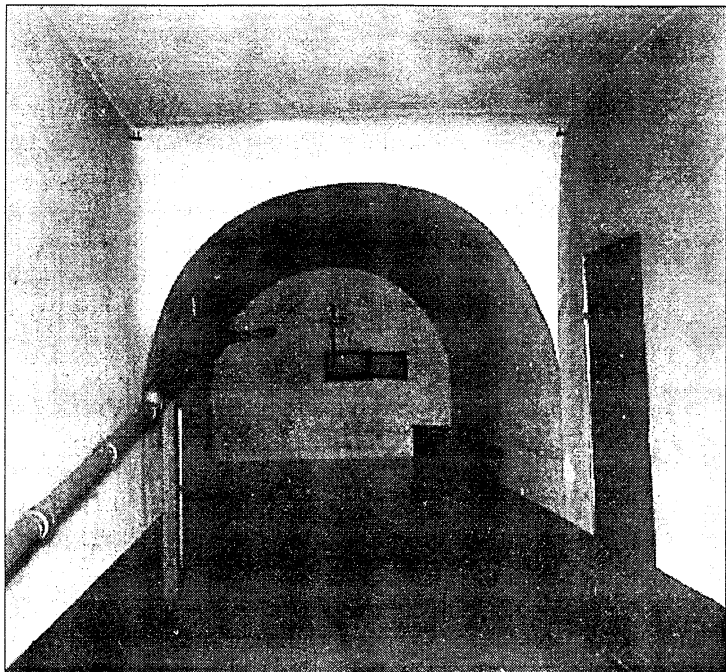
Как бы то ни было, к июлю 1794 года — то ли из осторожности, то ли из покорности судьбе — ни один из заключенных не дал Комитету национального спасения повода начать массовые репрессии.

Не дождавшись активности от обитателей тюрем, власти решили действовать сами: началась операция, которая известна под названием «Заговор тюрем». Были произвольно составлены списки «агитаторов» и «возмутителей спокойствия» — и первый результат, полученный в Люксембургской тюрьме, оказался весьма обнадеживающим: 157 человек были подвергнуты суду, 146 из них приговорены к смерти и казнены в течение двадцати четырех часов.

Вдохновленный успехом предприятия, Комитет общественного спасения поручил одному из его главных вдохновителей и заправил — Жану Гийому Бенуа — провести такую же работу в тюрьме «У кармелитов».

Надо сказать, тамошние события упрощали его

* Шуаны — контрреволюционные мятежники, действовавшие во Франции во время революции. В 1803 г. движение было окончательно подавлено. — *Прим. ред.*



Тюрьма «У кармелитов».

Предполагаемая камера Жозефины де Богарне.

Следы крови, оставленные оружием революционеров.

*В г л у б и н е: табличка, подписанная госпожой Тальен,
герцогиней д'Эгийон и Жозефиной де Богарне.*

С п р а в а: вход в камеру Оша. Фото Роже Виолле.

задачу. Мало того, что молодые заключенные как-то подшутили над сторожем, ночью отвязав веревку, на которой держался противовес башенных часов, — так еще один хирург по фамилии Вироль, сидевший у кармелитов со дня открытия тюрьмы, взял себе за обычай метать громы и молнии по адресу «этих проклятых оборванцев из Конвента», обвиняя их в том, что его засадили в тюрьму, чтобы не оплачивать медицинские услуги, которые он оказывал кое-кому из них. Может быть, это была и правда, но кричать о ней во всеуслышанье было весьма опасно.

Итак, Бенуа было с чего начинать.

На допросах Вироль начисто отрицал приписываемые ему речи. Ему было 58 лет, и профессия научила его хорошо разбираться в людях и быть к ним снисходительным. В ожидании, пока решится его судьба, Вироль был помещен в одну из камер третьего этажа. Но едва закрылась дверь его камеры, его разбитое тело оказалось на булыжниках тюремного двора... Самоубийство или убийство? Этого мы никогда не узнаем...

Случаю с веревкой — простой шутке, достойной школяров, — внезапно было придано огромное значение: «заговорщики обзавелись веревками, с помощью которых собирались осуществить побег, дабы предпринять чудовищную попытку покушения на представителей народа».

Нам известны имена этих несчастных жертв «правосудия»: Вовуар, 24-х лет, бывший дворянин... Лезаж, 23-х лет, слуга... Гарроп, 22-х лет, англичанин, — достаточно неожиданная статья обвинения!

Фукье-Тенвиль отправил на гильотину сорок девять человек, из которых, кроме похитителей веревки, никто даже не был ни допрошен, ни судим.

Список был составлен таким образом, чтобы сами по себе характеристики обвиняемых звучали как смертный приговор: бывший граф... бывший бригадный генерал... бывший принц... бывший кавалер ордена Святого Людовика... экс-генерал... Эта последняя номинация относилась к Александру де Богарне. Возлюбленный Дельфины вошел в число тех, кого Бенуа и его подручный Шавар обозначили как «заговорщиков».

22 июля, иначе говоря 4 термидора, список был зачитан заинтересованным лицам.

Поскольку шел дождь, заключенные в этот день не гуляли. Гроза ввергла тюрьму в какое-то оцепенение. Надо сказать, что до этого дня, в течение двух недель, жизнь у кармелитов проходила относительно спокойно: никого не вызывали, не увозили, и хотя некоторые с подозрением относились к присутствию в тюрьме Бенуа, большая часть узников осмеливалась думать, что о них забыли. Как ни удивительна подобная наивность, ее можно понять: эти несчастные цеплялись за малейший лучик надежды...

Александр и Дельфина продолжали писать друг другу пламенные послания; им казалось, что их любовь длится вечно, как будто один и другая были созданы для верности! И, конечно, в тот день каждый из них в своей камере строчил слова любви...

Внезапно по коридорам пронесся слух: во дворе повозки, много повозок!..

Узников охватило смятение. Собираясь в группы, они пытались выяснить, что происходит, успокаивали друг друга, впрочем, безуспешно... И вот уже судебный исполнитель начинает выкликать имена, безбожно их перевирая: те, кто составлял список, не заботились о правописании.

Столпившись на лестничной площадке, в полной тишине — слышно было только тяжелое дыхание, — заключенные слушали, как чиновник перечисляет фамилии: Сальм Кильбург... Кайоль... Вердые...

Возможно, их шоковое состояние было вызвано как раз этой двухнедельной передышкой, которая позволила им надеяться на лучшее: если бы в старый монастырь ударила молния, она не могла бы больше их поразить.

Все это длилось долго... очень долго... почти весь день. Многие фамилии повторялись несколько раз, потому что некоторые из заключенных не присутствовали при оглашении списка и не знали, что их участь решена. Их пришлось разыскивать — кого в собственной камере, кого в соседней.

Осознавая чудовищную незаконность своей миссии, судебные исполнители старались хотя бы формально согласовать свои действия с законом: каждый из приговоренных подвергался процедуре идентификации, правда, весьма краткой.

Можно себе представить, что означали эти часы для тех, кому предстояло покинуть тюрьму, и для тех, кто там оставался. Обычно в таких случаях все происходило очень быстро, не оставляя несчастным времени как-то отреагировать, и приговоренные могли лишь пойти на смерть с улыбкой, что являлось в данном случае высшей формой проявления мужества.

Но на этот раз судебные исполнители затягивали процедуру, и надо было чем-то занять вялотекущие минуты. Некоторые из обвиняемых, уверенные в своей невинности, собирали нехитрый багаж, другие — прощались с товарищами, не теряя спокойного достоинства, которое так характерно для подобных сцен. Еще кто-то, кто, быть может, боялся под

конец расчувствоваться и проявить недостойную слабость, запирался в камере, чтобы написать прощальное письмо, адресат которого, может быть, находился всего в нескольких шагах.

Именно этим и занимался Александр: он вернулся в свою камеру, чтобы там написать последнее письмо.

Но кому было оно адресовано? С кем он прощался? С Дельфиной, которая в отчаянии барабанила в дверь, желая провести с возлюбленным последние мгновения?

Нет. Александр писал своей жене, Жозефине, с которой давно разошелся, которая изменяла ему и которой изменял он сам... Это о ней он думал в те последние минуты.

Рефлекс светского человека, который во всех случаях жизни поступает в соответствии с правилами хорошего тона? Но время ли было тогда для хорошего тона?

Александр пытался писать о политике, клеймил тех, кто приговорил его, предсказывал еще худшие катастрофы Франции, которая не сумела оценить такого человека, как он... Но из-под его пера выходили слова и фразы, которые не могли обмануть:

«Никакой надежды увидеться снова, друг мой, никакой надежды поцеловать наших любимых детей. Я не стану говорить тебе, что сожалею. Моя нежность к ним, моя братская привязанность к тебе не способны вызвать у тебя хоть малейшее сомнение в том, с какими чувствами я ухожу из жизни...»

Все это было непохоже на любовь, но это было куда больше, чем любовь. И тут нельзя не вспомнить о том, как тридцать семь лет спустя другой человек, умирая на острове Святой Елены, тоже

шептал имя Жозефины, хотя она причинила ему много зла и они давным-давно расстались...

Каким же очарованием должна была обладать эта женщина, чтобы вызвать подобные чувства!..

Наконец все было закончено, и осужденные, один за другим, потянулись к повозкам.

Те, кого они покидали, молча выстроились в шеренгу, чтобы поймать последний взгляд, послать последнюю улыбку. Именно в такие моменты — больше даже, чем на эшафоте — проявляется сила души, и ее требуется очень, очень много, потому что ее должно хватить и на других.

Но Дельфина не могла вынести этого зрелища: когда Александр проходил мимо, она рыдала в объятиях Жозефины. Де Богарне, стараясь сохранить полное спокойствие, остановился, чтобы сказать возлюбленной несколько слов утешения. Конвоиры подтолкнули его вперед; тогда Александр снял с пальца арабский перстень, который носил как талисман, и передал его Дельфине. Та хранила кольцо до конца своих дней.

Затем он поднялся на одну из повозок, и она покатила по улице Вожирар в направлении тюрьмы Консьержери.

Возможно, как и многие ему подобные, виконт де Богарне дурно жил — зато, что ни говорите, он сумел достойно умереть.

Зная, что судьям был отдан приказ «не церемониться», — этот принцип лежал в основе всей этой кампании, — можно себе представить, как выглядело заседание трибунала, происходившее на следующий день: никаких допросов, никакой присяги судей, никакой защиты. Трое обвиняемых были судом оправданы: Журдан по прозвищу Бель Порт — бывший унтер-офицер Северной армии; Пьер Шас-

сейнь — парижский ковровщик; и, наконец, Жан-Пьер Гонфревиль, о котором известно только то, что он родился в Руане.

Нет сомнений в том, что, объявив непричастными к делу подобных незначительных личностей, которые, разумеется, именно с этой целью попали в список, Комитет общественного спасения хотел наглядно показать: только богатеи и аристократы способны желать гибели республике.

В тот же день, 5 термидора, приговоренных отправили на гильотину. Обвинительный акт в отношении Александра среди прочих статей гласил: «был сообщником в предательстве де Кюстина». Таким образом, фамилия его последней возлюбленной была присоединена к его собственной...

У кармелитов царила полная растерянность. После этих трагических событий узников охватил страх. По коридорам гуляли тревожные слухи, и ни один из узников не ложился спать без мысли о том, что, может быть, эта ночь станет для него последней, что на завтра может быть назначена казнь.

Четыре дня спустя наступило 9 термидора...

Первой покинула кармелитов Жозефина. Тальен* поторопился освободить ее по просьбе своей любовницы Терезы: молодые женщины были близкими подругами. Жозефина, узнав об оказанной ей милости, «лишилась чувств от волнения и пролила много слез».

Никто не сердился на нее за оказанное ей предпочтение, потому что очарование и доброта снискали ей всеобщую дружбу.

Но, прежде чем оставить в покое будущую императрицу, задумаемся: а что, если бы четыремя

* Тальен Жан-Ламбер (1767—1820) — французский революционер, один из руководителей Термидорианской контрреволюции. — Прим. ред.

днями раньше Александр избежал смертной казни? Ведь, не будучи вдовой, Жозефина не могла бы выйти замуж за Бонапарта, и у Барраса* не было бы никаких причин способствовать карьере молодого младшего лейтенанта, чтобы он мог содержать свою жену в такой же роскоши, в какой она жила при главе Директории.

Конечно, разводы уже начали входить в обычай, но в случае женитьбы на разведенной женщине Наполеону нелегко было бы получить согласие Папы Римского на коронацию!..

Положение Дельфины было далеко не блестящим: все ее друзья, все родственники умерли или рассеялись по свету, а в те бурные времена человек, о котором никто не хлопотал, рисковал на долгие годы остаться в заключении.

Правила содержания заключенных несколько смягчились, и Дельфину смогла навестить верная Нанетта, которая сообщила ей новости об Астольфе: на следующий же день после ареста хозяйки она с ребенком снова обосновалась в ее квартире, в единственном неопечатанном помещении — на кухне.

Но что могла сделать Нанетта, чтобы освободить свою хозяйку? Она не имела ни связей, ни богатства... Однако бесконечная преданность молодой женщине сделала ее способной на любой, самый отчаянный поступок. И вот Нанетта вспомнила, что ее отец большую часть жизни проработал на принадлежавшей роду де Кюстинов фарфоровой мануфактуре в Недервилье. В 1793 году, после

* Баррас Поль, виконт де (1755—1829) — французский революционер, один из наиболее влиятельных членов Директории. — *Прим. ред.*



Текст под портретом:
*«22994. — Дельфина де Сабран,
маркиза де Кюстин (1770—1826).*
(Из книги М. М. Гастона «Дельфина де Сабран,
маркиза де Кюстин».)

ареста генерала и конфискации фабрики, полсотни рабочих, и отец Нанетты в том числе, переехали в Париж.

Заставив Дельфину подписать прошение об освобождении, Нанетта умолила отца поговорить со своими бывшими товарищами по работе, чтобы те сопровождали это прошение рекомендательной припиской. Те охотно согласились: де Кюстинов на фабрике любили.

С этой драгоценной бумагой Нанетта кинулась к Лежандру, бывшему мяснику, которому теперь было доверено управление комиссией, занимавшейся рассмотрением прошений об освобождении. Поскольку никто из важных персон за Дельфину не просил, прошение попало в папку, где дожидались своего часа другие подобные же петиции, обреченные на забвение. Надо сказать, что главным занятием Лежандра было опустошение бутылок — одна следовала за другой, — и это сильно вредило примерному исполнению им своих функций.

Заключение Дельфины могло бы продлиться еще не один месяц и никто бы не вспомнил о ней, если бы не случай, счастливый случай. Судьбе было угодно распорядиться так, чтобы трое молодых людей, служивших у Лежандра, поздно вечером зашли в его кабинет после ужина, обильно сдобренного вином. Не зажигая света, юноши затеяли возню: бегали друг за другом, толкались, хохотали. Кто-то из них задел папки с «безнадежными» прошениями, и бумаги разлетелись по полу. И тут началась новая игра, что-то вроде лотереи: один из молодых людей, по фамилии Россинье, наугад схватил одну из бумаг и заявил с уверенностью, которую ему придавало опьянение, что берется получить подпись Лежандра на прошении об осво-

бождении того или той, чье имя стоит на этом вот листке.

Когда зажгли свет, оказалось, что у него в руках петиция Дельфины де Кюстин.

Ее поведение во время процесса свекра осталось в памяти парижан. А поскольку, кроме того, было известно, что она молода и красива, трое юношей тут же взялись за дело.

Получить подпись Лежандра было нетрудно: явившись в час ночи в кабинет, он был, как всегда, вдребезги пьян. И ему было совершенно все равно, чье имя написано на листке, который помощники подсунули ему на подпись.

Чувствуя себя странствующими рыцарями, освобождающими из плена прекрасную принцессу, молодые люди заторопились к кармелитам; их должности мгновенно открыли перед ними двери тюрьмы, правда, не слишком крепко запертые после 9 термидора. Юноши приказали отвести их в камеру Дельфины.

Но там, к огромному их разочарованию, их ждало энергичное сопротивление со стороны молодой женщины, не желавшей среди ночи открывать дверь незнакомцам, которые к тому же собирались куда-то ее вести. Учитывая все, что ей пришлось пережить, бедняжку трудно упрекнуть в излишней подозрительности.

На следующий день с утра освободители явились снова. На этот раз они сумели объяснить узнице, зачем пришли, и Дельфина наконец покинула негостеприимный монастырь. Это случилось 17 вандемьера. Она пробыла в заключении восемь месяцев...

Возвращенная Дельфине свобода принесла ей еще много любовных историй, потому что пережитые ею трагические события не сделали ее серьезнее.

Возможно, один только Шатобриан вдохновил ее на продолжительную страсть, но заставил ужасно страдать.

Очаровательная и легкомысленная Дельфина, которая всю свою жизнь искала счастья и не находила его...

Однажды ее мать написала для себя эпитафию, которая прекрасно подошла бы и дочери:

*Наконец я в гавани,
Где всегда желала быть;
Потому что я нуждалась в смерти,
Чтобы отдохнуть от жизни...*

ГЕРЦОГИНЯ ОРЛЕАНСКАЯ И РУЗЕ

Улица Шаронн, 157

Надо хорошенько вспомнить, чтобы в полной мере оценить явление, названное «феноменом Бельома», вспомним, что собою представляло существование французов во времена террора.

Тогда достаточно было приходиться кому-то родственником, достаточно было обронить одно-единственное неосторожное слово или просто не проявить должного энтузиазма, чтобы человека схватили и приговорили к смерти. В любую минуту мог раздаваться страшный стук в дверь... Ужас охватывал всех и каждого... кроме пансионеров доктора Бельома.

Он еще существует, этот знаменитый пансион, чье название по-прежнему написано на фронтоне здания над входом; и теперь, как два века назад, здесь расположена платная клиника.

Судьба замыкает круг, и здания снова обретают свое первоначальное назначение.

Прибыв в 1787 году из Пикардии и обосновавшись на улице Шаронн, Жак Бельом открыл здесь приют для душевнобольных, а также для тех, кого пока нельзя было отнести к этому разряду, но кто, говоря современным языком, страдал нервной депрессией. Надо заметить, что Бельом был по профессии совсем не врачом, а столяром, но законы той эпохи были в этом отношении мягче, чем сейчас.



*Психиатрическая лечебница доктора Бельома
на улице Шаронн, где скрывались аристократы
во время революции.
Фото Роже Виолле.*

Его дела сразу пошли в гору, через два года у него было уже 46 пансионеров, из которых девять стали «заключенными по доброй воле»: так Бельом называл тех, что искали в его заведении спасения от жизни, разочаровывавшей или пугавшей их.

Наступила революция.

Бельома назначили капитаном роты Попинкура, и он стал одним из самых рьяных защитников новых идей.

Исполненный гражданской доблести, он завел себе друзей среди тогдашних представителей власти, и в его коммерческом уме родилась идея предприятия, весьма удивительного даже в ту эпоху, словно сотканную из противоречий. Он решил преобразовать свою психиатрическую клинику во что-то вроде убежища, куда под предлогом излечения от более или менее воображаемой болезни можно будет, за приличные деньги, помещать богатых преступников, таким образом укрывая их от гильотины.

Бельом поделился этой идеей с Фукье-Тенвилем, которого встречал в клубах, и Фукье-Тенвиль стал его сообщником.

Они подолгу рассуждали о том, какую выгоду сможет извлечь из этого предприятия генеральный прокурор: естественно, говорили о процентах за пансион, о прибавке к установленной цене, о взятках... Самое удивительное, что Фукье, кажется, не получал и малой толики этих доходов, и семья его после смерти осталась в полной нищете.

Может быть, этот член Конвента обеспечивал себе будущее на случай, если колесо истории повернется и ему придется прибегнуть к помощи спасенных им людей? Быть может. Фукье-Тенвиль был очень загадочным человеком, и, несмотря на многочисленные упоминания в мемуарах той эпохи,

он остается одной из самых малоизвестных фигур своего времени.

Как бы там ни было, но Фукие стал искать вербовщиков среди того сброда, который был призван «преследовать всякого врага народного счастья», и приказал им «задерживать и допрашивать без свидетелей тех, на кого он укажет».

Самым известным и самым подлым из этих вербовщиков был Шабо, и это он собрал первых «пансионеров». Среди них были граф и графиня де Рур, Николай Линге, Вольней*, Талейран**, вдова Петьона... Эти несчастные люди, должно быть, никак не могли понять, почему вместо смерти, которая им «полагалась», им предлагают жизнь. С какой, наверное, радостью они соглашались выплачивать Шабо некое «комиссионное вознаграждение» за спасение! Они ведь не знали, что это — только начало, не знали, насколько само их существование будет зависеть от способности платить, платить и платить!

К сожалению, мы мало знаем о таких, как Шабо; Ленотр писал о них: «Если когда-нибудь будут найдены подробные и искренние мемуары хотя бы одного из них, мы больше узнаем о революции, чем из всех толстых книг, полных высокомерных рассуждений». Ясно одно: больше всего выгоды от этого предприятия получали именно вербовщики — и, конечно, Бельом; Фукие-Тенвиль оставался лишь организатором.

Таким образом и появился один из самых ярких парадоксов той полной противоречий эпохи. В годы,

* Вольней Константин-Франсуа (1757—1820) — французский философ. — *Прим. ред.*

** Талейран-Перигор Шарль-Морис, герцог де (1754—1838) — французский дипломат и политик. — *Прим. ред.*

когда в едином порыве народ поднялся на борьбу с неравенством, в центре Парижа, под почти официальным покровительством самого яростного из революционеров, открыто существовало заведение, где укрывались те из «бывших», у которых хватало денег, чтобы оплачивать дорогостоящий пансион; пока они были в состоянии платить, гильотина им не угрожала.

Невероятно!

Если бы все это не было настолько явно, если бы этим занимались отважные люди, рискующие жизнью ради спасения кого-то из своих современников — подобные вещи тогда тоже происходили, — мы бы нашли предприятие вполне нормальным и, более того, достойным всяческого восхищения, даже если бы организаторы его в результате и получили бы некоторую прибыль. Но пансион Бельома был практически государственным учреждением, и покупка жизни и свободы совершалась здесь без всякого стеснения.

И в то самое время, когда у кармелитов или в Аббатстве десятками убивали ни в чем не повинных людей, ни один человек не возмутился подобным неравенством, столь противоречившим царившим в ту эпоху обычаям.

И только через несколько месяцев жалоба, написанная двумя санкюлотами, из милости отправленными подлечиться в Дом Бельома, заставила власти что-то предпринять. Эти два санкюлота, Лефевр и Дюкассей, и не платили ни гроша ни за питание, ни за крышу над головой, сочли, что кормят их здесь недостаточно обильно, и направили своему руководству жалобу на гражданина Бельома, «чинящего обиды, занимающегося вымогательством и незаконными поборами, требующего непомерные суммы с

богачей и бесчеловечно третирующего бедных санкюотов, которым нечем ему заплатить».

При нормальном положении вещей в ту эпоху, о которой шла речь, власти, получив такую жалобу, должны были бы в первую очередь побеспокоить Фукье-Тенвиля, а Бельома попросту отправить на эшафот. Но последнего не поместили даже в тюрьму!

Сначала он был помещен в бывший Шотландский коллеж, затем провел какое-то время в таком же, как его собственный, сумасшедшем доме, на улице Пикпюс, после чего революционный трибунал приговорил его к шести годам каторжных работ по обвинению «в эксплуатации нищеты народа».

А его жену и не подумали отстранить от управления «Домом», где она занималась бухгалтерским учетом.

Правда, после 9 термидора многие тюрьмы опустели и почти все «пансионеры» вернулись к более или менее нормальному существованию.

Бельому сократили срок наказания, он вернулся через четыре года и вновь встал во главе своего учреждения.

За это время он овдовел и снова женился — в год своего возвращения в Париж — на барышне двадцати двух лет, Агате Шаррио. Самому ему тогда уже исполнился шестьдесят один.

Все пошло по-прежнему, будто и не пронеслась над улицей Шаронн революционная буря. До наших дней дошел рекламный буклет клиники, датированный 1815 годом и наглядно демонстрирующий, до какой степени ничто не изменилось: он мог бы быть составлен и до событий, которые стоили жизни французской монархии, но никак не отрази-

лись на делах столяра, ставшего «владельцем пансионана».

«Господин Бельом, в течение сорока лет владеющий этой клиникой для душевнобольных, уведомляет публику о том, что он произвел все возможные для совершенствования учреждения такого рода улучшения. Дом Бельома — весьма комфортабельное заведение: отдельные корпуса, просторные и изолированные друг от друга, облегчают размещение больных в зависимости от характера и степени их недуга; обширные фруктовые сады и огороды, расположенные в шахматном порядке, позволяют больным заниматься целительными земледельческими работами, а также дают возможность для приятных прогулок. Есть ванные комнаты и оборудование для лечебного душа: в «Доме» имеются прислуги обоих полов». А в конце — приписка, последнее уточнение, сделанное собственной рукой хозяина: «Проводятся мессы с колокольным звоном».

1815 год... Правление Людовика XVIII... И впрямь — будто ничего и не было!

Но, видно, этой истории суждено было еще раз нас удивить. Когда Бельом умер, прожив со второй женой двадцать шесть лет, та осталась в полном неведении насчет того, что происходило на улице Шаронн во времена революции; это показалось бы невозможным, если не вспомнить о положении женщины в ту эпоху.

И все же разве не странно, что никто не явился к вдове с доказательствами в руках, чтобы восхвалить или, наоборот, осудить ее мужа?

Добрая женщина узнала правду лишь из книги Сент-Олера «Семейные портреты»; вышедшей в 1854 году. Автор писал в ней о том, как его мать

жила в неволе в пансионе Бельома. Текст полного достоинства и сдержанного возмущения письма, которое вдова послала тогда Сент-Олеру, дошел до нас, равно как и ответ последнего, — ответ, в котором удивления столько же, сколько и такта, с помощью которого автор книги, очевидно, совершенно успокоил старую даму.

Впрочем, именно Сент-Олеру, которого никак нельзя упрекнуть в снисходительности, мы обязаны многими точными деталями жизни в Доме Бельома: надо сказать, при всех минусах заключения ее можно было назвать довольно приятной.

Пансионеры жили среди людей своего круга, в поместье, парк которого располагал к долгим прогулкам. Была там и библиотека, откуда «тщательно изъяли газеты и труды на политические темы». В гостиной стоял клавесин, позволявший устраивать очень милые концерты, а по вечерам у Бельома, как в прекрасные времена Версаля, играли в ландскнехт.

Там даже ставились комедии — когда в «заключение» попали, благодаря щедротам своих поклонников, мадемуазель Ланж и мадемуазель Мезрей, актрисы из «Театр Франсэ».

Поскольку здесь разрешалось даже принимать гостей, пансион Бельома очень скоро стал очаровательнейшей из резиденций.

Существовал только один запрет: нельзя было выходить за границы территории, но стоит ли говорить, что никто об этом и не помышлял — слишком сильно рисковали те, кто осмелился бы выйти за ворота.

Сведения, касающиеся питания «пансионеров», весьма противоречивы: одни утверждают, что мясо было великолепно, другие — что отвратительно...

Говорили о столе на тридцать человек, накрытом для восьмерых, и о прислуге, воровавшей съестные припасы, которые фермеры привозили своим бывшим хозяевам.

Скорее всего, правы и те и другие — просто они содержались у Бельома в разное время. Успех предприятия быстро превзошел возможности его инициаторов, которым было трудно прокормить двести человек так же, как двадцать.

И это бы еще полбеды, если бы не непомерная цена, которую надо было платить за пансион. Тысяча франков в месяц — полновесных золотых франков — сумма более чем солидная, тем более что в нее, естественно, не входила стоимость «свечей, дров и угля, не говоря уж о цирюльнике, стирке, кофе, сливках и сахаре...» Сюда надо еще прибавить «плату прислуге и комиссионные вербовщикам, а также деньги «за пользование садом». Не стоит забывать, что у большинства проживавших в пансионе было конфисковано имущество, а финансовые ресурсы быстро истощались; перестать же платить — значило для них немедленно покинуть Дом Бельома, откуда выход был один — под нож гильотины.

Но Бельом не хотел, чтобы его пансион приобрел славу предсмертного убежища, поэтому он добился, чтобы приговоренных к смертной казни не везли от его порога прямо на эшафот, а помещали сначала в «промежуточную» тюрьму, где они проводили бы некоторое время до того, как поднимутся на эшафот. Этот человек обладал какой-то странной щепетильностью — правда, только в том, что касалось репутации его предприятия.

Но как только дело доходило до денег, ни о какой щепетильности не было и речи.

Все тот же Сент-Олер пишет об одном разговоре, имевшем место между госпожой дю Шатле и хозяином пансиона:

— Но, месье Бельом, это же неразумно; к моему величайшему сожалению, я не могу удовлетворить ваших требований...

— Ладно уж, толстуха, будь хорошей девочкой, и я сделаю тебе небольшую скидку.

Но даже со скидкой пансион оказался слишком дорог для госпожи дю Шатле: ей и герцогине де Граммон пришлось его покинуть, и несколько дней спустя их обеих казнили.

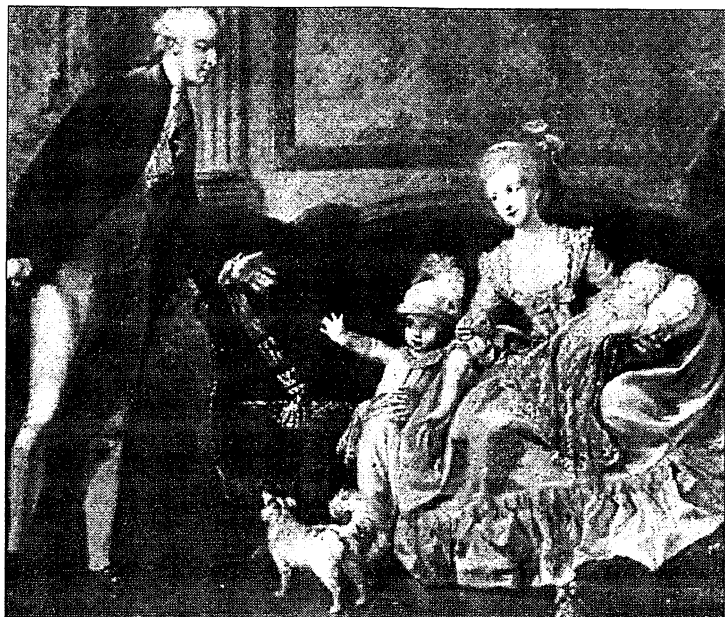
Своим пансионерам, возмущенным его поведением, Бельом — на которого, правда, смерть двух женщин произвела глубокое впечатление, — объяснил в назидание, что «эти дамы пали жертвами неуместной экономии».

Таким был этот дом, когда с разницей в несколько дней здесь появилось двое «новеньких».

В журнале регистрации вновь поступивших читаем: «Гражданка Мари-Аделаида Пентьевр, принятая 28 фруктидора», а на следующей странице — «Гражданин Рузе, депутат, переведен 4 вандемьера из казармы кармелитов».

Кто были эти люди, которых спас от неминуемой смерти переворот 9 термидора и которых последней волной забросило в дом на улице Шаронн?

Мари-Аделаида де Пентьевр была вдовой Филиппа Орлеанского, принявшего во время революции фамилию Эгалите и прославившегося (если это можно так назвать) главным образом тем, что проголосовал за смертную казнь своего кузена, короля Людовика XVI. Наверное, здесь есть смысл напомнить, что исход голосования тогда решило одно-единственное «за» в пользу казни. Кто знает,



*Герцог Шартрский и его семья
(будущий герцог Орлеанский,
называвшийся Филиппом Эгалите).*
Картина Ж.Б. Лепентра. Фото Роже Виолле.

как развернулись бы дальнейшие события, если бы Филипп был немного больше предан семье.

Но трудно было ждать чего-то подобного от этого бесхарактерного, распутного существа, на которое влияла любая женщина, кроме собственной жены, а особенно — мадам де Жанлис: ведь именно она подтолкнула его к принятию новых идей и именно ее он назначил «гувернером» своих детей. Старший из них впоследствии будет править под именем Луи-Филиппа I.

Мари-Аделаида с самоотречением и покорностью, достойными всяческого уважения, терпела выходки мужа, но ужасно страдала, видя, как холодно относятся к ней собственные дети под воздействием грозной «дамы-гувернера».

Однако она оказалась сговорчивой, эта бедная женщина, и приняла даже увлечение революционными идеями юного герцога Шартрского — она, внучка короля, женщина, чей отец, родителями которого были мадам де Монтеспан и Людовик XIV, был признан законным ребенком!

Узнав, что ее сын принимает активное участие в разработке новых общественных теорий, она написала мужу:

«...настраивать детей против установленного порядка вещей, при котором им было суждено жить, означало бы желать им несчастья».

Трудно найти доказательства большего понимания и большей прозорливости.

Однако Филипп вовсе не был ей за это признателен; кажется даже, что его раздражали ее нежность и покорность, потому что он воспринимал их как упрек в свой адрес.

Сцены между ними становились все более и более бурными, и в конце концов молодая женщи-

на, совершенно отчаявшись, уехала к отцу. Правда, перед тем в ней разыгралось чувство собственного достоинства, и она потребовала от Филиппа, чтобы он выбрал наконец между нею и мадам де Жанлис. Услышав его ответ, она и покинула Пале-Рояль.

Пропустим события, которые привели ее в пансион Бельома: увы, они мало чем отличаются от сотен подобных историй. Отметим только, что 4 марта 1793 года умер старый герцог де Пентьевр; возможно, он не смог пережить поступка его зятя, проголосовавшего за смертную казнь короля. Когда же самого Филиппа Эгалите приговорили к смертной казни, он взошел на эшафот «с высоко поднятой головой и бесстрастным взглядом, безразлично слушая злобные выкрики черни, столпившейся у Пале-Рояля».

Смерть того, кого она никогда не переставала чтить как законного супруга, того, кого, наконец, она всегда любила, разбила Мари-Аделаиде сердце...

А затем последовала череда мучений, хорошо знакомая многим людям ее сословия: тюрьмы, ожидание смерти, общий котел в Консьержери и — внезапно — переворот 9 термидора, как раз тогда, когда в одной из камер Люксембургского дворца она готовилась к казни.

На следующий же день в тюрьмы отправились представители народа, чтобы собрать прошения арестованных об освобождении или о переводе в менее вредные для здоровья места.

Вот почему 25 термидора администрация тюрьмы Санте отдала приказ окружить особой заботой «гражданку Пентьевр»; вот почему 28 фруктидора она оказалась в заведении Бельома.

К этому времени жизнь здесь стала менее



Графиня де Жанлис.
Литография из Национальной библиотеки.
Фото Роже Виолле.

приятной. Общество, населявшее «Дом» в последние несколько месяцев, быстро редело: пансионеры торопились покинуть «клинику», едва для этого появлялась малейшая возможность. Со снабжением становилось труднее и труднее, еда становилась все более скудной, и никто не собирался лезть вон из кожи ради нескольких оставшихся клиентов.

Но все это не мешало Мари-Аделаиде чувствовать себя здесь как в раю, — еще бы, ведь ей было с чем сравнивать!

Она будто потихонечку просыпалась после долгого кошмарного сна, и ей казалась совершенно невероятной возможность свободно гулять в саду, пусть даже за его границы выход был заказан.

Смерть Филиппа Орлеанского освободила его жену от тяжкого груза, давившего на нее много лет: теперь она могла думать только о своих детях и надеяться на скорую встречу с ними.

Когда аббат Ламбер пришел ее навестить, ему показалось, что «у нее был здоровый и свежий вид, на который, — добавляет он, — трудно было рассчитывать после стольких несчастий».

Благородный аббат просто не понимал, что принцесса впервые с тех пор, как вышла замуж, смогла позволить себе расслабиться и почувствовать себя счастливой.

Герцог Нивернезский, родственник Мари-Аделаиды, представил ей члена Конвента Рузе, который тоже попал в пансион Бельома благодаря 9 термидора: между ними сразу же вспыхнула симпатия.

Правда, Жак Рузе не входил в число типичных революционеров, большинство из которых были неряшливы, развязны и грубы.

Казалось, этот добропорядочный пятидесятилет-

ний профессор права из Тулузы был бесконечно далек от всякого рода революций; спокойный, рассудительный, он добросовестно исполнял обязанности прокурора-синдика* в Тулузской общине.

Но поскольку он был открыт новым веяниям, как и все интеллигентные люди того времени, его, очевидно, взволновали идеи энциклопедистов. Этот представитель высшей буржуазии стал, насколько ему позволял его характер, фрондером и либералом.

Когда пришла революция, он искренне — как и многие его сограждане — поверил, что наступил золотой век и что в его прекрасной стране установится теперь лучший в мире порядок.

Как талантливого юриста его избрали членом Конвента, и в 1792 году он отбыл из Тулузы в Париж, убежденный в величии дела, которому ему предстоит служить.

Увидев же, к чему все это привело, он буквально обезумел, и последней каплей, окончательно приведшей его в ужас, стал арест короля. Для Рузе революция означала лишь переход от абсолютной монархии к конституционной, как в Англии, и он ни на минуту не допускал возможность устранения монарха, да еще таким способом.

Мужественно отстаивая свои взгляды, смелые до безрассудства, «он показал себя человеком несгибаемым и принципиальным и защищал Людовика XVI искусно и бесстрашно». Однако Рузе прекрасно знал, чем рискует, действуя подобным образом, и готовился к неминуемому.

Его коллега и политический союзник Дюлор рассказывает, что Жак Рузе несколько раз подходил к эшафоту, «чтобы проникнуться чувствами, кото-

* Синдик — член дисциплинарной палаты (адвокатов или нотариусов). — Прим. ред.



Филипп Эгалите (5-й герцог Орлеанский).
Фото Роже Виолле.

рые должны испытывать те, чья голова вот-вот упадет с плеч».

Он вполне осознавал, что не уживется с чудовищным механизмом революции.

Его поведение во время суда над королем, разумеется, привлекло самое пристальное внимание революционного комитета. А когда 31 мая 1793 года он выступил с горячим протестом против осуждения жирондистов, власти решили, что он окончательно перешел границы, и 30 октября Рузе был объявлен вне закона.

В течение полугода ему удавалось еще избегать правосудия, но 18 марта 1794 года по чьему-то доносу его бросили в тюрьму кармелитов, и это означало для него верную смерть.

В то время как каждый сидевший в этой тюрьме прилагал все усилия к тому, чтобы о нем забыли, Рузе — мы имеем доказательства этому в материалах Национального архива — поступал наоборот. Он не переставал беспокоить «своих дорогих коллег» сообщениями о мелких неполадках со здоровьем: то воспаление глаз... то одолел ревматизм... В конце концов он даже написал им, что «неплохо бы ему попринимать ванны в Даксе или в Баньере»!

А если вспомнить, что его корреспондентами были Робеспьер, Бийо, Сен-Жюст, Колло, Кутон*, можно себе представить, с каким удивлением читали они письма человека, которому со дня на день должны были снести голову, с просьбой посоветовать, какую водолечебницу лучше выбрать!

* Робеспьер Максимильен (1758—1794), Бийо-Варенн Жан Никола (1756—1819), Сен-Жюст Луи Антуан (1767—1794), Колло д'Эрбуа Жан Мари (1749—1796), Кутон Жорж Огюст (1755—1794) — деятели Великой Французской революции, члены Комитета общественного спасения. — *Прим. ред.*

И — кто знает — может, именно это безрассудство и спасало его в течение четырех месяцев, вплоть до 9 термидора: разве мог подобный шут представлять собой серьезную опасность?..

Кроме того, все эти «бюллетени о здоровье» в конце концов сослужили ему добрую службу: благодаря им, а также тому, что физическое состояние Рузе действительно было не блестящим, его и перевели в пансион Бельома.

Встреча с Мари-Аделаидой стала для него потрясением: все мемуары той эпохи единодушно восхваляют красоту принцессы, в сорок лет сохранившей чудесные белокурые волосы, персиковый цвет лица, грацию и очаровательную улыбку.

Но больше всего поразили сурового профессора ее нежность и доброта.

Он видел, как она заботится о самых обездоленных узниках, как делит с ними масло и яйца, которые привозят ей обожавшие ее крестьяне... Он был восхищен тем, как она терпима и снисходительна к людям, как глубоко верует, как ласкова и приветлива. И совершенно естественно, что — как пишет Ленотр — «с первых же дней он преклонялся перед нею, преклонялся почтительно и нежно, испытывая столько же сочувствия к несчастьям бедной женщины, сколько и к прелестному философскому спокойствию, с каким она эти несчастья переносила».

Сначала удивленная Мари-Аделаида быстро поняла, как прекрасно любить, а особенно — быть любимой.

Произошло ли между ними что-нибудь серьезное?

На такой вопрос труднее всего ответить: они были людьми легкомысленного и фривольного XVIII века, и хотя сами подобными качествами не отлича-

лись, не могли не испытывать влияния своего времени. Однако все, что нам известно, заставляет думать: пока они были узниками пансиона Бельома, их отношения оставались чисто платоническими. Чувства, которые они испытывали, были слишком новы для них и слишком чудесны, чтобы примешивать к ним физическую страсть или даже просто уступить ей.

Мы почти уверены, что их объединяло такое внимание друг к другу, такая нежность, такое несчетное количество милых пустяков, какие возможны только в период ухаживания. Они довольствовались тем, что просто были счастливы, — и разве этого мало?

Однако условия их жизни не улучшались: зима 1794—1795 годов выдалась особенно морозной, и в пансионе Бельома не хватало дров. Как, впрочем, и везде.

Свечи, хлеб и прочие съестные припасы становились все большей роскошью.

Был бы на месте сам Бельом, дела бы, возможно, шли лучше: у него были связи и он хорошо платил — конечно, деньгами клиентов. Но он был на каторге, а его жена не обладала его организаторскими способностями. К тому же мысли у нее были заняты другим: она проводила много времени с Фэем, помощником эконома этого богоспасаемого заведения, которого некоторые считали ее любовником.

Мари-Аделаида никогда не жаловалась ни на холод, ни на нищету, ни на недоедание; эта женщина, владевшая, возможно, самым большим состоянием во Франции, жила как скромная горожанка с улицы Сантье, но это ей было безразлично.

Вот так в течение девяти месяцев принцесса и член Конвента переживали историю любви, сравни-



*Луиза-Мари-Аделаида де Бурбон,
портрет работы мадам Виже-Лебрен.
Версальский музей. Фото Роже Виолле.*

мую по нежности разве что с пасторалью Флориана*.

В марте 1795 года Рузе освободили.

Он занял свое место в Совете пятисот — не столько ради себя самого, сколько ради возможности защищать интересы своей милой подружки.

Их расставание было мучительным, было пролито немало слез, но вне стен пансиона депутат мог дать Мари-Аделаиде новые доказательства своей любви: благодаря его деятельному участию, удалось добиться снятия секвестра и возвращения наследникам движимого имущества приговоренных.

Лишь в одном он не смог достичь своей цели: хотя он и предложил коллегам отпустить на свободу всех арестованных, принцесса получила возможность выйти из заточения лишь ценой своего изгнания.

Декретом от 18 фруктидора вдове Орлеанца и ее невестке, гражданке Бурбон, была предписана депортация.

Решение было немедленно приведено в исполнение. В ночь на 25 фруктидора Рузе, чтобы смягчить удар, сам пришел сообщить своей возлюбленной о приговоре и присутствовал при том, как она покидала пансион в окружении эскорта жандармов.

Нечего и говорить о том, как страдали эти два существа!

Все могло бы закончиться в тот момент, когда двери пансиона Бельома закрылись за Мари-Аделаидой, когда еще был слышен издали стук колес ее кареты, покидающей Париж...

Но, оказывается, все только начиналось, и первая сцена новой пьесы могла бы выйти из-под пера

* Флориан Жан-Пьер, Клари де (1755—1794) — французский писатель, баснописец. — *Прим. ред.*

Бомарше, если бы его привлек в качестве героя пятидесятилетний юрисконсульт: обыскивая карету, таможенники на испано-французской границе обнаружили под картонками и грудой теплых вещей весьма смущенного мужчину; ему только и оставалось, что представиться: «*Жак Мари Рузе, член Совета пятисот*».

Не в силах вынести разлуку с подругой, он нагнал в Кагоре медленный конвой и спрятался за багажом.

Но поскольку у него не было ни паспорта, ни официального отпуска, ни приказа о командировке, добросовестные таможенники не смогли позволить ему продолжать путешествие и заперли его в крепости Бельгард.

Предоставим слово графу де Дюкосу для рассказа о последовавших событиях: «Проходили часы, герцогиня отчаивалась. Наконец она решила пешком подняться к крепости, где узнала, что военные власти постановили оставить беглеца в своем распоряжении. Несчастливая женщина умоляла, плакала, даже потеряла сознание. И, воспользовавшись этим обмороком, ее — полумертвую — усадили в карету и отдали приказ кортежу пересечь границу».

Рузе оставалось только объясниться со своими коллегами — хотя бы для того, чтобы добиться освобождения, — и он сделал это самым трогательным образом:

«...если акт верности и великодушия, который подвинул его на то, чтобы не покидать высокородную даму, чья безопасность так ему дорога, не может быть совместим с его депутатской деятельностью, они могут рассматривать это послание как прошение об отставке».

Люди в ту эпоху были снисходительны к влюб-

ленным: Совет пятисот перешел к другим делам, и Рузе смог присоединиться к Мари-Аделаиде в ее изгнании, которое началось в Сарриа, близ Барселоны.

Аббат Ламбер, с такой точностью и с такими многочисленными подробностями описавший бедный домик, предоставленный в распоряжение принцессы, ни слова не пишет о месте жительства Рузе.

В одном мы можем быть уверены: Жак Рузе не покинул женщину, которую любил, и стал при ней канцлером.

В обмен она добилась для него при испанском дворе титула графа де Фольмона, креста Мальтийского ордена и ленты через плечо ордена Святого Карла Неаполитанского, и это дало графу Дюкосу повод заметить, что Его в высшей степени Католическое Величество «меньше экономит на выдаче грамот, чем при покупке пары занавесок».

Влюбленные, которые вскоре после этого, безусловно, стали любовниками, переживали счастливые дни.

Но, как нередко бывает в подобных случаях, дети Мари-Аделаиды не желали мириться с внебрачной связью своей матери. Воспитанные в школе мадам де Жанлис, они могли бы иметь больше снисхождения к подобным вещам, но, видимо, память у них оказалась короткой.

Сохранилось письмо Луи-Филиппа, тогда еще герцога Орлеанского, которое он отправил королеве Неаполя. Послание написано в Палермо 24 ноября 1810 года:

«Пусть она (речь идет о матери) еще раз подумает, чем вызваны ее обиды на детей; она увидит, что они сводятся к тому, что ей хотелось бы видеть больше внимания с нашей стороны по отноше-

нию к человеку, для которого мы и так сделали много больше, чем моя мать когда-либо желала для себя самой, и к не менее необоснованному упреку в том, что нами были радушно приняты те люди, кто, не сумев сойтись характерами с вышеупомянутым персонажем, был изгнан из ее дома; в результате они остались вдвоем, от чего пострадали как мы, так и она сама, потому что вы можете не сомневаться, мадам: она очень страдает...»

Бедная Мари-Аделаида! Напрасно она надеялась на спокойную и счастливую жизнь с тем, кто столько лет утешал ее в несчастьях.

Они вернулись во Францию в 1814 году и обосновались в замке д'Иври.

Принцесса и тогда еще ходатайствовала за бывшего члена Конвента:

«10 января 1818-го, через посредство... для короля...» В этом прошении она испрашивала «...разрешения для господина графа де Фольмона носить Константинов орден Святого Георгия Двух Сицилий, поскольку вышеупомянутый господин де Фольмон, которому я стольким обязана, был всегда верен дому Бурбонов и законной власти и весьма достойно вел себя в столь трудных обстоятельствах...»

Несмотря на официальный тон — какое прекрасное свидетельство любви!

Мария-Аделаида хотела остаться верной своему возлюбленному и после смерти. С 1817 года она начинает строить в Дрё, на месте разрушенной во время революции часовни, новую и приказывает установить в склепе два надгробия из белого мрамора, совершенно одинаковых и расположенных совсем близко друг к другу — одно для себя, другое для Рузе.

Жак Рузе скончался 21 марта 1820 года, и герцогиня, которая в разлуке с другом «не думала больше ни о чем, кроме смерти», воссоединилась с ним в вечности 23 июня 1821 года. Они любили друг друга больше трех десятилетий.

А через несколько лет произошел эпизод, от которого не отказался бы и Шекспир. Взойдя на престол, король Луи-Филипп приказал построить большую церковь вокруг маленькой часовни, возведенной его матерью. Он хотел привести в порядок все захоронения склепа, потревоженные революцией, и остался один среди костей, выброшенных из своих могил в 1793 году, чтобы с благоговением разобрать их.

Он не разрешил никому помочь ему в этом священнодействии.

— Эти бедные покойники и так уже достаточно потревожены... Оставьте меня с ними одного!

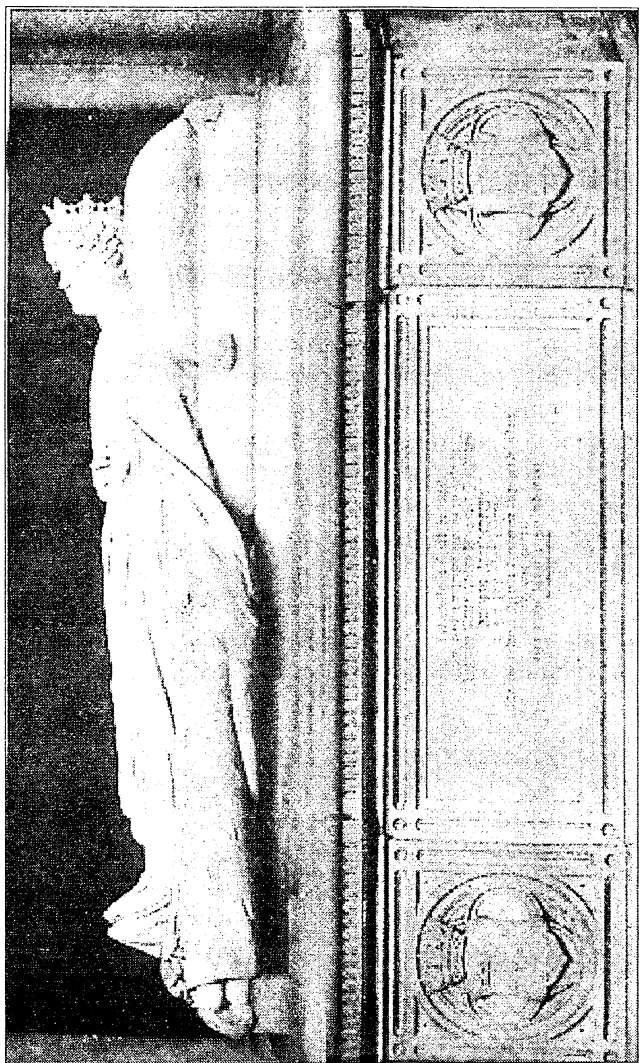
Король «закрылся на добрую часть ночи в пещере с мертвецами и раскладывал кости на расстеленных простынях, и рассматривал их, и измерял, и сортировал при свете лампы...»

И вот в такой обстановке Луи-Филипп решился на посмертную и, надо сказать, смехотворную месть: единственная могила, которая осталась в подземелье, была могила графа де Фольмона.

Более того: мраморное надгробие, под которым покоились останки, было разбито, а на стене повесили простую табличку, на которой — вольно или невольно — было искажено даже имя несчастного усопшего: «Жак-Мари Розей, граф де Фольмон, скончался в Париже 21 марта 1820-го».

Законная семья восторжествовала. Все встало на свои места.

Прежде чем закончить эту главу, нам придется



*Могила Мари-Аделаиды Орлеанской.
Часовня Сен-Луи де Дрё. Фото Роже Виолле.*

ответить на один вопрос, который очень волнует историков: состояли ли в браке Мари-Аделаида де Пентьевр и Жак Рузе?

«Газетт де Франс» от 1 марта 1833 года пишет: «Мать Луи-Филиппа, говорят, была замужем за господином графом де Фоллемоном (!), офицером Его Величества...»; то же самое утверждает и герцогиня де Берри: «Мать короля Луи-Филиппа вышла замуж за какого-то графа де Фоллемона...»

Но все это лишь слухи, потому что...

Потому что существовала госпожа Рузе, о которой нам почти ничего не известно: она упоминается лишь в переписке Рузе времен его заточения у кармелитов и однажды — в письме Мари-Аделаиды.

И действительно, лучше уж ей остаться в тени Истории: ведь в этом любовном романе ей делать нечего.

Забудем о ней — и будем вспоминать во всем его величии и чистоте этот идеальный союз, который, несомненно, был чем-то гораздо большим, чем обычная любовная история.

ЛАМАРТИН И ЖЮЛИ ШАРЛЬ

Набережная Конти, 2

Когда 7 термидора XII года революции, иначе говоря, 24 июля 1804 года, господин Жак-Александр-Сезар Шарль выходил из церкви Сен-Патерн об руку со своей молодой супругой, Жюли Бушо дез Эретт, в собравшейся толпе мелькали улыбки: ей было двадцать лет, а ему пятьдесят восемь, а подобная разница в возрасте всегда дает пищу шуткам самого дурного вкуса.

Однако вслух смеяться никто не осмеливался: профессор Шарль был важным господином, личностью известной, если не сказать — знаменитой. Это он вместе с братьями Робер подготовил к запуску первый аэростат, заполненный водородным газом. А 1 декабря 1783 года он сам поднялся в воздух с площадки в саду Тюильри, испытывая «аэростатическую машину», о которой и спустя двадцать лет вспоминали с восхищением.

Благодаря этому испытанию господин Шарль был избран академиком и получил апартаменты в Лувре. Именно туда явился как-то некий Марат, «полуврач, полухимик», чтобы побеседовать с ним о своем открытии — или «о том, что претендует на звание открытия». Надо думать, этот тип был довольно надоедливый, потому что Шарлю, чтобы избавиться

от него, пришлось буквально вздуть его; говорят даже, что он отшлепал его по заднице, как ребенка.

Совершенно ясно, что Марат этого не забыл, и после 10 августа 1792 года* Шарль рисковал потерять одновременно квартиру, свободу и жизнь.

Но его популярность среди парижан была настолько велика, что те, кто пришел арестовывать профессора, в конце концов оставили его проводить свои эксперименты.

Была у него и еще одна причина для опасений: Шарль прятал у себя не присягнувшего Церковному положению 1790 года священника — своего родного брата Жака — и если бы это было обнаружено, никакая известность их бы не спасла: оба погибли бы на эшафоте.

Это был очень умный и очень добрый человек, и многие утверждают, что он не только заменил Жюли отца, но был для нее чем-то большим; до нас дошло его собственное письмо, где есть такие строки: *«Жюли заслуживает гораздо большего, чем те труды, которых мне стоит обладание ею»*.

Даже не придавая слову «обладание» узкого и чересчур определенного смысла, надо признать, что это не похоже на речи платонически влюбленного мужчины; впрочем, в брачном контракте супругов Шарль есть упоминание об охране интересов детей, что доказывает: он рассчитывал этих детей иметь... Да и его возраст — пятьдесят восемь лет — был не настолько почтенным, чтобы господин Шарль вовсе не был способен исполнять супружеские обязанности.

Забегая вперед, уточним, что гипотеза о фиктивном браке была выдвинута много позже Ламарти-

* 10.08.1792 г. во Франции произошло восстание, свергнувшее монархию. — Прим. ред.

ном, которому она была чрезвычайно выгодна, так как оправдывала его любовные отношения с Жюли.

Нам бы хотелось иметь возможность точно представить себе лицо, улыбку, походку той, которая вот уже больше ста лет известна нам под именем Эльвиры.

К несчастью, портрет, который в течение долгих лет выдавался за изображение Жюли — мы все же приводим его здесь, — оказался недостоверным, а крошечный карандашный рисунок, сделанный с натуры, дает мало представления об очаровании молодой женщины.

Только по письмам, рассказам, мемуарам мы можем восстановить ее облик — облик, который, впрочем, будет меняться в течение тринадцати лет, здесь нами описываемых, потому что Жюли была нездорова, и болезнь со временем накладывала на ее черты свой отпечаток.

Когда Шарль впервые увидел эту девушку, «ее бледное и болезненное лицо породило в нем чувство, которое сквозило потом во всех письмах, где он говорил о жене: смесь любви к идеальной мечте с жалостью и нежностью к страдающему существу».

Своим томным видом Жюли была обязана также своему происхождению: она была креолкой по матери — дочери и внучке плантаторов Сан-Доминго, которая в 1772 году вышла замуж за представителя известной нантской фамилии.

Дела в семье шли неважно — возможно, по вине мужа, который был известен как человек не слишком способный, зато слишком расточительный. Супруги расстались, и все три дочери — Мари-Шанталь, Жанна-Мари и Жюли — остались с матерью. После ее смерти в 1787 году сироток взяла на воспитание тетка, Луиза Жюльенн, а



*Шарль, французский физик (1746—1823).
Фото Роже Виолле.*

опекуном стал брат отца, богатый предприниматель, живший на французских землях в Сан-Доминго.

Напомним в скобках, что в то время торговля между Нантом и Антильскими островами шла весьма бойко, а потому переезд через Атлантический океан в ту или в другую сторону был делом если не заурядным, то, по крайней мере, достаточно привычным.

Почему-то считается, что в ту пору люди мало путешествовали. На самом же деле — учитывая, конечно, техническое несовершенство транспортных средств, — можно сказать, что в то время расстояния преодолевались намного легче, чем сейчас, «в эпоху прогресса». Скажите, кому сегодня придет в голову отбеливать свое белье в Гваделупе, где жаркое солнце должно было придать ему особую, ослепительную белизну? А ведь именно так поступали в конце XVIII века бордоские модницы, которые, по примеру Марии-Антуанетты, носили тогда платья из тончайшего белоснежного батиста — линона!

Но вернемся к Жюли перед ее замужеством.

Дядя, от которого ждали наследства, умер, оставив столько же долгов, сколько и имущества, что свело к нулю всякие надежды на лучшее будущее.

Для молодой девушки и ее тетки это означало полную нищету. Мари-Шанталь к тому времени успела выйти замуж, а Жанна-Мари, кажется, умерла в юности, поэтому больше мы о ней говорить не будем.

В бедной квартирке под крышей дома Куаньи, в лучшие времена называвшегося особняком, где поселились две женщины, было всего четыре комнаты, но бедняжки выбивались из сил, чтобы наскрести немного денег в уплату за наем.



*Жюли Бушо дез Эретт,
которую Ламартин обессмертил под именем Эльвиры.
С миниатюры Элуи.
Национальная библиотека. Фото Роже Виолле.*

К счастью, тут подоспел некто Берже, дядя Жюли со стороны покойной матери, который поддерживал их материально. Позже Шарль воздаст ему должное: «Без него, без его беспредельной доброты, без его любезной помощи это бедное дитя давно бы покинуло наш мир».

Благодаря Берже Жюли и ее тетка в 1800 году расстались с домом Куаньи, но, очевидно именно в этом вредном для здоровья месте молодая девушка успела подхватить болезнь, которая так рано свела ее в могилу.

И еще одно обстоятельство сильно повлияло на Жюли во время ее пребывания в доме Куаньи: здесь она все время слышала разговоры о владениях в Сан-Доминго, где дядя Берже провел двадцать пять лет своей жизни. В результате мало-помалу ей начало казаться, будто она и сама там жила, и благодаря силе воображения она стала больше креолкой, чем была по крови.

Наконец она встретила господина Шарля — возможно, тоже заботами ее дяди Берже, который, похоже, вошел в сговор со старшим братом ученого, чтобы устроить этот союз. Мотивы? Они люди одного круга, Шарль — человек добрый... А Жюли так нуждалась в ком-то, кто позаботился бы о ней...

Не нужно думать, что брак этот был для нее самопожертвованием. Может быть, дело в том, что отец так рано оставил их с сестрами и она испытывала потребность в отеческой заботе...

К тому времени Жюли уже была нездорова: с ней случались конвульсии, обмороки, она плохо ела... Письма ее мужа друзьям полны медицинских подробностей, касавшихся его жены, — похоже, что ее здоровье было предметом его постоянной заботы. Чувствуется, что он глубоко любил ее...

Чтобы она не тосковала, он широко распахнул двери своей гостиной, и милость и грация Жюли помогли ей снискать успех у тех, кто там собирался... Гости, бывавшие в их доме, не были молодыми людьми ее возраста — нет, это были такие же ученые, как ее муж, историки... Все они были весьма предупредительны по отношению к ней, старались во всем ей угодить... И все они были немножко в нее влюблены.

Ходили слухи о каком-то романе с Фонтаном... с Лалли Толендалем... Но, возможно, все это были лишь невинные ухаживания, на которые только и были способны эти «обломки» старого режима...

Конечно, Доктор Бабонне, который и после смерти Жюли оставался ее поклонником, примерно в 1815 году так описывает молодую женщину:

«Наивная и лукавая, кокетливая, мастерица плести интриги, она имела достаточно своеобразное представление о супружеской верности; эта юная, грациозная, жизнерадостная, обожающая помогать людям женщина не знала иной формы дружбы, кроме дружбы-влюбленности...»

Но судя по тому, что мы узнаем о Жюли позже, все это кажется преувеличением, и нам думается, что д'Аламбер* — еще до ее рождения! — нашел для нее более точные слова: *«Это трогательное желание нравиться, которое выдает потребность быть любимой».*

Излюбленным занятием Жюли была помощь новичкам. Она использовала свои знакомства, выступала посредницей, писала рекомендательные письма... Может быть, именно благодаря этой ее деятельнос-

* Д'Аламбер Жан, Ле Рон де (1717—1783) — французский математик и энциклопедист. — Прим. ред.

ти Бабонне и сказал о ней: «*мастерица плести интриги*»?..

Жизнь ее шла спокойно и счастливо, в окружении умных и приятных ей людей. Жюли не чувствовала себя одинокой; малейшие ее недомогания немедленно излечивались. Правда, это вовсе не означает, что ей стало лучше, — наоборот...

В 1814 году чета Шарль обосновалась в здании Института*, в доме № 2 по набережной Конти. Гостиная молодой женщины находилась на антресолях левого крыла, и солнечный свет проникал туда через круглые слуховые окна.

Ей очень хотелось доказать себе самой, что у нее все в порядке, и она решила предпринять путешествие в Швейцарию, куда стремилась долгие годы. Еще в 1812 году ее муж писал: «*Жюли здесь, но мечтает о Швейцарии...*»

Мечта осуществилась в 1816-м.

Муж, страдавший каменной болезнью, не решился сопровождать ее: он боялся, что тряска в почтовой карете, спровоцировав колики, сделает дорогу мучительной.

Вот почему Жюли отправилась в Швейцарию одна, только со своей горничной Мари. Сначала она остановилась в Женеве у друзей по фамилии Пикте, где провела лето, затем перебралась в Экс-ле-Бэн на воды. Странно, что она выбрала именно этот курорт: у молодой женщины была чахотка, при туберкулезе же эти воды противопоказаны. Хотя, с другой стороны, бедняжка страдала еще и нервным расстройством, а в таких случаях целебный воздух местности, расположенной на берегу озера, способен оказать весьма благотворное действие.

* Институт Франции — основное официальное научное учреждение Франции, объединяющее пять Академий. — Прим. ред.



Ламартин в двадцать лет.

Рисунок Монбара.

Национальная библиотека. Фото Роже Виолле.

Однако Жюли приняла меры предосторожности — купила перед поездкой шерстяное платье за 24 франка, шаль за 15 франков и «пастилки от кашля», которые стоили 10 франков.

Одной из причин, по которым она выбрала Экс-ле-Бэн, была надежда попасть в приятное общество: говорили, что там собирается весь «бомонд». Но прибыв на место 18 сентября, Жюли была разочарована: курортники в основном уже разъехались, отели закрылись, и молодой женщине пришлось остановиться в пансионате доктора Перрье.

Это не была шикарная гостиница, но вид из окон открывался прекрасный, и Жюли могла наслаждаться им, не прерываясь даже на время трапезы, потому что заказывала еду в номер.

Но легко себе представить, как скучала в одиночестве молодая женщина, привыкшая ежедневно принимать в своем доме компанию умных людей. Неудивительно, что она обратила внимание на молодого человека, который появился в пансионе Перрье в первых числах октября.

Он занял комнату по соседству с Жюли. Из своего окна она видела, как он стоит, облокотившись на перила балкона. Он был красив, элегантен, строен, белокур и кудряв, а его черные бархатные глаза смотрели чуть меланхолично.

От своей горничной Жюли узнала, как его зовут: Альфонс де Ламартин.

Имя ей ничего не сказало, поэтому она захотела узнать о нем побольше и скоро выяснила, что молодой человек живет в Маконе, а в Экс приехал лечить печень. Похоже, что в этой водолечебнице лечили тогда от всех возможных недугов...

На самом деле Ламартин страдал не столько от печени, сколько от тоски:

— Не знаю, что делать, куда податься... Мне плохо... Я болен... Я скучаю...

Сейчас мы бы сказали, что он просто чувствовал себя «не в своей тарелке»: жизнь в Маконе мало подходила для человека его возраста, который к тому же был крепким, здоровым бургундцем, полным жизненных сил, неутомимым ходяком и неустрашимым наездником. Все его недомогания на самом деле объяснялись пресыщением той стариковской жизнью, которую обстоятельства вынуждали его вести. В другое время, в другую эпоху он стал бы офицером, но его семья ненавидела «Узурпатора»*, поэтому вместо того, чтобы пойти на военную службу, он томился в провинции, поддерживая отношения лишь со знакомыми родителей да с друзьями по коллежу, самыми близкими из которых были Винье и Вирьё.

Когда ему окончательно осточертевали добропорядочные маконцы, он пытался путешествовать, но с деньгами у Ламартинов, пожертвовавших своим положением ради убеждений, всегда было трудно, и это заставляло Альфонса вскоре возвращаться в родные пенаты, чтобы вновь вращаться в обществе самодовольных провинциальных дворянчиков.

Иногда он искал утешения в любви, но без особого успеха. Сначала, когда ему было восемнадцать лет, он довольствовался «нахалками, бысстыдницами, кокетками, невеждами, дурочками, злючками, сплетницами, безмозглыми дурнушками» — так он охарактеризует впоследствии своих тогдашних мимолетных подружек. Позже он познает и другие романы, более лестные для него, которыми, похоже, будет очень дорожить.

* «Узурпатором» называли Наполеона I Бонапарта. — *Прим. ред.*

Но теперь, по прошествии стольких лет, спросим себя: а не влюблялся ли он тогда больше в самую любовь, чем в конкретную женщину?

Как все люди его поколения, он находился под влиянием зарождающегося романтизма и приукрашивал свои похождения, чтобы они вдохновляли его на стихи, придававшие иной смысл минутам любви, которые без этого не казались бы столь прекрасными. Разве не писал он в 1812 году Вирьё, своему alter ego:

«Я ищу любовницу, чтобы спать с ней (sic!), потому что у меня нет другого средства успокоить нервы и утихомирить фантазию; но, впрочем, я не хотел бы к ней привязываться, да, в общем-то, и не смог бы. Я скучаю невообразимо — до такой степени, что чувствую себя больным...»

Ну вот мы и вернулись к скуке...

На самом деле никто из его друзей не обманывался на счет его якобы слабого здоровья; скончался он в весьма преклонном возрасте (ему было восемьдесят лет), и это лучше всего доказывает, что все его недомогания были исключительно воображаемыми.

Но в тот день, когда Жюли Шарль впервые встретилась с Альфонсом де Ламартином, ему не исполнилось еще и двадцати шести — и он страдал печенью...

«11 октября 1816. 30 сентября Альфонс уехал в Экс — немного подлечиться: у него пошаливает печень, и заодно навестить своего близкого друга, который живет там недалеко. Это господин Винье, прекрасный молодой человек, который одаривает его неоценимыми знаками дружеского внимания, отличается похвальным благочестием и очень умен. Так что, я надеюсь, это путешествие окажется весьма полезным как для души, так и для тела моего сына».

Милая мадам де Ламартин!.. Всегда такая прозорливая, она порой теряла всякую проницательность, когда дело касалось ее сына...

Итак, перед нами молодая женщина, не знающая, как убить время, и молодой человек, умирающий от скуки. Совершенно естественно, что они заинтересовались друг другом.

Случайно встречаясь на дорожках сада, они обмениваются парой слов, беседуют о литературе и о том, «какая погода в нынешнем сезоне», прогуливаются вместе...

Ламартин тоже кое-что разузнал о своей соседке. Он выяснил, что она — жена академика и что у нее большие связи среди столичных высокопоставленных лиц. Для такого провинциала, как он, дама, имеющая салон в Париже, была весьма важной персоной, расположением которой следовало бы заручиться.

Мы понимаем, что рьяные поклонники Ламартина обвинят нас в том, что мы извращаем смысл великой страсти, примешивая к ней корыстные мотивы. Нам остается только извиниться и заверить их в том, что мы не выдвинули бы эту гипотезу, если бы не имели на то оснований — как в этой идиллической истории, так и во всей жизни их кумира.

Некоторые же из его почитателей, охваченные довольно распространенным стремлением возвысить своего героя, отказывая ему в праве на любые человеческие проявления, утверждают даже, что «приключение в Эксе» было чисто платоническим.

Однако до нас дошел дорожный блокнот Жюли, где записи, касающиеся путешествия, чередуются с записями расходов, и там, между упоминанием о

прогулке и отметкой об оплате пансиона, есть карандашная запись, сделанная рукой Ламартина:

«Они встретились... и полюбили друг друга...»

Эту страницу отмечает засушенный цветочек — поблекший, трогательный...

И сразу же за этим процитируем письмо от 12 октября, адресованное Луи де Винье:

«Со времени твоего последнего письма, где ты обещаешь скоро приехать, со мной произошло весьма радостное событие: позавчера я спас тонувшую в озере молодую женщину, и она заполняет теперь все мое существование...»

Уточним: не прошло еще и недели, как Ламартин прибыл в Экс-ле-Бэн.

Что же касается пресловутого спасения, послужившего затем прототипом кораблекрушений в «Рафаэле»*, попробуем установить подлинные размеры катастрофы. Нет сомнений в том, что лодка, в которой находилась Жюли, перевернулась и что Ламартин, нарочно или случайно оказавшийся поблизости, бросился в воду — спасти прекрасную «утопленницу». Но наверняка то же самое сделали многие из присутствовавших при несчастном случае, и уж гребцы-то в первую очередь!

Вот чем он действительно оказал ей услугу, учитывая состояние ее здоровья, — так это оказанием немедленной помощи, позволившей избежать осложнений, которые неминуемо должны были последовать за купанием в это время года.

Естественно, что на следующий день Жюли согласилась погулять под руку со своим спасителем и — не без влияния лунного света — даже позволила ему некоторые вольности:

* «Рафаэль» — книга А. де Ламартина, написанная в 1849г. — Прим. ред.

«...первый вечер, когда мы бродили при свете луны. Первые признания... Первые поцелуи...»

Если до этого дошло всего через несколько дней после знакомства, ясно, что их отношения очень скоро зашли куда дальше: Альфонс не привык иметь дело с недотрогами, и это придавало ему уверенности в подобных случаях, как и во многих других, а Жюли, чувственная, как все креолки и все чахоточные, наверняка счастлива была оказаться в столь крепких объятиях — ведь в Париже ее окружали одни только зрелые мужчины, чтобы не сказать — старцы...

Ламартин не был эгоистом в свалившемся на него счастье, поскольку свое письмо к Винье заканчивает так:

«Приезжай же поскорее познакомиться с ней и разделить наше счастье. Я уже рассказал ей о тебе. Мы тебя ждем...»

Надо быть слепым, чтобы не увидеть в этих строчках признания свершившегося факта!

Когда Винье приехал, они подолгу гуляли втроем, и Жюли пела романсы, а оба молодых человека вслух читали своих любимых авторов. Жюли снабжала их первоисточниками: в той же записной книжке можно найти строку, весьма многозначительную при всей ее кажущейся невинности:

«Книги — 19 франков».

Поведение де Винье, по меньшей мере, удивляет.

Мы знаем, до какой степени он был высоконравственным и благоразумным, и все же он не находит ничего особенного в этом романе, который, если называть вещи своими именами, являлся самым настоящим адюльтером.

Гипотеза о том, что он ничего не знал, не



Кораблекрушение («Рафаэль»).
Работа Тони Жоанно. Фото Роже Виолле.

выдерживает критики, прежде всего потому, что он далеко не глуп, а кроме того, в таком случае он был бы единственным, кто не заметил связи, о которой судачил весь пансион Перрье: молодые люди слишком недавно стали любовниками и слишком хорошо знали, как мало у них времени впереди, чтобы таиться и скрывать.

К тому же письма Альфонса к Винье были слишком откровенны, чтобы у того сохранились какие бы то ни было иллюзии.

Итак, что мог предпринять этот человек, называющий себя «христианином до мозга костей» и разрывающийся между своими представлениями о нравственности и дружескими чувствами к Ламартину?

Ведь трудно представить себе более преданного друга, чем Луи де Винье. Он никогда не изменял их детскому братству, зародившемуся в коллеже де Белле: еще зимой 1815—1816 годов, когда будущий поэт, прибыв в поисках фортуны в Париж, проиграл крупную сумму в 16 тысяч франков, именно Винье выплатил его долг, уладив дело. Потом он писал Альфонсу:

«Я скорее велю заложить наши башенки в Серволексе, чем увижу, как ты опять занимаешь деньги под процент у ростовщиков».

Что же до творений своего Ламартина, то он был одним из первых их поклонников.

Следовательно, ему надо было распутать этот клубок так, чтобы никого не обидеть. Кроме того, ему было известно, что, ополчившись на любовь, рискуешь лишь сильнее разжечь ее. Вот почему он решил зайти с другой стороны.

Близость между молодыми людьми позволила Винье обратить внимание своего друга на угрожаю-

щую ему опасность заразиться: у Жюли был туберкулез, и она этого не скрывала.

Ламартин был и остался навсегда выдающимся эгоистом. Он, конечно, готов был умереть от любви к своей «Эльвире» — от любви, но отнюдь не от чахотки.

И у него тут же родилась парадоксальная идея, которой он поспешил поделиться с молодой женщиной: с сегодняшнего дня их отношения возвысятся до уровня отношений матери и сына. Жюли охотно принимала любые предложения того, кого любила, — а кроме того, не надо забывать, что вся эта история происходила между эпохой Жан-Жака Руссо и временами романтизма (тогда он только-только зарождался) и что в ту пору в моде были некоторые чувства, абсолютно непонятные современному человеку.

Таким образом Альфонс смог сохранить привязанность, которая, как мы надеемся, была ему дорога, но еще более — полезна, потому что связи господина Шарля — Жюли этого не скрывала — могли бы открыть перед ним многие двери. Что же до его здоровья — ему ничто не угрожало, а значит, все вновь обернулось к лучшему в этом лучшем из миров.

Таков был итог их курортного романа: пять дней знакомства, пять дней вдвоем, десять дней в обществе Винье — и всякая плотская связь была окончательно оборвана. Это было совсем не похоже на Альфонса; это было не то, чего желала Жюли; но это произошло. Несколько позже Ламартин напишет:

«Перестав быть любовниками, мы стали только пылкими друзьями: сыном и матерью. И мы хотели бы сохранить эти отношения...»

Таким образом, становится абсолютно понятным поведение Винье, который мог оставаться третьим в этом содружестве, не испытывая никаких угрызений совести. Хорошо зная Альфонса, он нашел аргумент, помешавший его греховной связи продолжаться.

21 октября де Винье возвращается в Шамбери, Альфонсу в этот день исполняется двадцать шесть лет...

Но Луи увез с собой нечто вроде контракта: накануне вечером в комнате Жюли они втроем переписали отрывок из «Мучеников» Шатобриана. Каждому досталось по фразе, и все трое подписались, причем последняя буква имени Альфонса сливалась с первой буквой имени Жюли.

Текст был подходящим к случаю — это было послание Огюстена к Эдоре: «Не знаю, встретимся ли мы еще когда-нибудь...» и т. д. и т. п. Напомним, что действующие лица этой сцены — друг, который вот-вот уедет, и любовники, которые должны расстаться: здесь вымысел соединяется с правдой...

В течение последующих шести дней Жюли и Альфонс оставались одни, но очарование их романа было уже в значительной степени разрушено. Им приходилось упиваться словами, уже не опьяняясь любовью. Ламартин умел говорить — и говорить хорошо; он посвящал прекрасные стихи той, которая, может быть, предпочла бы поэзии нечто более реальное:

*О ты, что явилась мне среди земной пустыни,
Обитательница небес, мимолетное виденье в этих краях!
О ты, которая заставила сверкать в глубокой ночи
Луч любви в моих глазах...*

И вот наступил день отъезда. Жюли отправила горничную в Париж дилижансом, чтобы хоть часть пути побыть вдвоем с Альфонсом.

Проезжая через Шамбери, карета остановилась, чтобы захватить Винье, — словно они хотели продемонстрировать ему, что ведут себя примерно и могут даже попроситься при свидетелях.

До Макона они доехали вместе, а там Жюли покинула двух друзей, подарив Альфонсу на прощание маленькую записную книжечку с золотым обрезом, переплетенную в красную кожу. В эту книжечку Ламартин должен был заносить все, что с ним произойдет важного, все мысли, которые станут приходить ему в голову до тех пор, пока они не встретятся снова.

Ибо между ними было твердо решено: Ламартин должен приехать в Париж. Жюли хотела представить его важным и влиятельным людям, которые собирались в ее салоне, чтобы они расчистили юному поэту дорогу к славе.

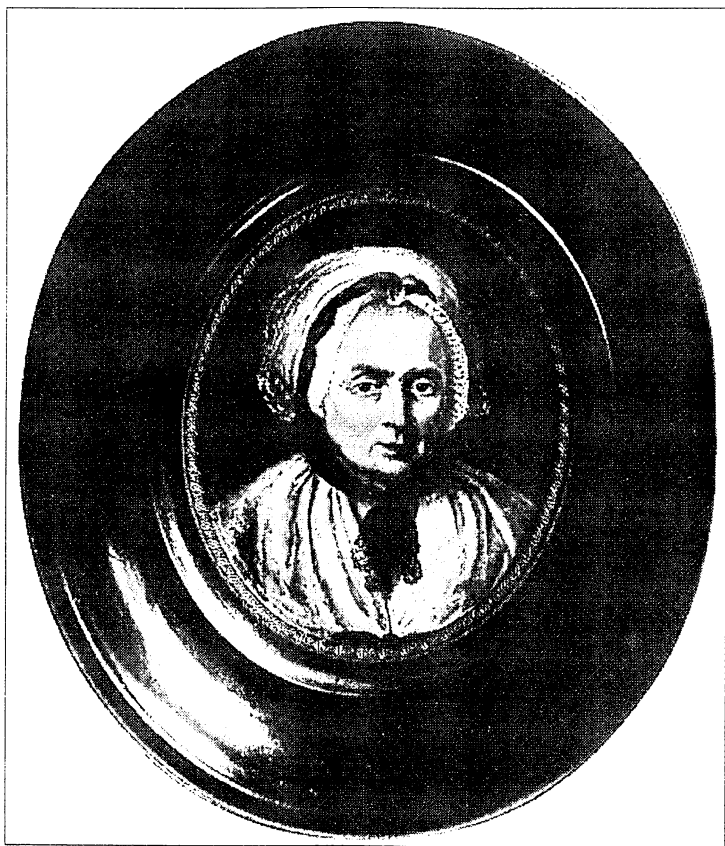
Последний взмах рукой из открытого окна, последний воздушный поцелуй, посланный вслед удаляющемуся силуэту...

Приключение в Экс-ле-Бэн закончилось: госпожа Шарль возвращалась домой.

Ее муж был счастлив, что она вернулась, и радовался ее цветущему виду: порой мужу нелегко догадаться о причинах внезапной поправки здоровья молодой жены.

А она — она заботливо спрятала вместе с дорогими ее сердцу сувенирами маленький блокнотик, куда заносила расходы: «каникулы» обошлись ей в 2 484 франка и 30 сантимов.

Истины ради надо сказать, что часть этой суммы была потрачена на Альфонса. Но разве это не могло



*Госпожа де Ламартин.
Фото Роже Виолле.*

быть частью любовных отношений между матерью и сыном?

Если Шарль радовался успеху лечения жены, то госпожа де Ламартин, напротив, нашла своего сына «очень худым и очень печальным», но не могла понять причины. Сразу же уточним: она так никогда ничего и не узнала о недолгой идиллии в пансионе Перрье.

На набережной Конти жизнь потекла по-прежнему. Супруги много принимали, потому что Шарль был домоседом, а Жюли все слабела. Небольшая компания завсегдатаев, которая сформировалась к тому времени, частенько собиралась у камина в гостиной на антресолях.

Все это не означает, что роман Жюли и Альфонса закончился: любовники писали друг другу длинные письма, причем довольно часто: *«Я получаю от нее по восемь страниц в день и сам пишу столько же...»*

О том, что было в этих письмах, жгучих, как первое пламя страсти, мы знаем не от Жюли и не от близких ей людей. Кажется, у молодой женщины не было ни друга, ни наперсницы, кому она могла бы поведать свою тщательно хранимую тайну; только в последние минуты жизни она открылась своему врачу, доктору Алену, и своему духовнику, аббату де Керавенану.

Это от Ламартина мы узнаем содержание их посланий.

Когда Вирё вернулся из Бразилии, Альфонс, само собой разумеется, рассказал ему обо всем, что произошло за время его отсутствия, — и с каким пылом, с каким жаром:

— А потом, а потом, знаешь, меня охватил приступ страсти, самой неистовой, какою только

когда-либо вмещало человеческое сердце; мы оба буквально умирали от любви и от отчаяния...

В Маконе Ламартин снова столкнулся с нехваткой денег, и у него опять заболела печень. Он вновь оказался в провинциальной среде, в которой просто задыхался. С тем большей лихорадочностью отдался он воспоминаниям о приключении, которое теперь ему хотелось лишить каких бы то ни было плотских вожделений, которое теперь преобразилось у него в чисто романтическую страсть.

Вскоре ему перестало хватать писем. Он страстно желал снова встретиться с Жюли, которую на расстоянии идеализировал. К несчастью, у него не было денег на поездку в Париж: он израсходовал в Эксе свои ежеквартальные 3 000 экию и теперь вынужден был ждать следующих поступлений.

Винье, который знал как о пламенной переписке, так и о нетерпении, мучившем его друга, предложил решение проблемы. Вирьё в это время был в Париже, пусть он пойдет к мадам Шарль, благо у них есть общие знакомые, и побеседует с ней от имени Ламартина. Уговаривая Вирьё отправиться к Жюли, Альфонс писал ему:

«У нее немало выдающихся знакомых, и она может быть тебе полезной в твоей новой карьере...»

26 декабря Вирьё наконец познакомился с той, о ком столько слышал, и послал Альфонсу отчет:

«Она рождена, чтобы возбуждать участие... Не стану говорить, что ты любим, — об этом мне ничего не удалось узнать».

Он сообщает также о здоровье молодой женщины, которая показалась ему «слабой и с очень расстроенными нервами». А еще он рассказал, что подарил от имени друга томик его «Элегий» — книжечку, изданную весьма ограниченным тиражом,

в которой поэт с нежностью говорил о некоей Эльвире (под этим именем скрывалась героиня одного из его любовных романов, возможно, уже давно забытого), и Жюли охватила запоздалая ревность к прошлому, о чем она и написала автору стихов вечером 1 января:

«Как можно уснуть, ощущая в этих стихах вашу возвышенную душу, изливающуюся со всей чувствительностью, которая ей присуща, — благородную, как талант, трогательную, как истинная любовь? О мой Альфонс, кто в силах вернуть вам Эльвиру? Сможете ли вы когда-нибудь еще любить так, как любили ее?.. Разве кто-нибудь в состоянии заслужить такую любовь?.. Эта женщина-ангел внушает мне из своей могилы благоговейный страх. Я вижу ее такой, какой вы ее изобразили, и спрашиваю себя: кто я такая, чтобы претендовать на место, которое она занимала в вашем сердце? Альфонс, надо хранить там ее образ, а я останусь навсегда вашей матерью, — вы назвали меня так, когда я думала, что заслуживаю более нежного имени. Но с тех пор как я узнала, кем была для вас Эльвира, я поняла: у вас были основания решиться на то, чтобы быть для меня лишь сыном. Я начинаю даже верить, что вы и не должны быть никем иным, и если я плачу, то только потому, что не появилась на вашем пути в то время, когда вы могли бы любить меня без угрызений совести, и прежде, чем ваше сердце было отдано другой...»

Мы решили полностью привести этот достаточно длинный отрывок потому, что, как нам кажется, он очень верно характеризует поведение обоих наших героев. Жюли — это сама открытость, честность, некоторая прямолинейность и максимализм; в ее

словах так и сквозит плохо скрытое сожаление о том, что ей суждено быть Альфонсу лишь «матерью». С его же стороны ответом ей был чистейший эгоцентризм, благодаря которому он и не задумывается о том, какое впечатление на любящую его женщину произведут стихи, посвященные другой; он считает подобную ситуацию нормальной... Для него главное, чтобы эти стихи ей понравились, чтобы она похвалила их... Разумеется, она не преминула это сделать.

К счастью, ей не суждено было узнать, что однажды, после ее смерти, он и ее назовет Эльвирой, впрочем, это же имя он дал и собственной жене в посвященных ей стихах.

Один из историографов Ламартина, Эме Лафон, написал довольно жестоко, что поэт называл Эльвирами женщин, которых любил, подобно тому «как некоторые хозяйки дома называют любую служанку Мари...»

К сожалению, мы располагаем лишь четырьмя письмами из их обширной переписки, продолжавшейся многие месяцы, но и эти имеющиеся у нас строки позволяют понять характер писем Жюли. Она писала обо всем: о гостях, которых принимала, о том, куда ходила сама, приводила высказывания своих знакомых о политике, об искусстве, о литературе... словно новобрачная, разлученная с обожаемым мужем, она более всего была озабочена тем, чтобы ненароком не утаить от любимого ни малейшего своего поступка, ни мимолетного помысла...

А Ламартин на все это отвечает упреками, винит ее в холодности, в небрежности — хотя, как мы помним, он сам первый потребовал свести их отношения к чисто платоническим! Кажется, ему просто нравилось играть чувствами Жюли, словно утверж-

дая свою власть над нею. Он дошел даже до того, что повторял с удивительным постоянством: чем больше она к нему охладает, тем сильнее он станет ее любить... Жюли сначала восставала против этого — иначе не назовешь! — садизма, потом смирилась и выразила свою покорность в восхитительной фразе: *«Пусть он располагает мною так, как ему будет угодно...»*

Неважное состояние здоровья молодой женщины еще больше обостряло ее чувствительность, и она тяжело воспринимала грубости, которыми — вольно или невольно — осыпал ее в письмах возлюбленный. К счастью, рядом был Вирьё — он успокаивал ее, служил между ними посредником и следил за тем, чтобы Ламартин ранил ее не слишком сильно.

Однако Ламартин у себя в Маконе буквально бил копытом от нетерпения.

«Сообщи мне в первом же письме, — наказывал он Вирьё, — что ты приглашаешь меня приехать, что сумеешь, быть может, оказаться мне полезным, поможешь мне пристроиться к какую-нибудь хорошую супрефектуру: это, может быть, подвигнет моего отца дать мне денег на поездку...»

Хитрость удалась, и 4 января он двинулся в путь. Госпожа де Ламартин записала:

«Альфонс уехал в Париж в тот самый день, когда ко мне приехала его сестра...»

Прежде чем отбыть из Макона, Альфонс порвал с Ниной де Пьеркло, которая к тому времени успела родить от него ребенка, но почему-то не покончила жизнь самоубийством после разрыва, чем навсегда лишила себя права на место в творениях поэта.

8 января, то есть спустя четыре дня после

отъезда из Макона — путешествие в Париж длилось целую вечность в начале XIX века, — молодой человек прибыл к Вирье, который устроил его на кушетке в комнате, которую снимал на улице Нев-Сент-Огюстен в особняке Ришелье, который наполовину снесли в 1790 году, когда возводили улицу д'Антен, а оставшуюся половину превратили в гостиницу.

В тот же вечер Альфонс уже был у Жюли. Та не ожидала, что увидит его, и назвала приход возлюбленного «небесным явлением».

У Шарлей собрался привычный кружок, и визит поэта никому не показался странным: просто еще один провинциал явился к господину Шарлю, чье великодушие в подобных делах было широко известно, чтобы тот помог ему выбиться в люди.

Как проходили их встречи? Мы сможем составить себе о них некоторое представление, если обратимся к письму, посланному Жюли Ламартину, письму, где речь идет о завтрашнем свидании:

«К сожалению, я не освобожусь до половины первого дня... Я иду с мужем во дворец, чтобы соблюсти какую-то формальность. Ждите меня у себя, ангел мой милый: я появлюсь, как только он меня отпустит, и увезу вас куда-нибудь, чтобы мы смогли провести вместе все утро...» (Слово «утро», очевидно, надо понимать в том смысле, в каком и сейчас дневной спектакль в театре называют «утренником»).

Дело происходило 9 января — сезон, мало подходящий для прогулок в лесу. Где они провели те несколько часов? Пусть это останется их тайной...

Так прошла зима 1817 года. Если бы все письма, кроме четырех, не были благоговейно сожжены, мы знали бы об этом времени больше.

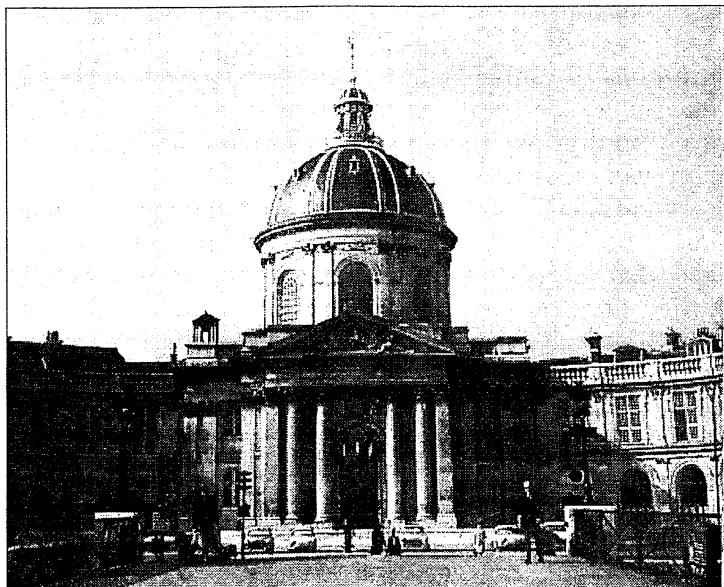
Правда, существует «Рафаэль» — но нам ли не знать, что такое художественное преувеличение... И все же в этой книге можно найти кое-какие описания, кое-какие размышления, которые позволяют, по крайней мере, воссоздать декорации, в которых протекала их жизнь...

Наверное, они пользовались малейшим улучшением погоды, чтобы прогуляться: Жюли обожала деревья... Но они редко позволяли себе подобные удовольствия, поскольку в такой большой деревне, как Париж, все тайное быстро становится явным, а Жюли заботилась о своей репутации, так как уважала мужа.

Скорее всего, они встречались на виду у всех, у нее в салоне, где появление Альфонса никого не удивляло. Впрочем, для него это было наилучшим решением: во-первых, таким образом можно было избежать соблазна нарушить «пакт о платонической любви», а во-вторых, ему такие встречи обходились дешевле, чем прогулки с молодой женщиной, которой положение не позволяло выезжать иначе, чем в экипаже.

Нельзя забывать и о том, что в салоне на набережной Конти Ламартин встречал влиятельных людей, которые могли оказаться ему полезными, и беседы с ними вряд ли были ему неприятны, хотя он позже и утверждал в «Рафаэле»: *«Жюли, которая знала, насколько тяжело встречаться у нее в доме с чужими людьми...»*

На самом деле он был в восторге от возможности беседовать на равных с Рейневалем, Лене Барантом, Боневалем... с Мунье, которому Жюли рекомендовала «этого интересного молодого человека» и который высказал ему свое мнение о «Роли дворянства в государстве» — вещи, только что написанной Ла-



*Институт Франции.
Верхние фонари слева
обозначают квартиру семьи Шарль.
Фото Роже Виолле.*

марином... Именно здесь, в салоне мадам Шарль, не отдавая себе в этом отчета, поэт учился говорить о политике, слушать, молчать и приспособливаться к людям и обстоятельствам.

Иногда он приходил к ней только после того, как гости расходились по домам; расположившись на другом конце Моста Искусств, со стороны Лувра, он дожидался, когда можно будет переступить порог дома своей возлюбленной. Здесь — и только здесь — мы, пожалуй, можем поверить в точность текста из «Рафаэля»:

«Мы с Жюли условились о том, как дать мне понять издалека, есть ли гости в ее маленьком салоне. Когда там собиралась целая толпа визитеров, обе внутренние ставни узкого окна были закрыты, и я мог видеть лишь слабый свет от свечей, пробивавшийся в щель между створками. Когда там был только один или двое из обычных посетителей, да и те собирались уходить, закрывалась только одна створка. И, наконец, когда уходили все, открывались обе ставни, раздвигались занавески, и я мог видеть с другого берега реки свет лампы, поставленной на стол, за которым она читала или писала, ожидая меня...»

До чего же красивая и романтическая картинка: влюбленный на мосту, ловящий во мраке луч света из окна своей возлюбленной!..

Вот тогда он и приходил к молодой женщине, которая полулежала на своей кушетке... Внизу, у подъезда, разъезжались кареты, увозившие последних гостей... Старик-консьерж дремал на банкетке, стоявшей в вестибюле у подножия лестницы... На верхнем этаже у Шарля были свои спальня и библиотека, и он достаточно рано уходил туда работать...

Они оставались одни...

Но сколько же раз они могли пойти на подобный риск? Ведь их встречи наедине могли насторожить не только заботливого мужа, о степени снисходительности которого нам ничего не известно, но и всегда склонную к пересудам прислугу. Без сомнения, такие свидания были редки.

Когда стояла хорошая погода, они прогуливались пешком поблизости от Института, чаще всего — в Тюильри, где Бриффю, встретив их, принял его за брата, сопровождающего больную сестру, «молодую женщину с чистым лицом и печальным взором, ступающую медленно и плавно...»

Вернулись теплые дни, и теперь они добирались порой до Медона или Сен-Клу...

Именно там гуляли они в последний раз. Позже Ламартин вспомнит об этом: *«Вновь я увидел эти аллеи и дерево, у подножия которого мы сидели в последний раз 3 мая 1817 года. Это было в Сен-Клу, в конце аллеи, идущей от фонаря...»*

6 мая они отправились в парк Мопсо, чтобы попрощаться вдалеке от посторонних глаз...

А потом был отъезд и обещания увидеться снова летом в Эксе...

Но им уже не суждено было встретиться.

О том, как Жюли пережила разлуку с ним, Ламартин узнал от Вирье. Вот его письмо от 9 мая:

«Расставшись с тобой, я отправился к мадам Ш. и оставался у нее весь вечер. Как ты понимаешь, не обошлось без слез... Я снова побывал у нее вчера, — она выглядела слабой и усталой. Утром у нее был нервный припадок, и весь день она сильно страдала...»

Она так и не смогла оправиться от этого удара; он оказался роковым для ее хрупкого здоровья, и

поездка в Вирофле, где она надеялась отдохнуть и прийти в себя, ничего не смогла изменить.

А Альфонс в это время пребывал в Виши, снова лечил свою многострадальную печень. Он подробно сообщал Жюли обо всех деталях, касающихся своего состояния, и давал ей тем самым новый повод для волнений:

«Сегодня утром я получила письмо от Альфонса, и оно меня очень опечалило...»

Когда наступило лето, Жюли не смогла отправиться в Экс на условленное свидание. Альфонс же приехал туда, был разочарован и поделился своими переживаниями с молодой девушкой, своей соседкой по пансиону Перрье — Элеонорой де Канонж...

Но воспоминания оживали на берегу озера, и, любуясь чудесным пейзажем, он написал строки бессмертного стихотворения:

*О вечер счастья! где ты, когда я с нею
Скользил по озеру, исполнен сладких дум,
И услаждал мой слух гармонией своею
Согласных весел шум? **

Вернувшись 6 октября в Милли, Ламартин узнал, что Жюли с каждым днем становится все хуже: ей пришлось вернуться из Вирофле в Париж, так как легочная чахотка быстро прогрессировала.

Кроме того, произошла маленькая домашняя драма: верная служанка Виржини уволилась, не выдержав придирок хозяйки, которая стала капризной и вспыльчивой, как многие больные.

— Нет, она не то чтобы озлобилась, — говорил

* Альфонс де Ламартин. «Озеро». Перевод А. Фета. Библиотека всемирной литературы. Т. 85. «Европейская поэзия XIX века», с. 638. — *Прим. пер.*

Вирьё, — ее характер не стал более тяжелым, но она приобрела некоторую излишнюю чувствительность, от которой сильно страдала и она сама, и те люди, которые ее окружали...

Жюли не смогла ужиться и со служанкой, заменившей Виржини, — надо было искать кого-то еще.

Но больше всего молодую женщину печалило то, что она теперь оказалась неспособна к регулярной переписке. Пришлось ей довериться своему доктору, и тот сообщил Ламартину:

«Она просит меня извиниться, что не смогла сама написать вам... Она страдает из-за того, что ее болезнь и ее молчание причиняют вам беспокойство... Она настаивает на том, чтобы вы лечились и как можно меньше волновались за нее...»

Можно себе представить, что наговорил ей Ламартин о своих болячках...

Наконец состоялось соборование умирающей, — его совершил аббат де Керавенан, священник из Сен-Жермен-де-Пре, удивительный человек, каких могла породить только Французская революция. Отказавшись присягнуть гражданской Конституции, он был в 1792 году брошен в тюрьму «У кармелитов», чудом уцелел во время сентябрьского побоища, сбежал и сумел сбить со следа полицию, прячась то у одного, то у другого из сочувствовавших ему людей. Обзаведясь новыми документами, естественно, фальшивыми, — на имя некоего стекольщика, он под прикрытием этого ремесла проникал в надежные дома, чтобы совершать там церковную службу: так он обвенчал Дантона* с совсем юной мадемуазель

* Дантон Жорж Жак (1759—1794) — один из вождей Великой Французской революции; казнен по приговору революционного трибунала. — Прим. ред.

Жели, которая непременно хотела, чтобы церковь освятила их союз... Могла ли она тогда предвидеть, что тот же священник совсем скоро снова благословит ее мужа — когда тот должен будет подняться на эшафот? Действительно, смешавшись с толпой, аббат де Керавенан жестом показал Дантону, что отпускает ему грехи, и тот, склонив голову, принял его благословение...

Позже аббат исповедует Пишегрю*, что позволяет усомниться в самоубийстве генерала... Он выслушает последнюю волю Кадудаля**, и Наполеон попытается вырвать у него тайну этой исповеди; а поскольку аббат откажется нарушить эту тайну, его вышлют из Парижа на пять лет. Сделавшись в 1814 году приходским священником в Сен-Жермен-де-Пре, он приложит все усилия, чтобы реставрировать церковь...

Таким был весьма колоритный персонаж, который в начале ноября склонился над Жюли, чтобы дать ей последнее причастие.

10 ноября она нашла в себе силы еще раз написать Ламартину:

«Точно я ничего не знаю, но предвижу конец этого ужасного состояния и верю, что после долгих страданий буду жить... Я буду жить, чтобы искупить свой грех... (Последние слова подчеркнуты...)»

Меня соборовали, и после того, как я получила причастие, которое, по доброте своей Он предназначил для умирающих, Господь снизошел ко мне. Вы понимаете, какие обязательства налагает на меня

* Пишегрю Шарль (1761—1804) — французский генерал, прошедший путь от сторонника революции до контрреволюционера; будучи арестованным, покончил жизнь самоубийством. — Прим. ред.

** Кадудаль Жорж (1771—1804) — командир шуанов, казненный по обвинению в заговоре против Бонапарта. — Прим. ред.

подобное благодеяние, и все они будут выполнены. Жертвы для меня не составляют труда, они принесены, и я чувствую по миру в душе, который увенчал мое решение, что могла бы обрести на этом пути долга, который напрасно считают таким тяжким...»

А дальше она отдает своего рода приказ:

«Я получила все ваши письма. Пусть отныне, друг мой, они сделаются доступны всем. Я не могу получать другие и даже не желаю этого. И на это письмо — не отвечайте...»

И затем — крик любви, лгущей себе самой:

«Мне теперь не позволяют писать, но я не хочу, чтобы вы беспокоились; и я уверена: Господь сочтет добрым делом то, что я хочу успокоить тревоги ребенка, слишком любящего свою мать. Он знает, как целомудренно это дитя, и позволит мне стать ему другом...»

В этом последнем письме она рассказывает Ламартину о том, что сделала для него, — пожалуй, эта ее заботливость особенно трогательна, — а затем прощается с ним:

«Прощайте, друг мой... Я всегда любила и люблю вас, как самая добрая и нежная мать...»

На этом письмо не заканчивается: есть постскрипtum, который лишней раз показывает, как хорошо Жюли знала Ламартина. Она хочет, чтобы ее последние слова польстили его тщеславию, потому что знает: ничто не взволнует его сильнее...

«Господин де Б. (Бональд)* в величайшем восторге от вашей оды. Он сказал мне, что не может оценить ее в полной мере, но что, на его взгляд, она обладает восхитительной красотой...»

* Бональд, Луи де (1754—1840) — французский политик и писатель. — Прим. ред.

О какой оде идет речь? Не все ли равно... Но кого не взволнует то, как эта женщина забывает о собственных страданиях, кого не взволнует эта ее последняя мысль, быть может, немного горькая... но ведь и дышащая бесконечной любовью...

Внезапно, вопреки всем мрачным прогнозам, состояние больной улучшилось. Человеку свойственно тешить себя иллюзиями, и Ламартин напишет в знаменитой красной книжечке, датируя запись 13 ноября:

«Я узнал о выздоровлении Жюли Шарль... День надежды и радости».

Но, увы, это было лишь временное улучшение. Вскоре боли возобновились... Пришлось прибегнуть к опиуму, который порой вызывал у больной бред. Вирье говорит о «моментах помутнения, когда мысли ее блуждали». А доктор Ален утверждает, что «она хотела умереть, и ей казалось, что смерть слишком медлит».

Действительно, эти последние дни как морально, так и физически больше напоминали битву, чем мирное упокоение. Снова предоставим слово Алону:

«Упадок духа и раздражение часто завладевали ее душой... Жалобы чередовались с покорностью и верой».

Друзья сменяли один другого у изголовья больной... Муж предупреждал малейшие ее желания — ведь у нее уже не хватало сил даже на то, чтобы взять с ночного столика чашку с питьем.

Ее больше нельзя было оставлять одну ни днем, ни ночью...

Но Жюли практически до самых последних минут не разрешала никому ночевать ни в ее спальне, ни в смежной комнате, хотя ее состояние и не позволяло ей подниматься: она хотела остаться одна — и у нее были на то причины.

Эта женщина, мечущаяся между религиозными убеждениями и страстью, между мужем и любовником, не хотела оставить после себя ничего, способного напомнить о том, что она сама называла «грехом, требующим искупления». Мы знаем, что эти одинокие ночи она проводила за разбором бумаг. Но о каких же иных бумагах могла идти речь, если не о многочисленных письмах Ламартина?

Она тщательно их рассортировала, положила в два конверта и надписала эти конверты: *«Бумаги, принадлежащие господину де Вирьё. Передать ему!»*

В один из пакетов она вложила маленький портрет Ламартина в рамке и сборник его элегий. Потом, зная, что не найдет более надежного курьера, доверила посылку мужу:

— Друг мой, это бумаги господина де Вирьё, которые он поручил мне хранить, надеясь на мою скромность. Прошу вас передать их ему, так как не могу этого сделать сама.

Действительно, Вирьё в этот момент не было в Париже; после, рассказывая Ламартину о нежности близких, которая скрашивала последние дни его подруги, он напишет:

«Не хватало только нас двоих».

Конец приближался.

Закончив все земные дела, Жюли успокоилась, расслабилась. Она простилась с друзьями, позаботилась о служанке, поблагодарила доктора Алена за внимание, которым он ее окружил.

В четверг 18 декабря, в полдень «простив всех и попросив прощения», она скончалась на руках у мужа. Тот не отходил от нее до последнего момента и поцеловал, когда она перестала дышать.

Вокруг все рыдали, даже аббат де Керавенан не

смог сдержать слез. Горничная Жюли упала в обморок.

Лицо Жюли, искаженное агонией, разгладилось: «его белизна была сравнима с белизной алебастра, а черты ничуть не изменились».

На губах у нее лежало маленькое медное распятие, которое приняло ее последний вздох.

Кто-то задернул занавеси, зажег свечи, соединил руки усопшей...

В момент, когда тело укладывали в гроб, аббат осторожно взял распятие: повинуясь одному из последних желаний Жюли, он передаст его Ламартину.

Может показаться удивительным, что священник взялся выполнить такое поручение, отлично зная о связи между любовниками, — но аббат был человеком широких взглядов, да и грех было бы не выполнить последнюю волю умирающей; а может быть, он думал, что передать распятие — значит дать Альфонсу понять, что Бог занял его место в сердце Жюли.

Заупокойная месса состоялась в Сен-Жермен-де-Пре 19 декабря, о чем свидетельствуют приходские книги.

Но в этой истории есть одна тайна. Она связана с местом погребения Жюли Шарль.

Насколько нам известно, оно до сих пор не обнаружено. Правда, Ламартин утверждал, что, приехав в Париж после смерти Жюли, побывал «в отдаленном предместье», — но у него всегда трудно отделить правду от вымысла. Как бы там ни было, более точных указаний он не дает.

Господин Шарль, умерший в 1823 году, один занимает склеп на втором участке кладбища Пер-Лашез.



«Распятие».
Иллюстрация Тони Жоанно.
Фото Роже Виолле.

Неизвестно, что за причина заставила его изгнать жену из могилы, где, по всем божеским и человеческим законам, они должны были бы покоиться вместе.

Узнал ли он правду еще при жизни «Эльвиры», что объяснило бы фразу Алена: «Она умерла, прося прощения»? Но эти слова могли просто относиться к последнему прощанию с белым светом женщины, желавшей уйти из жизни в мире с самою собой, и не содержать в себе ничего, кроме общепринятой формулировки.

Еще говорят, что после смерти жены Шарль отправился жить к своей сестре, госпоже де Тальмур, и что та а *post factum* открыла ему глаза. Но это никак не объясняет «исчезновения» могилы, если можно так выразиться, потому что рассказать ему о романе Жюли с Ламартином сестра могла лишь после похорон.

Тогда не принято было обозначать в извещении о смерти место погребения, но все же удивительно, что, имея в своем распоряжении такое количество документов об этом коротеньком романе, историкам до сего дня и несмотря на множество предпринятых — нами в том числе — изысканий, так и не удалось установить, где же все-таки покоится тело бедной Жюли.

Как Альфонс узнал о случившемся? Доктор Ален постоянно сообщал ему о течении болезни, и искреннее горе, испытываемое поэтом, не мешало ему упиваться собственными переживаниями, особенно в отношениях с мадемуазель Калонж, переписка с которой продолжалась: он охотно рассказывал ей об «ужасах чудовищной агонии» и не избавлял ни от одной из подробностей страданий Жюли.

Что же удивительного в том, что, получив 25

декабря от доктора Алена письмо с роковой новостью, он устроил из этой трагедии целый спектакль? Вот что рассказывает Дарго, который был духовником Ламартина и его семьи — точнее, стал им в 1831 году, что, безусловно, не могло не отразиться на точности его изложения:

«Узнав печальную новость, Ламартин испустил дикий крик и умчался прочь из отчего дома. Он бродил по лесам и виноградникам два дня и две ночи, а когда вернулся, был так мертвенно-бледен, что все ужаснулись. Сестры не решились расспрашивать его, отец молчал, мать, не вымолвив ни слова, поцеловала сына. Но он даже не почувствовал материнской ласки, настолько застыло его сердце. После этого он принялся за свои обычные занятия... Он выцарапал роковую дату ножом на одной из стен Милли и в течение нескольких месяцев хранил безутешное молчание».

Позволим себе мимоходом заметить, что, когда пришло это письмо, Ламартин находился в Маконе, а вовсе не в Милли.

Тем не менее совершенно очевидно, что смерть Жюли стала для него сильным ударом, потому что 19 августа 1818 года, то есть больше чем полгода спустя после этого события, наша славная мадам де Ламартин — вполне искренне, потому что она ни о чем не подозревала, — заметила в каком-то письме:

«Мой бедный Альфонс кажется мне очень худым и очень печальным. Я ужасно расстроена. С тех пор, как я здесь, — сплошные огорчения. Он очень хочет жениться...»

Кажется, эта мысль действительно овладела поэтом, которого подталкивал к такому решению Винье.

Несколько проектов рухнуло, но в июле 1819 года он обручился с некой англичанкой по имени Мари-

анна Бирч — девушкой симпатичной, но вполне заурядной, если судить по портрету кисти будущей свекрови.

«Она не красавица, но миловидна. Она хорошего роста, непринужденная и грациозная, как многие англичанки; великолепные каштановые волосы, прекрасные карие глаза, умные и нежные, большой тонкий нос, неплохой рот с белыми, но неровными зубами: передние широковаты и немного выдаются вперед; подбородок и овал лица очень хороши, выражение лица чрезвычайно приятно, восхитительная шейка, цвет лица смуглый и несколько красноватый, она слегка нервна и чуть худощава...»

Чувствительные сердца могут только вздохнуть, узнав, что помолвка состоялась в Эксе и что Марианна, как в свое время Жюли, вложила в одно из писем засушенный цветочек с подписью: «Альфонс, Экс, 14 августа 1819 года»... Случаются иногда такие неловкие совпадения... Но Марианна была богата, и это заставило ее будущего мужа забыть о прошлом...

Тем не менее будем к нему справедливы — в 1865 году он скажет Дарго о Жюли: «Все-таки именно ее я любил больше всех...» — и назовет свою дочь именем умершей возлюбленной, слегка измененным, но вполне узнаваемым: Джулией.

Прозрачный намек... Совсем как в «Рафаэле»...

Надо плохо знать Ламартина, чтобы предположить, что он не воспользуется историей своих отношений с госпожой Шарль, как воспользовался своим романом с той, которая известна под именем Грациеллы. Кто-то сказал о нем: «Муза Ламартина — гробовая муза»; но что касается связи с Жюли, его поступок стал почти надругательством над могилой: ведь он откроет читающей публике то, что госпожа

Шарль до последнего вздоха тщательно скрывала: ведь не случайно, находясь уже на смертном одре, она уничтожила все письма, все записки, — все, что могло рассказать миру об этой любви.

Лишь несколько самых близких людей были в курсе дела: врач, духовник, да еще Винье с Вирье, — то есть те, от которых невозможно, да и нельзя было что-то скрыть.

Итак, в этой истории Жюли вела себя как хорошо воспитанная женщина; что же касается Ламартина, то он не выказал ни грамма благородства, решительно перечеркнув все старания возлюбленной.

Тут нам могут привести в пример Александра Дюма с его «Дамой с камелиями», Мюрже* с Мими из «Богемы», многих других романтиков. Но наш случай отличается от прочих: Жюли окружали солидные, почтенные люди, и, повторим еще раз, она всеми силами старалась сохранить свой роман в тайне.

Правда, Ламартин подождет несколько лет, прежде чем предать огласке эту «историю из жизни»; а пока, в «Размышлениях», он станет говорить о некоей «незнакомке». Нечего и говорить, что такая загадочность — самое верное средство заинтриговать читателя, подтолкнуть его к поиску прототипа. С 1820 года, через неполных три года, кое-кто называл уже ее имя; но тем, кто задавал ему прямые вопросы, Ламартин отвечал туманно: господин Шарль был еще жив, и объявить о неверности жены, о которой, впрочем, ему вполне могло быть известно, было бы все же проявлением дурного тона.

* Мюрже Анри (1822—1861) — французский писатель-романтик, автор «Сцен из жизни богемы», послуживших основой для оперы Пуччини «Богема». — *Прим. ред.*

К тому же почему бы не предположить, что эту осторожность в какой-то степени питала и надежда на кресло в Академии и что для будущего «Бессмертного»* было предпочтительнее не восстанавливать против себя человека, имевшего большой вес в обществе.

А кроме всего прочего, существовала еще и госпожа де Ламартин-«младшая», которая, конечно, знала об эпохе «Эльвиры» только то, что муж сам пожелал ей рассказать. Возможно даже, что она и не задумывалась о прототипах романа, корректурные листы которого вычитывала. Не исключено, что в качестве законной супруги она считала себя выше этого... или ей просто недоставало проницательности... а может, дело в том, что она очень любила своего мужа.

Но к 1849 году все те, кто хоть как-то был причастен к этой истории и мог бы быть оскорблен или удивлен оглаской, которую придал ей Ламартин, умерли: Шарль, Ален, Винье, Вирье, аббат де Керавенан, равно как и завсегдатаи салона на набережной Конти — Фонтан, Лалли Толендаль, Бональд, Лене... Руки у него были развязаны.

Ламартин воспользовался этой свободой с полным отсутствием деликатности: в рукописи «Рафаэля», хранящейся в Маконе, даже не изменены имена. Впоследствии, правда, он чуть модифицировал их, поскольку ему посоветовали быть поскромнее и придерживаться анонимности.

К тому же, делая уступку прошлому и, возможно, из страха пробудить подозрения у жены, оставшейся в полном неведении, Ламартин придал изобращаемым им событиям видимость абсолютнейшей

* «Бессмертные» — титул членов французской Академии. — *Прим. ред.*

чистоты и целомудрия. Между героем романа и Жюли (ее имя он сохранил!) нет ничего, кроме платонической любви. А закончил он историю самым что ни на есть трогательным и неожиданным образом: старик-муж предлагает себя Рафаэлю в отцы. Подобная идея никогда не пришла бы в голову господину Шарлю...

Однако такая преувеличенная сентиментальность кое-кому не понравилась, и Ламартину пришлось чуть ли не оправдываться — например, перед господином Бьенассисом, отрывок из письма к которому мы приводим ниже:

«Перейдем к предмету твоего письма: ты спрашиваешь меня, что это за исповедь, о публикации которой газета, широко распространяемая во Франции и в Европе, объявляет на своих страницах. Ты справедливо удивлен тем, что я счел возможным выставить подробности своей личной жизни напоказ перед безразличным взглядом нескольких тысяч читателей романов с продолжениями...»

Письмо это доказывает, что совесть поэта была все-таки не совсем спокойна...

Однако никакие угрызения не помешали ему опубликовать «Распятие», сделав достоянием публики даже последний вздох покойной, и — главное — «Озеро», которое больше способствовало тому, чтобы почти на полтора века обессмертить «Эльвиру», чем «Рафаэль», ныне практически неудобочитаемый и совершенно неизвестный новому поколению.

Возможно, на страницах этой книги мы были слишком суровы по отношению к Ламартину и проявили мало уважения к его персоне. Пусть истинные любители поэзии простят и поймут нас, если мы приведем здесь еще один эпизод, который лучше, чем что-либо другое, позволит подвести итог

тому, что нам в наших изысканиях удалось узнать о личности поэта.

Когда «Озеро» собирались опубликовать в Англии, Альфонс и Марианна, его жена, решили заменить строчку:

«Всё говорит: они любили...» —

на другую, более подходящую к викторианской строгости нравов Великобритании, а именно:

«Всё говорит: они уплыли...»

Рассказывают, что госпожа де Жирарден, возмущенная подобной пошлостью, воскликнула:

— Пусть напечатают: *«всё говорит: они курили...»* — и хватит об этом!

Легкая тень «Эльвиры» заслуживает большего, чем эти низменные расчеты...

КЛОТИЛЬДА ДЕ ВО И ОГЮСТ КОНТ

Улица Месье-ле-Пренс, 10

Самое верное средство совершить путешествие в прошлое, ощутив во всей полноте атмосферу парижской квартиры 1857 года, — это посетить жилище Огюста Конта на улице Месье-ле-Пренс.

В течение века, прошедшего со дня смерти философа, здесь ничего не переменялось: его последователи-позитивисты заботливо поддерживают в квартире установленный при жизни основателя их теории порядок.

Гостиная в стиле Луи-Филиппа. В центре, среди кресел, обитых гранатового цвета дамастом, стоит одно, покрытое чехлом, спускающимся до самого пола. Никто не имел права садиться в это кресло с 5 апреля 1847 года — дня смерти той, что сидела в нем во время каждого из своих четырех посещений Огюста Конта.

Оно действительно волнует, это кресло, в обстановке, предназначенной для ученых занятий, причем самых сложных, — занятий философией и математикой. Оно очень волнует, потому что открывает совершенно новые грани личности Конта.

Кто он для нас? Суровый, одетый в черное старик, автор философской теории, которую мало кто смог бы сформулировать без долгих размышлений.

Иными словами, Огюст Конт — это позитивизм.

Мы не собираемся излагать здесь историю этого учения, критиковать его и анализировать его влияние на последующую науку. Оставим это занятие людям более сведущим, чем мы; кроме того, направление позитивизма существует и сегодня, поэтому те, кого заинтересуют детали, легко смогут найти их в научной литературе.

Мы же лишь сформулируем здесь главный принцип этого учения, изложенный сухим языком словаря Поля Ларусса, изданного в XIX веке:

«*Позитивизм*: философская система, которая отказывается от всякой метафизической концепции, всякого изучения сверхъестественного и целиком основывается на изучении материальных и осязаемых явлений».

Но когда видишь это кресло, заботливо укрытое серым чехлом, представляешь себе совсем другого человека: того, кто дважды буквально — в медицинском смысле — сходил с ума от любви; того, кто ради одной из своих возлюбленных отрекся от всех идей, которые прежде защищал, и выстроил целую религию, провозгласив «Девой и Матерью» прекрасную даму, что к моменту их встречи не была ни той, ни другой, — Клотильду де Во.

Оставим науку ученым. Вторая ипостась Конта куда более занимательна, куда более привлекательна для нас и, да простят нам это выражение, куда более трогательна...

Однако его карьера выдает человека сурового, целиком посвятившего себя исследованиям и научным спорам.

Огюст Конт родился в Монпелье 19 апреля 1798 года. Был блестящим учеником: в четырнадцать лет ему даже предложили заменить одного из педагогов,

преподававшего высшую математику. Ничего удивительного, что в том же году его приняли в Политехническую школу.

Из вышесказанного следует, что у него практически не было отрочества, если подразумевать под этим понятием период беззаботности и сомнений, когда, собственно, и формируется личность человека. У Конта не оказалось времени на подобное превращение, и, возможно, именно этим и объясняется его поведение позже, когда он познает любовь — и станет вести себя, словно подросток.

Кроме того, на него очень сильно повлияла наследственность: в характере Огюста парадоксальным образом смешались черты мелкого чиновника, каким был его отец — сборщик податей в Казначействе, — с открытой, поэтичной и всепонимающей натурой матери. Все это наложило на его жизнь неизгладимый отпечаток.

Но затем обстоятельства приняли неожиданный оборот. Ученики Политехнической школы много говорили о политике, и у юного Конта, монархиста по воспитанию, часто возникали распри с товарищами, бонапартистами из энтузиазма. Зато когда во время «Ста дней»* Франции угрожала опасность оккупации, Конт, решительно сменив пристрастия, первым подписал письмо императору — письмо, в котором он и его друзья требовали для себя чести «лететь на защиту Отечества».

Реставрация не простила Политехнической школе ее верности Наполеону, и первый предлог для ее реформирования был найден в 1816 году: один из

* «Сто дней» — время вторичного правления Наполеона I во Франции (20 марта — 22 июня 1815). Коалиция Европейских государств выступила против восстановленной наполеоновской империи и одержала победу. — *Прим. ред.*

преподавателей не понравился первокурсникам, находившим его манеры вызывающими; старшие приняли сторону младших и решили отстранить его от исполнения обязанностей письмом, написанном в стиле постановлений Конвента:

«Месье,

Хотя нам и тяжело принимать такие меры в отношении бывшего ученика Школы, мы предписываем вам больше здесь не появляться».

Как видите, студенты Нантерра* в мае 1968-го ничего нового не изобрели.

Обстановка в школе, где стали возможны подобные демарши, обеспокоила правительство: учебное заведение было расформировано, а Огюста, который был автором письма, отправили поразмышлять в кругу семьи под наблюдением полиции, об опасности подменять собою власти.

Что и говорить, это событие повергло семью Конта в ужас — возвращение домой Огюста ничем не напоминало явление блудного сына.

Попробовав в течение нескольких месяцев поработать в Медицинской школе, юноша, которому досаждали упреки близких, покинул Монпелье и вернулся в Париж, где для него началась нелегкая жизнь бедного студента.

К счастью, ему удалось, благодаря бывшим соученикам, найти несколько частных уроков, а главным развлечением стала для него учеба. Он познакомился с Анри де Сен-Симоном**, со страстью воспринял его учение и стал его секретарем. У них были общие идеалы: наука и индустрия должны были

* Нантерр — предместье Парижа, где расположен университет. В 1968 г. по Франции прокатились студенческие беспорядки. — *Прим. ред.*

** Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760—1825) — французский мыслитель, социолог, социалист-утопист. — *Прим. ред.*

заменить концепции и философские системы средневековья. Таким образом, в течение нескольких лет Конт жил лишь философскими изысканиями и размышлениями: друзей у него не было, семья находилась далеко, а простые удовольствия он презирал.

Однако судьба подбросила ему и более земные радости: 3 мая 1821 года, прогуливаясь под сводами галерей Пале-Рояля, в толпе, собравшейся по случаю праздника крещения герцога Бордоского, он встретил Каролину Массен. Последняя подторговывала своими прелестями и, несмотря на то что ей было всего девятнадцать лет, уже два года фигурировала в полицейских списках.

Было ли это первым любовным приключением Конта? Трудно сказать. Ясно одно: барышня соблазнила его, и они стали видеться довольно часто.

Потом он потерял ее из виду и вновь обрел лишь два года спустя. Теперь она зарабатывала на жизнь торговлей книгами, благодаря щедрости некоего Серкле, ставшего позже членом Палаты Депутатов. Конт возобновил связь с Каролиной под предлогом уроков арифметики, и в конце концов они съехались и стали жить вместе..

Они поженились в 1825 году, но ограничились только гражданским браком, что в период правления Карла X воспринималось как вызов обществу и было тем более предосудительно, что в качестве свидетеля со стороны невесты выступил господин Серкле, который оказался вовсе не злопамятным!

В 1826-м Конт решил, что пора ему пуститься в самостоятельный полет, и, отделившись от Сен-Симона, начал читать собственный курс философии позитивизма. Две статьи, опубликованные в 1825-м и в 1826 годах, привлекли к нему внимание ученых мужей, уже заинтересованных небольшим его произ-

ведением, изданным в 1822 году анонимно. В этом опусе предлагалось реорганизовать общество по законам исторической эволюции, и он был переиздан Кантом в 1824-м уже под именем автора.

Люди, довольно известные, оказали Конту честь своим присутствием на его первой лекции, которую он прочел в собственной квартире (тогда он жил в доме № 13 по улице Монмартрского предместья). Вторая лекция прошла с не меньшим успехом, равно как и третья, но четвертая не состоялась: Огюста Конта поместили в сумасшедший дом!..

Одни обвиняли в случившемся усталость, связанную с тяжелыми «родами», полагая, что именно так, в муках, создаются его произведения; другие считали причиной излишнее возбуждение от необходимости выступать перед аудиторией, состоявшей из сплошных знаменитостей, в то время как самому лектору было всего 28 лет и он был никому не известен.

Но на самом деле он сорвался из-за ревности. Как и многие люди науки, Конт не заботился о деньгах. К сожалению, они были нужны для нормального ведения хозяйства, и отчаявшаяся получить средства от мужа Каролина обратилась за помощью... ну, разумеется, к господину Серкле! Муж узнал, и это оказалось для него страшным ударом: не помня себя, он выскочил на улицу и был задержан двумя жандармами, обнаружившими его в Монморанси в неистовстве и бреде. Вмешался друг Конта Бленвиль, и Огюста отправили в психиатрическую лечебницу доктора Эскироля.

Там он был признан неизлечимым, и его мать, приехавшая в Париж, несмотря на свой преклонный возраст и плохое состояние здоровья, в течение

шести месяцев добивалась, чтобы сына отпустили домой, к жене. Но старая дама, обладавшая глубокими религиозными убеждениями, требовала, чтобы брак Каролины и Огюста был освящен церковью, прежде чем они снова начнут жить вместе. Больной бредил во время церемонии венчания, происходившей у него дома, и, когда священник предложил ему назвать свое имя, прибавил к нему «Брут и Бонапарт».

Мадам Конт вернулась в Монпелье, признав, что недооценивала достоинства той, кого до сих пор не хотела признавать своей невесткой.

Действительно, простонародное происхождение Каролины позволяло предположить, что ей не дано было понять, что собою представляет ее муж. На самом же деле Каролина была женщиной чрезвычайно умной и мечтала сделать из их дома интеллектуальный салон, а из самого Конта — почему бы и нет? — академика. И разве можно сердиться на нее за то, что она не понимала абсолютного, доходящего до полного пренебрежения собственным положением, бескорыстия того, чью фамилию она носила и кем глубоко восхищалась?

В течение долгих месяцев она заботилась о нем, была преданной, спокойной и не щадила себя, ухаживая за больным, который порой даже не узнавал ее. Многие ли женщины поступили бы так на ее месте? Ведь тот, о ком она столь самоотверженно заботилась, уже не был тем многообещающим ученым, на которого она возлагала столько надежд, — нет, теперь это был безумец, которому, быть может, суждено остаться таким, как утверждали доктора, до конца своих дней.

Благодаря преданности жены, а возможно, и

тому, что он находился у себя дома, среди своих книг и привычных вещей, мрачные прогнозы не оправдались — Конт выздоровел.

Но тревога не покидала его: в глубине души он боялся снова впасть в безумие, боялся, что никогда уже не будет таким, как прежде, а больше всего его пугала собственная дикая ревность, от которой он никак не мог избавиться, несмотря даже на то, что жена несколько месяцев не отходила от его изголовья.

Все это послужило причиной тому, что в апреле 1827 года, спустя год после первого припадка, стремясь освободиться от терзавших его галлюцинаций, он попытался покончить с собой и бросился в воду с Моста Искусств. Один из прохожих спас его.

Но Каролина больше не могла так жить. Ей была невыносима дежурная нежность, которую теперь проявлял к ней муж, чтобы сохранить свой рассудок свободным для ученых занятий; она не желала быть в доме лишь предметом обстановки. А с другой стороны, понимая, что в ее годы она еще может найти в другом человеке любовь, в которой ей теперь отказывал Конт, она проявила высочайшую тактичность в стремлении избежать возможного скандала, способного повредить карьере мужа.

В один прекрасный день она ушла, предварительно убедившись, что оставляет с ним преданную няньку — Софи Алио, в замужестве Тома. Муж назначил ей пенсией в размере трех тысяч франков: разводов тогда не существовало, и, сама того не подозревая, мать Огюста, настояв на церковном браке, сделала несчастными и сына, и невестку.

Говорили, что одной из причин, отвративших Конта от Каролины, была оспа, обезобразившая лицо молодой женщины. Возможно, это и имело значение для столь — невыносимо — чувствительного существа, каким был философ. Но на самом деле очень трудно точно определить причины разрыва союза, где один из партнеров не совсем психически здоров и вряд ли когда-нибудь окончательно поправится.

Впрочем, Каролина сочла, что выполнила задачу, которую все равно не смогла бы довести до благополучного конца, только тогда, когда Конт вновь вернулся к своей деятельности, а особенно — к чтению лекций по философии позитивизма. И действительно, он снова с головой погрузился в свои занятия — главным образом, в работу над «Системой философии позитивизма», шестой и последний том которой вышел в свет в 1841 году.

Мы уже говорили, что не собираемся шаг за шагом отслеживать его научную деятельность. Упомянем только, что к 1844 году, когда мы снова встречаемся с Контом, он был уже известным и уважаемым преподавателем и ученым, которого самые выдающиеся умы почитали себе равным, если не более.

Он преподавал механику в Политехнической школе, принимал там экзамены и, в общем, вполне зарабатывал на жизнь, потому что к своей обычной работе добавил еще и курс математики в частном институте. Благодаря этому он мог еще бесплатно обучать по воскресеньям желающих «популярной астрономии» в мэрии IV округа.

Итак, мы встречаемся с ним снова в апреле 1844 года в квартире на улице Месье-ле-Пренс, где он обитает вот уже три года, — в квартире светлой,

приятной на вид и поддерживаемой в порядке верной Софи.

В данный момент Конт одевается, чтобы отправиться с визитом к своему бывшему ученику, Максу Мари, которому хочется представить профессору свою молодую жену.

Обстоятельства, при которых они с Максом познакомились, были весьма своеобразны. В 1836 году юноша явился поступать в Политехническую школу и абсолютно правильно ответил на все вопросы, которые задал ему экзаменатор Огюст Конт. Он ожидал, что «въедет в школу на белом коне», надеялся на высший балл, но Конт принялся объяснять ему, что мог бы поставить «17», в результате чего Макса приняли бы в школу, но поставит только «13», так как считает абитуриента слишком молодым, чтобы успешно учиться. Зато на следующий год ему обеспечено 18 баллов — и двери школы будут для него открыты.

Что и говорить, парень, которому тогда было всего семнадцать лет, страшно разозлился. От досады через год он явился на экзамен неподготовленным, естественно, провалил — и в результате стал студентом только в девятнадцать лет.

Прошли годы, и Макс оценил прозорливость этого человека, который способен был заглянуть в будущее, и завязал со своим бывшим экзаменатором тесные деловые отношения. Совместная работа и научные дискуссии с Контом оказали весьма благотворное действие на его карьере.

Теперь Конт был зван на почти семейный прием: Макс хотел воспользоваться случаем, чтобы познакомить профессора со своей матерью, о которой они много говорили, и с сестрой — Клотильдой де Во.

Господин Мари весьма гордился своей ролью новоиспеченного главы семьи.

Все, что Конт до тех пор знал о Клотильде, умещалось в трех словах: «ее преследовали несчастья» — тактичный способ выразить то, о чем не принято говорить!

Какими ребяческими нам кажутся сейчас эти предрассудки, имевшие такую силу в прежние времена! Но чтобы объяснить, что имелось в виду, придется вернуться назад.

Она родилась 3 апреля 1815 года от одного из тех неравных браков, какими была богата Империя. Ее отец, Жозеф, был мелким крестьянином из Луаре, который пошел в 1792 году волонтером и дослужился тяжким ратным трудом до капитанского звания. Между двумя битвами он встретил в Германии графиню Генриэтту-Жозефину де Фикельмон, и в 1813 году они поженились. У молодой супруги был брат-эмигрант, который служил Габсбургам, и те сделали его дипломатом. В будущем его станут называть «австрийским дядюшкой» и считать далеким и даже немножко мифическим, но тем не менее он не раз проявлял доброту и щедрость, тогда когда это было необходимо.

Военные подвиги капитана Мари не принесли ему состояния, после падения Наполеона у него не осталось ничего, кроме скудной пенсии, а фанатическая приверженность опальному императору сослужила ему плохую службу в годы правления Людовика XVIII, лишив возможности найти занятие, которое приносило бы доход. Появление на свет троих детей (в 1815-м, 1819-м и в 1820-м годах) не улучшило финансового положения семьи. К счастью, благодаря связям австрийского дядюшки, Жозефу

удалось получить должность сборщика податей в департаменте Уазы, но годы нищиты весьма пагубно повлияли на характер бывшего вояки, который, озлобившись, держал в страхе всю семью и, став скупцом из-за бедности, до того дошел в своей экономии, что устраивал жене сцены по поводу каждой мелочи.

Клотильда как дочь офицера воспитывалась в институте благородных девиц ордена Почетного Легиона на улице Барбетт и сохранила самые жуткие воспоминания о дисциплине, которая там царила. К счастью — если можно так сказать, — холера 1832 года заставила закрыть все столичные учебные заведения, и девочка смогла вернуться к родителям в Мерю. Но поскольку обучение было бесплатным, отец сразу же, как опасность уменьшилась, отправил ее обратно в Париж, и только в 1834-м, завершив образование, Клотильда смогла вновь обрести семью, а главное — мать, которую обожала.

Как раз в это самое время маркиз де Морне, друг Жозефа Мари, предложил ему взять в качестве помощника молодого человека, своего земляка по имени Амедей де Во.

Естественно, он был бы лучшим кандидатом на наследование должности, и маркиз де Морне вызвался быть посредником в сватовстве Амедея и Клотильды. Что за странную семью они решили создать: денег не было ни у того, ни у другого, единственным приданым невесты могла бы стать отставка ее отца в пользу жениха... Счастье еще, что семейство де Во не потребовало в придачу с Жозефа Мари некоей суммы в звонкой монете!

Все это не слишком нравилось госпоже Мари и,

чтобы не давить на дочь напрямую, она написала ей длинное послание в третьем лице, где излагала свои сомнения по поводу предполагаемого замужества и предупреждала об опасностях, грозящих Клотильде; закончила она письмо очень тепло:

«...Вот, дорогая моя дочь, мои размышления по поводу сложившейся ситуации. Я хотела бы, чтобы ты снова стала такой же веселой, как была всегда, хотела бы вручить тебя тому, кто предназначен тебе Провидением; если же такого человека нет рядом, мы всерьез займемся поисками того, кто действительно мог бы тебе соответствовать».

Но Клотильда, куда более влюбленная в самую идею замужества, чем в жениха, поторопилась оставить родительский дом. Капитан Мари становился все более невыносим: обычно такой осторожный, он вдруг взял да и доверил свои деньги сомнительным дельцам, потеряв на этом крупную сумму; нечего и говорить, как это сказалось на его и без того неприятном характере.

Венчание состоялось 28 сентября 1835 года, после чего супруги Мари отправились в Париж, чтобы оставить дом сборщика податей в полном распоряжении молодой пары.

Старший брат невесты, Максимилиан, который станет позже учеником Конта, служил тогда в армии и был очень рад, что сестра таким образом «вылетела из гнезда».

В течение следующих четырех лет эта последняя вела спокойное провинциальное существование, прерванное лишь однажды, в июле 1838 года, трехнедельными каникулами в Трепоре, которых потребовало состояние ее здоровья. Эта поездка, предписанная врачом, вызвала насмешки со стороны новых родственников и сомнения со стороны мужа: никто,

даже ее собственные родители, не верили в ее болезнь, считая Клотильду всего лишь неврастеничкой, страдающей разве что нервным расстройством и чрезмерной раздражительностью. Тогда еще не знали, что характерный румянец на щеках цветущей на вид девушки может служить одним из признаков туберкулеза.

Три недели, проведенные на свежем воздухе, и ванны, которые со временем стали доставлять ей удовольствие, хотя вначале показались ужасными, сделали свое доброе дело — ей стало намного лучше. Но, увы, едва она вернулась к своим обязанностям хозяйки дома, как снова почувствовала усталость.

Однако ничто не способно было истребить в ней непосредственность и веселость, и письма, которые она посылала родителям, особенно те, где рассказывалось о путешествии, походили на забавные и остроумные картинки, где проявлялось совершенно, увы, забытое сегодня эпистолярное искусство. Правда, в те времена людей учили «играть» фразами, и каким бы устаревшим и старомодным ни казался нынче этот обычай, именно ему мы обязаны самыми живыми страницами во всей эпистолярной литературе.

В глазах всех, равно как и в своих собственных, Клотильда выглядела счастливой. Супруги жили дружно, и если их не посетила жаркая страсть друг к другу, то уж прочная привязанность была наверняка: муж старался во всем угодить своей благоверной, а та была вполне удовлетворена местом, которое занимала в обществе благодаря социальному положению жены сборщика податей.

Правда, Амедей довольно часто ездил в Париж,

и всегда один, но — кроме разве что немногих отчаянных особ — какая воспитанная молодая женщина осмелилась бы задать своему господину и повелителю вопрос о делах, в которые он не считает нужным ее посвящать?

Итак, все шло как нельзя лучше вплоть до начала июня 1839 года, когда объявил о своем скором приезде финансовый инспектор. Дело, в общем, обычное, и Клотильда стала готовиться к приему важного гостя, пообещавшего оказать им честь, остановившись у них, и продумывать соответствующее случаю меню.

Но, к величайшему удивлению жены, Амедей отправил ее к своей матери, мадам де Во, жившей неподалеку, а сам обещал присоединиться к ним через несколько дней. Пусть, мол, Клотильда не беспокоится о приеме высокого начальства: он сам устроит гостя в отеле, который славится хорошей кухней.

Как всегда покорная, Клотильда отправилась к свекрови.

Два дня спустя к ней явился посланец и попросил ключи от дома: инспектор наткнулся на запертую дверь. Видя, что из трубы дома сборщика податей идет дым, чиновник вознамерился выяснить, что же там происходит.

А произошло то, что месье де Во ударился в бег, не забыв перед тем бросить в огонь книги с финансовой отчетностью.

Из того, что все-таки удалось спасти, стало ясно: счета фальсифицированы. Что до кассы, то она, разумеется, была пуста. Нехитрое расследование обнаружило, что господином де Во владела губительная страсть к игре и что казенные деньги испарились в «Пале-Рояле». Так Клотильда получила

объяснение таинственным путешествиям мужа в столицу.

Естественно, разразился скандал.

Он мог бы быть... нет, не замят — слишком уж редки подобные события в маленьких городках, чтобы там пренебрегли таким поводом для пересудов... Скандал мог бы быть, по крайней мере, приглушен немедленным возмещением убытков семьей мошенника. Но родители Амедея, более чувствительные к денежным проблемам, чем к вопросам чести, притворились глухими и слепыми и, несмотря на то что их финансовое положение позволяло восполнить дефицит, абсолютно ничего не предприняли.

Амедея, сбежавшего в Бельгию, властям поймать не удалось, и дело было закончено его заочным увольнением.

Нужно мысленно перенестись в ту эпоху, когда даже простое банкротство оставляло навеки запятанной честь человека и его близких, чтобы понять, насколько буквально за один день перевернулась вся жизнь Клотильды, хотя она и была совершенно непричастна к мошенничеству мужа: отныне и навсегда она была изгнана из приличного общества.

Ей ничего другого не оставалось, как уехать к родителям, которые жили в Париже на улице Паве.

Но перед тем как продолжить рассказ, покончим с Амедеем. Несколько месяцев спустя из Льежа от него пришло письмо. Клотильда не ответила, а после второго письма объявила мужу об окончательном разрыве:

«Мы никогда больше не увидимся, Амедей, не обманывайся...»

Она получила в ответ послание на многих стра-

ницах — настоящий, причем дурного вкуса, роман с продолжением. Там было все, что положено: заверения в невиновности, исполненные жалобным тремоло; угрозы покончить с собой и обещания исправиться... Ко всему прочему был добавлен весьма неприятный абзац, подвергающий сомнению добродетельность матери Амедея, что само по себе много говорит о подлинной личности бывшего сборщика податей.

Как и следовало ожидать, все в этом письме шокировало Клотильду, которой открылась душа мужа во всей ее неприглядности. И тогда она сказала матери:

— Я выбросила свою жалость, как перчатку с руки...

Разумеется, она не ответила, а семь месяцев спустя, когда от беглеца пришло новое письмо, за перо взялся ее брат Макс, который объяснил шурина, что вся дальнейшая переписка будет происходить только через него:

«Письма, отправленные вами на адрес Клотильды, не будут ею получены...»

Тогда Амедей замолчал, и больше о нем уже никто ничего и не слышал...

Вернемся к Клотильде.

Положение у нее было драматическое: в те времена разводов не существовало, значит, она не могла строить заново свою жизнь, а состояния у нее не было. Кроме того, как всякая хорошо воспитанная девушка, она не имела профессии, а ее молодость и красота в этой ситуации тоже оказывались ни к чему.

Перед ней встала неотложная задача: каким-то способом начать зарабатывать себе на жизнь, что означало для нее обрести свободу, то есть больше не

зависеть от отца. Использовать полученную таким образом свободу в каком-либо ином смысле ей и в голову не приходило: она оставалась замужней женщиной, и всякое приключение воспринималось бы ею как адюльтер.

Все, чего ей хотелось, это иметь возможность купить пару чулок или нижнюю юбку, никого не прося об этом и не рискуя получить отказ, поскольку капитан Мари расценивал обычно подобные траты как женские глупости.

Макс старался хоть чем-нибудь помочь сестре, но две нищеты, вместе взятые, как известно, не способны составить богатства...

Госпожа Мари тоже ничего не могла сделать для дочери; в отчаянии она написала своему брату, австрийскому дипломату, обрисовав ему ситуацию. Тот пожаловал племяннице ренту в 600 франков. Это, конечно, было немного, но все же позволяло молодой женщине иметь хоть какие-то карманные деньги. Естественно, господин Мари ни о чем не догадывался!

Пока происходили все эти события, Клотильда обдумала все и решила, что единственная карьера для нее, приемлемая в приличном обществе, — это занятия литературой.

Как всегда в таких случаях, близкие посмеивались над ней, а мать вздыхала, представляя себе среду, в которой придется возвращаться молодой женщине. Но поскольку все были убеждены, что преуспеть на этом поприще Клотильде не удастся, со стороны семьи серьезных возражений не последовало.

В январе 1844 года Макс женился на совсем юной девушке: в день свадьбы ей стукнуло ровно пятнадцать лет и десять дней. Семейный доход

равнялся у них всего двум тысячам франков в год, так как Макс, бросив армию, стал преподавателем научных дисциплин, а на этом месте в двадцать пять лет трудно было рассчитывать на солидное жалование.

Но что с того! Они были счастливы, и к тому же женитьба Макса создала возможность для перемен, которые устраивали всех. Госпожа Мари осталась вместе с молодыми на улице Паве, чтобы заниматься домом, потому что ее молоденькая сноха не имела опыта ведения хозяйства... Господин Мари обосновался в квартире, расположенной достаточно близко для того, чтобы видеться с семьей, но одновременно достаточно далеко, чтобы избегать столкновений... А Клотильда наконец получила собственное жилище на улице Пайенн, причем было договорено, что питаться она будет у невестки: их квартиры отстояли одна от другой всего лишь на ширину улицы Фран-Буржуа.

Вот тогда-то и вошел в жизнь семейства Мари Огюст Конт, и кто мог в то время предполагать, какие бурные последствия будет иметь его появление в их доме!

Итак, мы оставили Конта в момент, когда он готовился к первому визиту к Максу Мари. Когда он явился, Клотильда, как и предполагалось, была уже на месте и весьма любезно приняла пожилого господина.

Ведь для нее он и на самом деле был пожилым господином — причем довольно скучным в разговоре и весьма мало привлекательным на вид. Конт был одет в черное, с заметным брюшком; плешь на его лысеющей макушке тщетно пыталась прикрыть



Клотильда де Во.

спущенная на лоб прядь, как у Наполеона. Гноящиеся глазки не позволяли оценить кротости его взгляда, а слюна, собиравшаяся в углах губ, когда он говорил, делала даже самые серьезные его речи смешными, тем более что он к тому же начинал заикаться, когда стеснялся, — то есть всякий раз, как оказывался в светском обществе. Во время лекций, насколько нам известно, его речь была абсолютно внятной, но в гостиных красноречие ему изменяло.

Клотильде было двадцать девять лет, ее невестке — пятнадцать, и они с трудом сохраняли серьезность. В семейных хрониках говорится, что, едва гость вышел за порог, они схватились за руки и стали, как дети, кружиться волчком, хохоча и повторяя: «Нет, ну какой урод!.. Это же надо, какой урод!..»

Впечатление Конта было прямо противоположным: он увидел Клотильду и пленился ею. Для него это стало настоящей любовью с первого взгляда...

Надо признать, она действительно была очень хороша собой: отличный цвет лица, тяжелые белокурые волосы, большие мечтательные голубые глаза, в которых тем не менее светились незаурядный ум и лукавство...

Не стоит обманываться: в восхищении Конта проявилось не только платоническое чувство — его влекло к Клотильде и плотское вожделение. Вот уже два года, как он разошелся с женой, и он хвалился тем, что в сексуальном плане сохранил юношескую пылкость, которую ему с трудом удастся сдерживать.

Мы не из тех, кто полагает, что подобные сведения могут дурно сказаться на репутации ученого. Став философом, человек не перестает быть

мужчиной, а именно эта сторона его личности нас и интересует больше всего.

За первым визитом, видимо, последовало много других, потому что, всего лишь через месяц, 24 мая, мы находим в письме, посланном Контом Максу, постскриптум, доказывающий, что на улице Паве его принимают по-семейному:

«Мое искреннее почтение — вашим дамам, мой визит к которым, наверное, придется отложить из-за ряда дел, ставших неизбежным результатом этой перемены ситуации...»

«Эта перемена ситуации» означала просто-напросто, что Конт потерял место экзаменатора в Политехнической школе. Его доктрины не были одобрены Советом школы, равно как и его поведение по отношению к абитуриентам: ему ставили в вину «прямолинейность, авторитарность и пристрастность». В предыдущем году ему удалось сохранить это место только лишь благодаря поддержке руководителя школы.

Неужели зарождавшаяся в нем любовь прибавляла ему оптимизма? Как бы там ни было, но Конт не слишком разволновался из-за произошедшего и в том же письме уточнил:

«Все это может привести лишь к временным денежным затруднениям, в которых мои друзья, вероятно, придут мне на помощь...»

Вообще-то в глубине души он был уверен, что такой ум, как его, никогда не останется без поддержки. Для такой уверенности были, по крайней мере, две причины. Во-первых, тот факт, что научное творчество несовместимо с финансовыми заботами, а во-вторых... ведь в самом деле всегда находился кто-нибудь, кто его субсидировал.

Несмотря на подобные убеждения, он все-таки предпринял попытку получить что-нибудь от военного министра. Тот ответил отказом, зато трое англичан, при посредничестве Стюарта Милля*, сейчас же перевели ему 6 000 франков. В качестве анекдота можно добавить, что они не были весьма удивлены возмущением Конта, когда не повторили своего великодушного жеста на следующий год!

К счастью, у него еще оставалось жалованье преподавателя математического анализа в Политехнической школе и профессора в институте Лавиль: это составляло от четырех до пяти тысяч франков в год...

Впрочем, ученые занятия перестали быть для него единственным интересом в жизни: важнее всего прочего оказались визиты на улицу Паве, во время которых он мог увидаться с Клотильдой. Не решаясь в открытую ухаживать за ней, Конт прибегнул к уловке, старой как мир: попросил госпожу Мари сделать его портрет, польстив таким образом ей как художнице-любительнице. Правда, его слегка мучила совесть, когда, простудившись, он стал являть собою модель еще менее соблазнительную, чем обычно; 4 сентября 1844 года он пишет:

«Не захотите же вы при помощи вашей благосклонной кисти запечатлеть меня для потомства с таким чудовищным носом, каким я могу похвастаться в настоящий момент...»

Сеансы позирования продолжались подолгу, потому что во время них он болтал без умолку, обсуждая с госпожой Мари проекты социальных реформ, насчет которых они вполне сходились во мнениях; он просил жену Макса играть на фортепиано всякие

* Милья Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ-позитивист, экономист и общественный деятель. — *Прим. ред.*

мелодии и мурлыкал, как большой кот, наслаждаясь уютной атмосферой и близостью с той, с кем еще не решился объясниться.

Только 30 апреля 1845 года он написал ей первое письмо. За ним последовало много других — почти сотня в продолжение года.

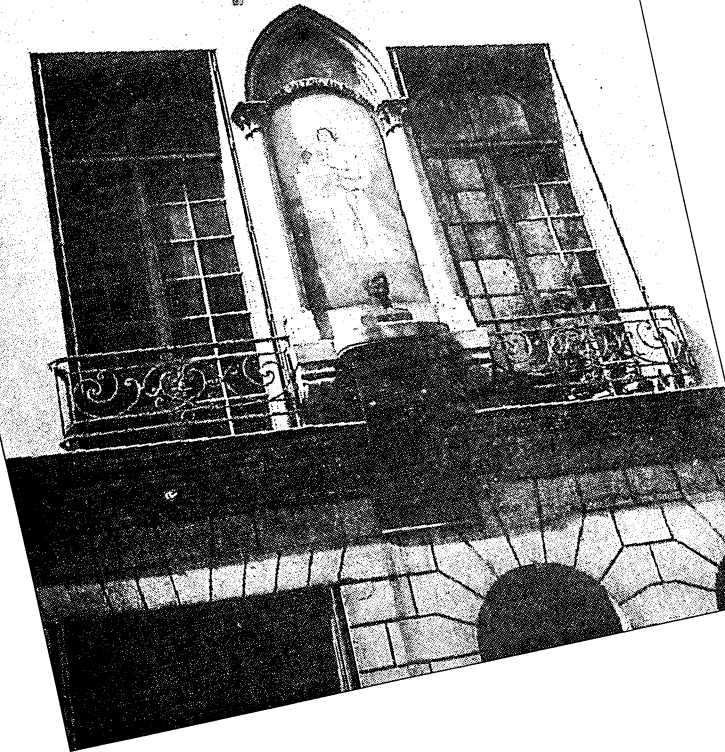
И здесь снова проявилась та двойственность его природы, которой он был обязан огромной разнице в характерах родителей. С одной стороны, он был мужчиной, влюбленным, как школьник, и полным необузданных желаний, которого страсть, должно быть, затягивала так, что он терял контроль над собой, а с другой — в нем просыпался своего рода бюрократ, который снимал копии с посылаемых им писем, нумеровал их и регистрировал в особой тетради. И почерк был одинаково ровным с начала до конца, каким бы жаром и какими бы страстными призывами ни заполнялись строчки.

До чего же они любопытны, эти письма, и как же в них проявляется автор! Они совсем маленькие — едва с четвертушку листка из школьной тетради, сложенного пополам, и когда Конт вкладывал такое письмо в конверт (а это случалось далеко не всегда: конверт часто заменяла последняя страница, в которую были завернуты предыдущие), оно становилось размером с нашу современную визитную карточку.

Вид этих посланий, копии которых тщательно пронумерованы автором, больше говорит о человеке, чем любое психологическое исследование, и потому они в равной степени смешат и трогают.

Предлогом для первого письма — ведь нужен был какой-то предлог! — стало то, что Конт дал Клотильде почитать перевод «Тома Джонса» Филдинга — роман, который он считал одним из литературных шедевров.

L'AMOUR POUR PRINCIPE. ET L'ORDRE POUR BASE. LE PROGRÈS POUR BUT.



Дом на улице Пайенн, где умерла Клотильда де Во.
Фото Пьера Марешала.

Назавтра Клотильда вежливо поблагодарила — свойственным ей тоном, вполне отвечающим духу времени:

«Поскольку ваше превосходство не мешает вам оказывать услуги окружающим, я льщу себя надеждой, что смогу обсудить с вами этот маленький шедевр...»

Конт, у которого нашелся наконец повод для регулярной переписки, немедленно ответил благодарностью на ее благодарность, но на этот раз, если можно так выразиться, позволил себе сразу взять быка за рога:

«Печальное совпадение наших личных судеб ведет нас с вами к особенному сближению...»

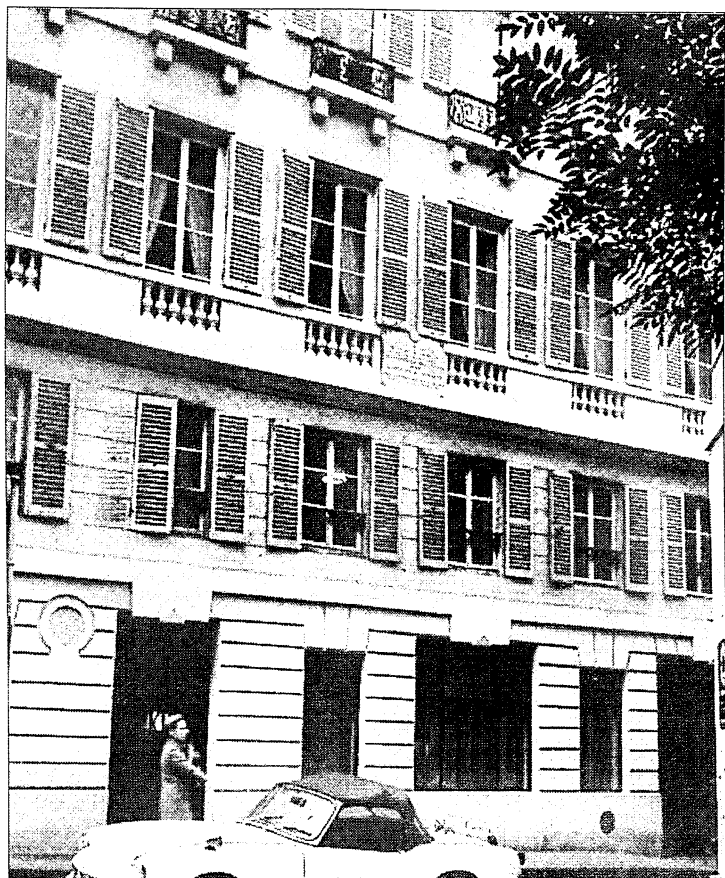
Все дальнейшее было посвящено разъяснению этого и без того достаточно прозрачного намека:

«Я получаю большое удовольствие, встречаясь с другими членами вашей семьи, но мне бы очень хотелось, чтобы между мною и вами было нечто большее...»

Некоторые утверждают, что, строя свои эпистолярные отношения с Клотильдой, Конт использовал свой обычный метод работы: составлял по зрелом размышлении план, который затем требовалось только неукоснительно выполнять. Таким образом, он с первого же дня знал, когда и о чем попросит и какую тактику будет применять; он попросту забыл, что любовь женщины — не философская книжка и не укладывается в рамки теории.

Отныне всякий поступок и любой жест Клотильды имели для него безмерное значение; кажется, что с началом переписки у него забрезжила надежда.

13 мая после ужина Макс решил пойти повидаться с Контом, чтобы выяснить с ним какой-то профессиональный вопрос. Стояла прекрасная пого-



*Дом Огюста Конта на улице Месье-ле-Пренс.
Фото Пьера Маршала.*

да, было еще не поздно: в ту пору ужинали в шесть часов, и ничего странного не было в том, что Клотильда попросила брата взять ее с собой. Она видела в посещении Конта лишь повод для приятной прогулки — ведь Париж полон очарования между Марэ и улицей Месье-ле-Пренс, и легко себе представить брата и сестру, ведущих на ходу неспешную беседу, чуть расслабившись от нежности весенних сумерек.

У Конта были в этот вечер Лафитт и еще один из учеников философа. Разговор между четырьмя мужчинами быстро превратился в дискуссию по вопросам философии и математики, и Клотильда ужасно скучала.

В строгом рабочем кабинете понемножку темнело, а освещение было скудным: две свечи на письменном столе, отражавшиеся в зеркале между окнами, и еще по одной — в каждом из бра с двух сторон камина... Не слишком веселая обстановка...

Вопреки своему обыкновению, Конт не пытался завладеть разговором. Он буквально разрывался на части: любимая впервые пришла к нему в дом, а он не может уделить ей внимания!

Когда визит был закончен, молодая женщина вздохнула с облегчением и поклялась себе никогда больше не сопровождать брата в это мрачное место.

Но хозяин дома, который всю ночь глаз не сомкнул, на следующий же день утром послал ей записку с мольбой извинить его за «пустой и унылый прием». Затем, без всякого перехода, в том же самом письме он попросил разрешения прийти к ней на улицу Пайенн.

Безусловно, Конт прекрасно осознавал смелость своей просьбы: не надо забывать, что дело происходило в 1845 году, и хотя Клотильда жила одна, в

собственной квартире, она не была, что называется, эмансипированной женщиной — между Клотильдой де Во и Жорж Санд* лежала целая пропасть традиций и предрассудков!

Из осторожности Конт смягчил свою просьбу, добавив к ней следующее:

«Если по каким-то причинам, которые я приму с почтением, даже и не пытаюсь проникнуть в их суть, вы предпочитаете, чтобы я навещал вас только у ваших почтенных родственников, умоляю вас: скажите об этом откровенно, и я сумею удовлетвориться этой несовершенной заменой».

Клотильда отреагировала на его письмо так, как сделала бы всякая молодая женщина, отстаивающая свою независимость, но четко обозначающая границы дозволенного:

«Положение одинокой женщины не позволяет мне часто принимать у себя мужчин, но для некоторых я делаю исключение и буду счастлива, если вы окажетесь в их числе...»

Как хорошо умели писать в те времена и как много сказано в этих нескольких строчках, — даже то, о чем можно было только догадываться: Клотильда явно не проявила большого энтузиазма в ответ на просьбы философа и выказала в своей записке почтение, весьма далекое от тех чувств, о которых он мечтал.

Конт обнаружил это письмо на следующий день, вернувшись домой после очередного визита на улицу Паве; он вернулся весьма довольный собой, поскольку, чтобы сгладить плачевное впечатление, оставленное накануне, высказал себя особенно блестящим собеседником. Он был влюблен, говорил о любви и

* Жорж Санд (Аврора Дюдеван; 1804—1876) — французская писательница, образец свободомыслия. — *Прим. ред.*

выдал формулировку, которая восхитила и его самого:

— *Невозможно постоянно мыслить, но можно постоянно любить...*

Эта фраза показалась ему настолько четким выражением его философии, что, немного изменив, он вынес ее на фронтиспис своей книги «Рассуждения о позитивизме в целом».

«Можно устать от мыслей и даже от поступков. Но нельзя устать от любви...»

Вот лучшее свидетельство силы любви: одним махом она свела на нет целое двадцатилетие, отданное разработке научного метода, и принести этот метод в жертву теории, которая, мягко говоря, не имеет к науке никакого отношения! И это не единственное противоречие философии Огюста Конта.

Этот вечер 16 мая, когда удачная фраза Конта возвестила начало эры религиозного позитивизма, произвел сильное впечатление на всех присутствовавших. Клотильда и ее невестка сразу же восприняли эту теорию, дающую простор мечте и романтике; госпожа Мари подошла к ней с гуманистических позиций и одобрила как выражение милосердия; зато Макс был потрясен и взволнован этой переменной во взглядах своего педагога, который, казалось, разом свел к нулю все усилия, предпринимавшиеся им до сих пор, чтобы отбросить всякую метафизику.

Действительно, в тот день апостол позитивизма сделал шаг в направлении мистицизма: мы увидим, до какой степени этот мистицизм окажется пагубным для него в последние годы жизни.

Чего же удивляться тому, что, заметив в тот знаменательный вечер вспыхнувший в глазах любимой женщины огонек восхищения и поняв слишком

буквально приглашение посетить ее, он пошел еще дальше. Теперь он уже выражается вполне недвусмысленно, обрушивая на Клотильду все пламя своей страсти.

«...Насколько их смутная философская энергия (речь идет о его работах) далека от того, чтобы удовлетворять мою истинную нужду в привязанности!.. Какой драгоценный контраст предоставляет мне она (его тогдашняя ситуация) с эмоциональным гнетом, который я, вопреки своей воле, испытывал в течение пятнадцати лет! Эти драгоценные чувства, эти интимные излияния, эти восхитительные слезы, все эти собранные вместе свидетельства нежности, которые можно, скорее, почувствовать, чем описать, способствуют сегодня — в тишине моих бесконечных ночей — продолжению моего физического и душевного беспокойства... Но я ни за что не променял бы эту изумительную бессонницу на самое крепкое, какое только возможно, здоровье...»

Клотильда, у которой несколько захватило дух от этого гусарского натиска, не ответила на его письмо, да и что она могла ответить? Но это подтолкнуло Конта еще через день, 20 мая, снова написать ей:

«Я не сомкнул глаз ни на мгновение и на сей раз окончательно убедился, что этим душевным волнением обязан движениям моего сердца... Ваших двух дорогих мне записок оказалось достаточно, чтобы возбудить все мои одинокие мечты...»

На следующий же день он посылает еще одно письмецо, чтобы извиниться за «каждодневные излияния», и Клотильда наконец отвечает ему, чтобы расставить все точки над «i»:

«Я слишком много страдала, чтобы не быть, по

меньшей мере, искренней, сударь, и если я не ответила на ваше субботнее письмо, то только потому, что оно вызвало у меня тягостное чувство, которого я бы не смогла от вас скрыть.

Принимая вашу дружбу и вашу заинтересованность во мне, признаюсь, я верила, что таким образом смогу поспособствовать вашему и моему счастью, и мне были мучительны опасения, что это приведет к обратному результату... Вот уже год, как я спрашиваю себя каждый вечер, хватит ли у меня сил прожить завтрашний день, — а разве можно с таким настроением решаться на безрассудства?...

...Я прошу вас призвать на помощь все ваши высокие достоинства... Избавьте меня от переживаний, как я вам желаю избавиться от них...»

Эти несколько отрывков позволяют вполне понять тон ее письма — тон порядочной женщины, несколько шокированной силой обрушившейся на нее страсти.

Конт был потрясен этим посланием, но поскольку во всем, что было связано с Клотильдой, он был лишен какой бы то ни было проницательности, то написал ей снова, чтобы признать: да, он немного поторопился, но надеется, что она поймет «его действительно благородные побуждения, разглядев их за неопытностью и стремительностью».

От ответа Клотильды должно было зависеть будущее, во всяком случае, ее собственное.

Попробуем поставить себя на ее место.

Мы знаем, что у нее не было денег, кроме тех, что посылал ей австрийский дядюшка господин де Фикельмона; что она страдала, не находя у близких никакого понимания, а оно было ей иногда гораздо нужнее их привязанности; что, наконец, она была,

как мы сказали бы сейчас, сильно травмирована остракизмом, которому подвергло ее общество в связи с поведением мужа.

И вот ей дарит свое благоговение (слово не слишком сильное!) известный, умный человек, который сможет ею руководить и, кто знает, может быть, откроет перед нею двери в литературную карьеру, к чему она так стремилась... Благодаря ему она не будет больше чувствовать себя одинокой — искушение, перед которым трудно было устоять.

Она не могла не заметить настойчивости, с которой ее поклонник намекал не только на духовное, но и на физическое единение. Но это было для нее исключено по двум причинам: во-первых, потому, что она совершенно не была увлечена Контон, а во-вторых, она отказывалась от физической близости из-за того, что в ее глазах как для философа, так и для нее самой это было бы прелюбодеянием, а следовательно — грехом.

Можно без труда догадаться о том, как она провела эту ночь накануне ответа и насколько ее бессонница отличалась от той, на которую жаловался ее воздыхатель. В конце концов она решила не сжигать мосты и сделала это с присущими ей грацией и достоинством:

«Благодарю вас за ваше последнее письмо, сударь. Я всегда с большим удовольствием стану видеться с вами и надеюсь, что мы сможем избежать тем, способных поставить нас в затруднительное положение. Я не смогу быть у себя дома завтра, только в следующие дни, — пойду навестить больную подругу. Приходите на улицу Паве — будем музицировать... Я собираюсь провести там почти все дни до родов (речь идет о родах ее



*Огюст Конт в окружении лиц своей матери,
Клотильды и Софи.
Фото Роже Виолле.*

невестки). До свидания, дорогой мой господин Конт, верьте в мое расположение и сами сохраните ко мне дружескую привязанность.

Клотильда де Во, урожденная Мари».

Какое изящество и какое, пусть даже и невольное, лукавство!

Это письмо настолько обрадовало адресата, что он даже заболел. Болезнь помешала ему увидеться с Клотильдой, но, как и следовало ожидать, не помешала написать ей, причем не один раз. И в этих письмах снова во весь голос звучит его навязчивая идея:

«Вы должны были, как и все, заметить во мне эту поражающую воображение исключительность, которая имеет куда большее отношение к сердцу, чем к рассудку, — эту редкую (хотя не я единственный ею обладаю) способность, находясь в возрасте полной физической зрелости, сохранить всю непосредственность и горячность юности. При вашем абсолютном неведении о подобном исключительном состоянии — какими же глубокими должны были быть уважение и доверие, которые я имел счастье с самого начала вам внушить, чтобы суметь, не дрогнув, выстоять под ударом, который другой женщине — не такой пронизательной или не такой чистой — нанес бы, возможно, непоправимый ущерб...»

Быть может, кто-то скажет, что мы приводим здесь слишком много отрывков из писем. Но ведь они, как ничто другое, способны показать, в какое гигантское недоразумение вылилась вся эта история. Употребляя современное выражение, мы должны были бы сказать, что два наших героя «были настроены на разную длину волны».

Клотильда чувствовала, что должна что-то сде-

лать, чтобы стало ясно: она все понимает, хотя предпочла бы не понимать, — и для своего ответа от 29 мая она находит очаровательную формулировку:

«Давайте-ка говорить лишь о том, что у нас на уме, и постараемся, чтобы наших беседах было побольше живости и веселья».

Какие прелестные выражения она нашла, чтобы поставить на место настойчивого поклонника! Но требовать от Конта, чтобы он понял их смысл, было все равно что заставлять слепого прозреть: существовали слова, которые Конт не умел прочесть.

Наступил день Святой Клотильды — отличный повод преподнести молодой женщине подарок, и Конт не упустил такой возможности: он написал для нее «Философское письмо об общественном увековечении» и послал в качестве подношения, присовокупив, естественно, записку, где, помимо всего прочего, говорилось:

«Итак, вы сможете найти здесь первый пример более тесного единства, которое благодаря нашей драгоценной дружбе, надеюсь, мало-помалу установится между полетом самых высоких моих мыслей и порывами самых чистых чувств...»

Огюст Конт был не из тех, кто сдается!

Несмотря на необычность подарка, Клотильда очень ему обрадовалась. Да и какая молодая женщина, особенно мечтающая о литературной карьере, не почувствовала бы себя польщенной, видя, что известный писатель настолько ценит ее мнение, что доверяет ей прочесть свой труд, который, как она знала, стоил ему немалых усилий?

Этот своеобразный манифест еще больше, чем любовные письма, свидетельствует о том, насколько страсть способна перевернуть вверх дном самые

выстраданные теории: в этой статье впервые в творчестве Конта материализм уступает место религии.

Мы не станем вдаваться в содержание этого труда: повторим еще раз — это не входит в наши задачи.

Существенно здесь совсем другое: Клотильда была настолько взволнована подарком, что поспешила поделиться своей радостью с матерью, и дамы решили отправиться к философу домой, чтобы лично поблагодарить его. Для приличия они прихватили с собой Макса.

— Я пришла, сударь, чтобы выразить признательность за ваш чудесный подарок...

Но Конт не слушал любезных фраз. Единственное, что имело для него значение: Она здесь! Она сама пришла в его дом! И в этот момент он твердо верил, что выиграл партию.

Однако Клотильда была женщиной умной и обладала отменной интуицией; она догадывалась, каковы могут быть последствия этого визита вежливости, хотя и предусмотрела все меры безопасности, пригласив в сопровождающие мать и брата.

Пришлось ей снова прояснить ситуацию, и она сделала это, хотя признание далось ей так же тяжело, как жестоко оно прозвучало для Конта, — признание в том, что она любит другого человека.

«Во имя искренней привязанности, которую я питаю к вам, умоляю вас, постарайтесь преодолеть склонность, способную сделать вас несчастным. <...> Вот уже два года, как я люблю человека, которого отделяет от меня двойная преграда. Я тщетно пыталась превратить это губительное чувство в материнскую, сестринскую нежность, в простую приязнь — ничего не вышло, эта любовь продолжа-

ет пожирать меня... Только тогда, когда я нашла в себе силы удалиться от него, я снова начала жить...»

Кто же этот человек, явившийся внезапно, как гром с ясного неба? Это Арман Марра, журналист, приехавший из Сен-Годена, полный южного пыла, заставившего его принять сторону так называемых революционеров, которым нравился его талант оратора и вожака масс. Он был красив: *«подвижный, с роскошной шевелюрой, с коротко подстриженными густыми усами...»*

Что было между ним и Клотильдой? Ничего. Можно даже сказать почти с уверенностью, что он так никогда и не узнал о любви, которую внушил молодой женщине, — любви безнадежной, потому что он был женат, а порядочность Клотильды в этом вопросе нам известна.

Их познакомил брат Клотильды: поскольку Арман был редактором газеты «Насьональ», молодая женщина хотела показать ему свои работы. Из вежливости он согласился прочесть — и пообещал при случае предоставить автору место на страницах своего издания.

Любила ли она Марра на самом деле или просто пользовалась им как щитом, обороняясь от атак чересчур настойчивого поклонника?

На этот вопрос трудно ответить: все поведение Клотильды было построено на нюансах, она то испуганно отшатывалась, то робко возвращалась... Это была самая настоящая «трепетная лань».

Во всяком случае, ее признание произвело желаемый эффект на адресата, и тот сразу же ответил на него дивным посланием:

«Набравшись мужества, я позволю себе, сударыня, сердечно поблагодарить вас за эту мучительную для вас исповедь... Ради вас и ради себя самого я

должен приложить все силы, чтобы уничтожить единственную в моей жизни настоящую любовь... Каким бы суровым ни оказалось это испытание, я надеюсь, вы признаете, что я выдержу его достойно».

И, желая ответить доверием на доверие, он открывает ей то, что никогда не переставало его мучить, потому что он боялся, что этот кошмар обрушится на него вновь:

«Да, я наберусь мужества повторить вам: я был безумцем, совершенно сумасшедшим, в течение большей части 1826 года, то есть в возрасте двадцати восьми лет...»

Возможно, это был самый волнующий подарок из всех, какие он ей когда-либо сделает: не так уж трудно заявить, что сходишь с ума от любви, но для такого человека, как Конт, признаться в такой болезни действительно означало полностью раскрыть душу.

И, словно цепляясь за единственную область, где он чувствовал себя уверенно, — за свою философию, — он заканчивает письмо величественным и поучительным финалом: советы, которые он дает молодой женщине, по поводу развития ее литературной карьеры, могли бы еще и сегодня оказаться полезными для начинающих писателей.

Но Клотильда ему не отвечает. Она достигла наконец своей главной цели, и все остальное отошло на второй план: Марра взял предложенную ему начинающей писательницей новеллу «Люси», и она должна была появиться на страницах «Насьональ» 20 и 21 июня.

Каждый, кто написал в своей жизни хоть одну поэтическую строчку, поймет, что творилось в душе Клотильды, когда она увидела свое творение напе-

чатанным. Ей грезилось сверкающее будущее, которое принесет ей не только славу, но еще и деньги, а это означает — независимость, независимость от всех, в том числе и от Конта.

А тот, едва ознакомившись с ее произведением, естественно, тут же взялся за перо:

«Дорогой мой друг, я не смог воспротивиться потребности немедленно отблагодарить вас за сладкие слезы, которые заставила меня пролить ваша прелестная новелла, но не могу не упрекнуть вас за то, что вы не угостили меня ею прежде публики...»

Что тут скажешь? Любовь слепа! Ведь в действительности «Люси» представляет собою не более чем обычное дамское рукоделие — конечно, довольно изящное, но слащавое и сентиментальное вполне в духе того времени, когда царил «keepsake»*. А ведь сюжет этой новеллы, который являлся всего лишь пересказом собственной истории Клотильды, мог бы послужить основой для произведения сурового и правдивого — но молодая женщина побоялась или не сумела этого сделать: она просто выражала средствами литературы то, что было ее жизнью. И ее нельзя за это упрекать — первое произведение всякого начинающего писателя всегда автобиографично, но важно, как материал подан, а это уже зависит от эпохи и от моды, которая в ту пору была голубой и розовой...

В любом случае, главным достоинством этой новеллы было то, что она сделала Клотильду хоть на какое-то время счастливой. Ее родственники, уважавшие печатное слово, наконец признали за ней литературные способности, знаменитый философ

* «Keepsake» (англ.) — слащавый, сентиментальный стиль. — Прим. пер.

плакал, читая ее прозу, и даже сам господин Марра признал вещь достойной публикации.

А кроме того, Клотильда получила гонорар, что, как мы знаем, было для нее существенно. С присущей ей деликатностью молодая женщина намекнула на это, отвечая на комплименты своего воздыхателя:

«Берусь за перо, чтобы рассказать о мгновениях счастья, которое я испытала, получив ваше любезное письмо, сударь. «Насьональ» сделал мне прекрасный подарок в обмен на заложенные несчастной Люси, и я надеюсь, что ее младшего брата ожидает столь же радушный прием. Успех для меня — двойное удовольствие, потому что мои родственники не слишком богаты, хотя и очень добры».

Ей хотелось, чтобы весь мир радовался вместе с нею, и она выражает это желание со всей непосредственностью, на какую была способна:

«Хочу надеяться, что вы уже хорошо себя чувствуете и что вы настолько счастливы, насколько можно быть счастливым в этом печальном мире — разумеется, без ущерба для философии».

День за днем исследуя течение того, что для одного из наших героев являло собою всепоглощающую страсть, а для другой — всего лишь несколько обременительную дружбу, мы хотим четко обозначить место каждого из персонажей, показать их способ чувствовать и выражать свои чувства; и ничто не способно помочь нам выполнить эту задачу лучше, чем их собственные письма, которые, если опубликовать их целиком, одни составили бы целый том. Впрочем, он существует — это «священная книга».

Вот почему с этих пор мы ограничимся лишь изложением фактов, но сквозь них, как водяные

знаки на бумаге, проступят строки их многочисленных писем.

Приведем лишь еще один отрывок, который, как нам кажется, имеет в этой истории большое значение.

В конце июля «Насьональ» предложил Клотильде вести постоянную колонку — обзор женских романов. Она была на седьмом небе. Истина обязывает нас отметить, что Конт был куда менее счастлив: он ревновал, ревновал к Марра. Вместо того чтобы радоваться тому, что перед молодой женщиной открывается путь, способный принести ей финансовую независимость, он терзался от сознания того, что этой возможностью его возлюбленная обязана его сопернику.

Он не сумел скрыть свои чувства даже от Марра. Столь неприкрытая ревность позабавила журналиста — и заставила другими глазами посмотреть на ту, которая до сих пор не привлекала особого его внимания. Однако Клотильда быстро поставила его на место, и все осталось как прежде.

Теперь Клотильда была уверена, что заработает себе на жизнь. Правда, пока денег у нее не было, а просить аванса в редакции ей не хотелось.

А ситуация у нее была сложной: деньги, полученные за «Люси», ушли на врача и лекарства, а ей нужно было приодеться по случаю крещения новорожденного племянника; просить денег на новое платье у матери она не осмеливалась.

И тогда она написала Конту:

«Дорогой господин Конт,

Сегодня вечером я иду в гости вместе со своим братом. Чтобы возместить потерю, я проведу завтра с вами два часа. Надеюсь, что не стесняю вас тем, что пишу так поздно... Возможно, я вынуждаю вас

играть в моей жизни роль своего рода доброго гения, но вы действительно кажетесь мне таким добрым и таким деликатным, что я собираюсь попросить вас об одной услуге, которую способен оказать лишь близкий друг. Мне пришлось немного полечиться, это обошлось дорого и поставило меня в несколько стесненное положение, которое, возможно, вскоре еще больше осложнится. Не могли бы вы одолжить мне пятьдесят франков на несколько недель?..»

Факт налицо — ясный и недвусмысленный: она просит денег у того, кто хотел бы видеть ее своей любовницей. Но, зная ее, можно сомневаться: это — самое неопровержимое доказательство того, что она не любит Конта как мужчину и даже и не думает о том, чтобы однажды уступить его желаниям. В этих нескольких строчках она ясно показывает, какое место хотела бы отвести ему в своей жизни: отношения между ними должны быть чисто дружескими и одновременно — с его стороны — отеческими.

Он и не обманывался на этот счет. Он послал ей нужную сумму и сделал это таким образом, что ни для какой двусмысленности в понимании этого поступка попросту не оказалось причин.

Между ними установился в высшей степени духовный союз, а семейные события только придали ему прочности.

Юная жена Макса с большим трудом произвела на свет мальчика. Конт послал на улицу Паве свою верную няньку Софи, чтобы она избавила госпожу Мари-мать от всех домашних хлопот. Он был настолько предупредителен и самоотвержен, что — поскольку обычай требовал, чтобы пару крестных составлял кто-либо из членов семьи и человек,

которому таким образом выражали почтение и благодарность, — философа попросили стать крестным отцом, а Клотильда в качестве крестной матери должна была принять младенца у купели.

Но пожилой влюбленный, дрожа от того, что его рука соединилась с рукой его любимой, когда они вместе держали свечу, совсем позабыл о крещении: эта церемония стала для него как бы неким мистическим венчанием. Дело происходило 22 августа 1845 года в храме Святого Павла на улице Сент-Антуан, и на Клотильде было новое платье из легкой ткани в стиле «помпадур»: мелкие цветочки на светлом фоне...

После трапезы, когда по традиции положено целоваться, Огюст тоже, опять-таки дрожа всем телом, запечатлел поцелуй на щеке молодой женщины.

Но у ее родственников, прежде с головой погруженных в хлопоты, связанные с родами, и страхи по поводу здоровья ребенка, в этот день открылись глаза на отношение Конта к Клотильде. Семейство было обеспокоено: этот человек, кажется, совершенно обезумел от любви, и раз уж он не мог жениться на Клотильде, лучше было держать его подальше.

Обезумел от любви... Да, для этого выдающегося ума овладевшая им мистическая экзальтация и в самом деле оказалась сродни психическому расстройству: он преклонял колени перед креслом, в котором дважды сидела молодая женщина, убирал его цветами, а позже сделал из него нечто вроде алтаря... Это была религия, чьим источником служило физическое влечение, которое, будь оно удовлетворено, вернуло бы своему обладателю всю ясность рассудка.

Но психику Конта истощала не только сама Клотильда своими колебаниями, которыми были всегда отмечены их отношения, — он познал теперь и суровое порицание семьи Мари, он страдал от холодности, с какой его стали принимать, и страшился разлуки с любимой.

Молодая женщина видела, что Конта охватывает безумие, она знала причину этого, осознавала свою ответственность, и в одном из ее писем сентября 1845 года наконец появилась долгожданная фраза:

«Я сделаю то, что вы пожелаете...»

Но когда 7 сентября Клотильда пришла к Конту, очень хорошо понимая, на что идет, в какой-то момент она вдруг опомнилась и бежала с улицы Месье-ле-Пренс, так и не успев согрешить.

И сама же назавтра дала своему поступку жестокое объяснение:

«Я не способна отдаться без любви, вчера я поняла это...»

Снова произошло грандиозное недоразумение и снова из-под пера философа полились рассказы о его страданиях, даже самых интимных; в конце концов, не выдержав, молодая женщина дала ему совет, совершенно невероятный для нее самой и для того времени:

«Не изводите себя воздержанием, раз уж оно для вас так мучительно...»

Конт понял, что проиграл: он заболел и принял решение страдать молча, не выставляя себя на посмешище.

А реакция Клотильды оказалась естественной для большинства писателей: она взялась за роман под названием «Вильгельмина», где излагала всю эту любовную историю.

Но обстановка вокруг нее вовсе не способство-

вала вдохновению. Родственники чрезвычайно ревниво относились к тому, что Клотильда показывает Конту плоды своего ежедневного труда, и к тому же боялись, что эта книга получится еще более автобиографической, чем первая. Марра, со своей стороны, не собирался печатать «Вильгельмину» по двум причинам: во-первых, он не был удовлетворен тем, как Клотильда справляется с колонкой, которую он ей поручил вести, а во-вторых, на него самое неблагоприятное впечатление производила дружба Клотильды с Контом, и он опасался, что вместо трогательной или забавной истории читатели найдут в этом романе изложение теории позитивизма.

Все это вместе трудно было назвать творческой атмосферой.

Таким образом Клотильда попала в порочный круг: чтобы лечиться, нужны были деньги; чтобы получить деньги, надо было закончить «Вильгельмину» — а на это у нее не оставалось больше сил — ни моральных, ни физических...

Тогда она решила: будь что будет! Она слишком устала...

Что бы ни говорили родители — они ведь не понимают, насколько расшатано ее здоровье, — она позволит пожилому господину заботиться о ней, возить ее в Итальянскую оперу, ухаживать за ней, когда однажды после возвращения со спектакля у нее начнется кровотечение, и платить за нее, если сама она будет не в состоянии уладить свои дела... Впрочем, теперь ей уже нечего было бояться: он не выказывал никаких чувств, кроме благоговения, и, должно быть, для нее стали лучшим лекарством те полные обожания и поклонения слова, которые он писал ей каждый день.

Потом у нее началось кровохаркание, и это парадоксальным образом вновь пробудило любовные вожделения Конта. Он опять начал изводить ее — устно и письменно; однажды он дошел даже до того, что устроил ей сцену с упреками, а потом не знал, как добиться прощения. В полном изнеможении она даже написала ему однажды: «*Я устала страдать и причинять страдания*»; соглашаясь на то, от чего она всегда отказывалась, она надеялась наконец обрести покой. Конт отверг этот отчаянный дар, но признался, что душу бы отдал за то, чтобы стать молодым и красивым...

Болезнь не отступала. По совету Конта Клотильда сменила врача: философ страшно ревновал к прежнему, понимая, что тот влюблен в красавицу пациентку. Место доктора Шере занял доктор Пинель-Граншан. Клотильда надеялась, что новое лекарство исцелит ее, позволит вернуться к незаконченному роману... Но от прописанной ей настойки у нее началось воспаление кишечника.

Была и маленькая радость: приход госпожи Марра, которая явилась узнать, в каком состоянии работа, и сообщила, что «Вильгельмину» ожидает самый доброжелательный прием в «Насьональ». Конт устроил сцену, узнав об этом визите, и это стало причиной приступа удушья у больной.

Перепугавшись, он предложил перевезти ее к себе, чтобы ухаживать за ней постоянно, но она не согласилась.

1 января 1846 года вся семья отмечала приход Нового года в доме на улице Паве; очевидно, по случаю праздника по отношению к Клотильде и Конту было объявлено временное «сладкое перемирие».

Но на следующее же утро госпожа Мари явилась к дочери с предложением возобновить принцип общего стола. Решение было вызвано экономическими причинами, но старая дама усматривала здесь и способ вновь обрести хоть какое-то влияние на дочь. Она получила категорический отказ, за что и отомстила, цедя по каплям «австрийский пенсион», распорядительницей которого она была.

Так Клотильда опять попала в порочный круг, от которого так страдала: здоровье, деньги, работа.

Конт старался, как мог, помочь ей в решении финансовых проблем. Он послал Софи ухаживать за больной, чтобы освободить ее от каких бы то ни было усилий, а в особенности — для того, чтобы получать о ней постоянно самые свежие новости: ведь, не желая докучать любимой, он сам появлялся на улице Пайенн только раз в неделю... Правда, писал ей ежедневно — по одному, а то и по два письма.

Все, чего он просил, — это чтобы Клотильда в обмен тоже ужинала у него раз в неделю. Она согласилась, но болезнь так и не позволила ей выполнить свое обещание.

Как же она мечтала выздороветь! Как ей хотелось закончить «Вильгельмину» и увидеть ее напечатанной! Так она доказала бы матери, что способна жить литературными заработками и не нуждается ни в чьей поддержке... Даже в пенсоне «австрийского дядюшки»!

Наконец, 8 марта она написала последнее письмо Конту, и в нем прозвучала последняя фраза в этой столь изобильной переписке: «Примите заверения в вечной моей нежности...»

Ничего, кроме нежности, — непреходящей нежности, того самого чувства, что связывает в конце

жизни двух людей, любивших друг друга долгие годы...

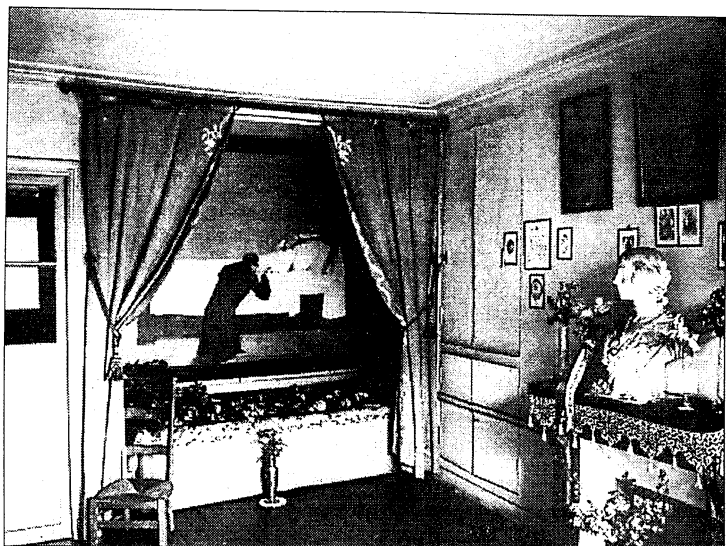
Вскоре началась агония, и вместе с ее приходом возобновилась борьба, которую уже с некоторых пор вели Конт и родственники Клотильды. С одной стороны — родители, брат, невестка; с другой — Огюст Конт и Софи... А ставкой в этой битве был последний вздох Клотильды.

Каждая из сторон пыталась навязать больной своего врача и критиковать советы того, которого нанял «противник». Особенно усердствовал философ, чье упрямство в данном вопросе, как и во многих других, переросло в навязчивую идею и имело самые пагубные последствия: совершенно очевидно, что методы доктора Граншана привели к просто катастрофическим результатам.

Госпожа Мари, сердце которой, по выражению ее дочери, «ни одной секунды не билось ради нее самой», притворялась, что ничего не замечает, не желая обострять ситуацию, и молча принимала все: и присутствие пожилого влюбленного у постели Клотильды, и его театральные позы, и манеру внезапно бросаться на колени, чтобы поцеловать покоившуюся на простыне руку, и его преувеличенные стенания.

Поведение Конта было в высшей степени экстравагантным. Он дошел даже до того, что, узнав от врача, что дни Клотильды сочтены, тут же сообщил об этом больной. Правда, услышав печальное известие, он стал бегать по маленькой квартирке с такими жуткими воплями, что она вполне могла догадаться обо всем и без его сообщения.

2 апреля умирающую соборовали. Макс не захотел присутствовать при совершении таинства по двум причинам: во-первых, в силу своих антирелиги-



*Комната в доме на улице Пайенн:
здесь умерла Клотильда де Во.
Фото Пьера Марешаля.*

озных убеждений, а во-вторых, его смущало то, что в комнате находился его бывший учитель. И все время церемонии брат Клотильды провел в коридоре.

Что же до коленопреклоненного Конта, он видел в этом церковном обряде продолжение того священнодействия, что началось во время крещения племянника Клотильды и, как ему казалось, скрепило их союз.

К его огромной радости, — неведомо, каким путем, — ему удалось добиться права ухаживать за Клотильдой в течение следующей ночи.

Утром он был еще более возбужден, чем обычно, — видимо, сказались страдания и бессонница. Бедняга напоминал зверя, охраняющего свою добычу, только вот что не кусался.

Последовала тягостная сцена, во время которой он попытался выгнать госпожу Мари из спальни дочери. Но материнская любовь взбунтовалась, и прямо у изголовья Клотильды разразилась ожесточенная перепалка. Наконец старый капитан Мари, которого страдания смягчили, сумел увести Конта из комнаты. Вообще эти двое хорошо ладили между собой, и бывшему солдату удалось найти нужные слова, чтобы успокоить философа.

Однако при виде Макса, отдохавшего в гостиной, тот снова пришел в ярость. Разгорелся скандал еще почище предыдущего; Конт с горячностью отстаивал свои права на первенство в уходе за Клотильдой: его финансовая помощь, его моральная поддержка... Он грубо критиковал поведение семьи Мари и дошел даже до того, что в запальчивости обвинил Макса в сводничестве — якобы тот в силу неких недостойных причин способствовал связи Марра со своей сестрой.

Только лишь присутствие в соседней комнате умирающей помешало молодому человеку наброситься на своего бывшего учителя с кулаками; взяв себя в руки, он стал умолять отца заставить пылкого влюбленного замолчать.

Используя свое влияние на философа, капитан сумел убедить того уйти, пообещав позвать его, когда роковой исход будет близок.

И только благодаря этому госпожа Мари смогла провести с дочерью ее последнюю ночь. Но все в спальне Клотильды напоминало о человеке, которого несчастная мать теперь ненавидела: там не было ни одного предмета, включая брезентовую походную кровать, куда госпожа Мари время от времени ложилась отдохнуть, включая чашку с питьем, которую она подносила к губам дочери, — который бы не попал сюда с улицы Месье-ле-Пренс.

На следующее утро доктор Шере сообщил, что молодая женщина не доживет до вечера. Господин Мари, верный данному слову, послал за Контом; увидев из окна приближающегося философа, капитан предупредил близких, и те вышли из спальни, чтобы избежать нового скандала. Никого не замечая, Конт прошел через прихожую и гостиную и резким движением запер за собой дверь спальни, оставшись таким образом наедине с той, что собиралась его покинуть. Часы пробили полдень.

Больше трех часов родственники Клотильды провели у запертой двери, предпочитая унижение скандалу, способному отравить умирающей последние мгновения, которых оставалось у нее так мало.

Наконец в половине четвертого створки двери распахнулись. Появился Конт — с диким видом, с блуждающим взглядом: Клотильда только что скончалась.

И тут нельзя не вспомнить финальную фразу из «Люси» — ее единственной опубликованной новеллы, которой она так гордилась:

«Она была бы превосходной матерью и женой. Увы; видя, как она угасает на моих руках в том возрасте, когда можно и нужно жить, я с болью думал о том, как мало власти дано человеку, чтобы поправить зло, которое он же и совершил...»

Этимися словами могла бы закончиться история их любви, столь необычной и мучительной, сотканной из недоразумений и взаимного непонимания, — история, в течение которой пути Клотильды и Конта шли параллельно, так и не сумев соединиться в союзе, который, вполне вероятно, мог бы подарить им покой, своего рода счастье и — кто знает? — может быть, и здоровье.

Но не нашедшая удовлетворения любовь нарушила равновесие в жизни немолодого человека, и после смерти Клотильды эта дисгармония еще больше усилилась. Его снова охватило безумие, но на сей раз это было тихое помешательство, не представлявшее для окружающих никакой опасности и не требовавшее лечения в клинике. Свои последние годы Конт отдал религии, поклоняясь Клотильде как божеству. Он создал эту религию от начала до конца, он придумывал свои молитвы, свои догматы, свои обряды... Он даже назначил себя «папой».

Отказ молодой женщины от физической близости с ним привел его к отрицанию подобного акта вообще, и он стал мечтать о Золотом веке, когда женщина сможет произвести на свет дитя самостоятельно, без помощи мужчины. Постепенно эта идея привела его к созданию культа Девы-Матери, с которой отождествлял не кого иного, как свою возлюбленную.

В этом божестве образ Клотильды соединился для него с памятью о матери, Розали, и чертами его преданной служанки Софи.

Читая описание того, что он называл «позитивистской церковной службой», невозможно сдержать улыбку — такой галиматъей кажутся все эти формулировки, ссылки и цитаты, эти метания и порядок коленопреклонений, где смехотворность спорит с инфантилизмом. Но потом вспоминаешь, какой драмой была кончина любимой женщины для человека, который не верил в бессмертие души и именно поэтому так отчаянно цеплялся за проявления фетишизма, позволявшие ему сохранить в себе память о ней.

И нельзя не пожалеть этого человека, бредущего на кладбище Пер-Лашез, где, стоя над могилой Клотильды, он читает её письма, где рассказывает о своих новых работах, своих мыслях и поступках... Нельзя не пожалеть его, преклоняющего колени перед креслом в гостиной на улице Месье-ле-Пренс, — перед креслом, ставшим для него алтарем; и тем более — когда он сияет от радости, уверовав, что образ его возлюбленной трижды в день материализуется: теперь он, убежденный позитивист, не просто верит в призраки, но и сам создает их.

У него нет денег, он живет лишь на субсидии и пожертвования, не заботится о завтрашнем дне, ест все меньше и меньше, тщательно взвешивая продукты, чтобы не превысить установленную им для себя норму: он отказывается даже от посещения театра, бывшего для него единственной отрадой...

То, что он пишет — а он продолжает сочинять философские работы, — освещается каким-то новым светом, идущим изнутри, более глубоким и одновре-

менно менее реальным: мало-помалу этот человек, чувственный и земной до мозга костей, достиг почти абсолютной духовности.

Его представления об идеальном будущем, о всеобщем счастье — картина чисто умозрительная, и чем больше проходит времени, тем яснее это становится. Но Конт первый взглянул на общественные проблемы с позиций любви и — хотя бы только за это — разве не заслужил гуманного к себе отношения?

Он умер 5 сентября 1857 года.

Вокруг него почти никого не осталось: со своими научными противниками Конт рассорился, а его ученики и последователи, видя, что он отказался от всех своих теорий, покинули его, ушли один за другим.

На кровати в маленькой спальне, расположенной в глубине квартиры, лежало тело, казалось, очень старого человека. Между тем Огюсту Конту было всего пятьдесят девять лет. Но огонь, пожиривший его, испепелил философа до времени...

ЛЮСИЛЬ ЛУВЕ И АНРИ МЮРЖЕ

Улица Каннетт, 5
Улица Мазарини, 78

Консьерж дома № 9 по улице Трех Братьев в 30-х годах XIX столетия был, как и многие его собратья, портным, и звали его Габриэлем Мюрже. Горец из Савойи, он обладал всеми вытекающими отсюда достоинствами и недостатками: был трудолюбив, жаден до денег, угрюм, молчалив и упрям. Его жена, по имени Ортанс, была, напротив того, воплощенная кротость и нежность и обычно не решалась возражать мужу — кроме тех случаев, когда речь заходила об их сыне Анри.

Ребенок родился в 1822 году очень слабеньким и выровнялся только благодаря любви и заботам матери. Он был, пожалуй, даже красивее других детей. Мадам Мюрже ужасно им гордилась, и единственной целью ее жизни было всеми способами доставлять ему удовольствие. Чаще всего она баловала мальчика потихоньку от отца, который, будучи воспитан в строгости, не понимал, как можно растить сына по-другому.

Материнское воспитание сделало маленького Анри вежливым, спокойным и ласковым ребенком. Он не водился с уличными мальчишками, которые, могли бы стать ему товарищами по играм, а предпочитал, сидя на ступеньках лестницы, рисовать или рассматривать картинки, умиляя жильцов дома, которые,

проходя мимо, непременно угощали его конфетами или гладили по головке.

В доме, да и во всем квартале, его называли Васильком. Дело в том, что когда он родился, мать дала обет одевать ребенка только в голубое и в дальнейшем шила ему исключительно голубые костюмчики — надо сказать, гораздо более элегантные, чем полагалось бы сыну консьержа.

Мальчик был совершенно очарователен в своей блузе, стянутой поясом на бедрах, в длинных брючках и бархатном берете, украшенном шелковой кисточкой и сидевшем чуть набекрень на его светлых кудрях... Он был настолько очарователен, что позволил себе в десять лет влюбиться в дочь тенора Лаблаша, который жил на втором этаже. Та растянула связки, не могла, как обычно, выезжать вместе с отцом и отчаянно скучала, не имея другого общества, кроме собственной гувернантки. Чтобы развлечься, девушка потребовала привести ребенка, который, как ей было известно, всегда очень внимательно слушал, когда она играла на фортепиано. Она болтала и шутила с ним, не понимая, что разбивает ему сердце; но можно ли было принимать всерьез такие ясные детские глазки?

Позже, став знаменитой пианисткой, мадам Тальберг (так ее теперь звали) как-то сказала о нем:

— *Этот малыш так меня забавлял...*

Тепличное воспитание принесло свои плоды: к тринадцати годам Анри ничего толком не умел. Он весьма посредственно учился, был ленив и небрежен, а главное — не проявлял склонности ни к какому делу. Впрочем, его отец разом решил эту проблему:

— *Он станет портным, как я.*

Действительно, месье Мюрже начинал понимать: пора ему самому взять в руки воспитание сына,

результаты которого на данный момент представлялись ему катастрофическими. К тому же он любил свою профессию и считал вполне естественным, чтобы сын пошел по его стопам.

Естественно, он столкнулся с сопротивлением жены, которая мечтала, чтобы Анри вырос настоящим «баринном», и с полным непониманием сына, решительно не желавшего орудовать иголкой и ножницами.

Но глава семьи решил проявить твердость и усадил нового подручного рядом с собой, чтобы самолично проследить, как пойдут дела.

Было бы весьма удивительно, если бы начатые таким образом дела пошли хорошо. Честно говоря, они вообще никак не пошли, и споры между учителем и учеником становились все чаще и ожесточеннее.

Однажды на звук сердитых голосов в швейцарскую зашел господин Жуи. Он знал Анри совсем еще ребенком, был привязан к нему и, отдавая должное аргументам отца, все же обещал сам подыскать место для сына.

Так подросток стал мелким служащим в адвокатской конторе Каде де Шамбина, друга господина Жуи, где ему было положено жалованье в размере 30 франков в месяц.

Предоставленный самому себе, Анри вскоре открыл свое настоящее предназначение и стал пользоваться каждой свободной минутой, чтобы побегать по букинистам и прочесть все, что попадет в руки, опьяняясь зарождающимся романтизмом. Он написал свои первые стихи и показал их Потье*, своему однокашнику, который, хоть и был старше на четыре года, остался его другом.

* Потье Эжен (1816—1887) — французский поэт и политик, участник Парижской коммуны. — *Прим. ред.*

Любопытный персонаж этот Потье! Рабочий-поэт, каких много появилось в период между двумя революциями, он сочинял песни, орудуя рубанком, и чаще всего это были песни протеста. Имя его сейчас мало кто помнит, а ведь одно из его творений и по сей день электризует массы — это «Интернационал».

Он водил Мюрже в считавшиеся неблагонадежными кабаки, на стенах которых были развешены объявления: «Здесь запрещено говорить о политике, зато можно курить». Там собирались компании бунтовщиков, распевавшие мятежные песни. Мюрже подобные места не нравились, потому что он не чувствовал в рабочем классе никакой утонченности. Василек вырос, но сохранил склонность к элегантности и дилетантизму.

Однако в своей адвокатской конторе он все же нашел то, что бессознательно искал. Правда, не в работе, которая наводила на него тоску, а в обществе Пьера и Эмиля Биссонов. Эти молодые люди прекрасно знали тот мир, о котором в семье Анри говорили с насмешкой и неодобрением, — мир художников и артистов. Едва отбыв повинность на службе, братья спешили на встречу с небольшой группой товарищей, которых объединял общий идеал — служение искусству. Разумеется все они подыхали с голоду, но гордились тем, что их питают мечты и надежды на будущее. Среди них был Жозеф Дебросс, мечтавший стать скульптором, за что вслед за своим братом Леопольдом удостоился отеческого проклятия... Был Шентре́й, посыльный из книжного магазина на набережной Великих Августинцев, в свободные часы писавший красками виды Монмартра... Были Табар, Вастин, Кабо... Они собирались в недорогой закуской матушки

Шове на улице Жи-ле-Кёр, где подавали молоко, кофе, шоколад и яйца и где можно было встретить как политических вольнодумцев, осужденных за инакомыслие, так и «странного вида бородачей в остроконечных шляпах с громадными полями или в ярких, бросающихся в глаза беретах, в широченных клетчатых штанах; эти люди оспаривали у студентов в Клозери монополию на гризеток». Это были представители богемы. Слово это наводило ужас на матерей, боявшихся, что их сыновья попадут в дурную компанию, на домовладельцев, у которых эти шалопаи имели обыкновение снимать комнаты, и на почтенных отцов семейств, чьих дочерей они соблазняли. Что же касается Анри, то он сразу почувствовал себя среди них как дома; позднее он напишет о богеме так:

«Это стажировка в художественной среде. Это преддверие Академии, больницы или морга... Она существует и может существовать только в Париже... О ней почти ничего не знают пуритане всего мира, ее поносят на все лады пуритане от искусства и оскорбляют завистливые бездарности, у которых не хватает воплей, лжи и клеветы, чтобы задушить голоса и имена тех, кто проходит через это чистилище к славе, впрягая отвагу в колесницу своего таланта...»

Опьяненный их пламенными речами и революционными теориями, а особенно атмосферой свободы — ведь этих людей никто не принуждал к постоянному, регулярному труду, да и зависели они только от себя самих, — Мюрже еще не решил, кем ему хочется стать: поэтом или живописцем. Юноша был уверен в одном: клерком в адвокатской конторе он быть не желает. Впрочем, еще до того, как он попросил об отставке, господин Каде де Шамбин дал ему

понять, что не желает терпеть у себя служащего, не имеющего понятия о пунктуальности, да и вообще не думающего о работе.

Свобода — это прекрасно, но ведь существовал еще папаша Мюрже, у которого сын столовался и который хотел, чтобы питание было оплачено... И была маленькая комнатка на седьмом этаже, которую у него отобрали бы в случае ссоры с отцом, неизбежной в подобных обстоятельствах...

К счастью, тут снова пришел на помощь господин де Жуи, который подыскал для Анри место у графа Толстого, довольно загадочного человека, род занятий которого было трудно определить, но у которого очень вовремя возникла надобность в секретаре.

Приведя в качестве аргумента тот факт, что на новом поприще он будет получать на десять франков в месяц больше, чем у стряпчего, Анри получил отцовское благословение, а что до матери, то она недавно скончалась, отчего Анри очень горевал: ведь ему было всего шестнадцать лет.

В то время это был «крупный парень, безбородый, толстощекий, румяный, чье круглое лицо, скорее одутловатое, чем мясистое, говорило о флегматичном темпераменте. Его темно-карие, широко распахнутые глаза смотрели на мир со спокойным и наивным благодушием; в выражении лица не было ни стеснительности, ни особой дерзости».

Он снова встретил Потье, который представил его Адриану Лелью, своему постоянному сотруднику по снабжению удобоваримыми пьесами театра Конта и детского «Жимназ». Вдохновленный их примером, Мюрже стал писать стихи — довольно плохие, но все же стоившие больше, чем его живопись, которую он забросил, не отказавшись, однако, при этом от общества своих друзей-художников.

А самое главное — в это время он открыл для себя любовь!

Его всегдашней мечтой было встретить одну из тех, кого он называл «бархатными женщинами», то есть даму из высшего общества. Познакомившись с Мари Вималь, он решил, что мечта его сбылась.

Мари была замужем за неким Фонбланом, который называл себя университетским преподавателем и дал жене образование, на какое она и не рассчитывала, будучи скромной работницей: он обучил ее счетоводству и английскому языку. Таким образом, молодая женщина получила возможность давать частные уроки в состоятельных семьях, а благодаря раздобытой ею при этом информации ее господин и повелитель мог с полным знанием дела совершать удачные кражи.

Но Мюрже об этом, разумеется, ничего не знал. Он встретился с Мари у своего дяди, дочь которого она обучала всему, что умела сама, и с его стороны это была любовь с первого взгляда. Отношения начались как в высшей степени платонические и так развивались и дальше — во-первых, потому, что Анри физически не был тем, кого принято называть «великим любовником», а во-вторых, потому, что молодой женщине казалось очень трогательным его благоговейное обожание.

В течение всего карнавала 1840 года он сопровождал Мари и ее друзей на балы, а она снабжала его необходимой для такого случая элегантною одеждой, не рассказывая ему, естественно, что костюмы эти берутся — по согласованию с мужем — из его гардероба. Супруг был счастлив заполучить в качестве ширмы подобного простака-новобранца.

Однажды молодая женщина явилась к Анри совершенно растерянная и сообщила, что ее муж

пропал. Она не ревновала, она беспокоилась, что его деяния разоблачены и он арестован. Тут она открыла пораженному Мюрже всю правду и попросила дать ей пристанище, чтобы хоть на какое-то время спрятать от преследования полиции.

Поскольку Анри отлично понимал, что отец никогда не допустит присутствия молодой женщины в его мансарде, он доверил возлюбленную своему другу Гильберу, у которого в комнате стояло как раз две кровати. Это было дьявольское искушение, и Гильбер сделал с Мари то, чего Анри не делал никогда или делал очень редко и очень плохо. Мюрже одновременно стало известно и о «предательстве друга», и о том, что его возлюбленная ударилась в бега: та и не подумала попроситься с ним перд отъездом. Анри пришел в отчаяние — это было его первое любовное огорчение...

К тому же дело обернулось серьезно: у Фонбланов обнаружили нежные записочки, подписанные Мюрже, и полиция явилась к нему домой с обыском. Когда портной узнал, какого сорта женщину посещал его сын, он выставил Анри за дверь, лишив его таким образом недорогого стола и бесплатного крова. Так Анри узнал настоящую жизнь богемы, подышающей с голоду без всякой надежды на лучшее.

Друзья помочь ему не могли: финансовое положение их небольшой компании было весьма плачевным. Жозеф Дебросс ради денег вынужден был рисовать модели каминных, настенных или настольных часов; Лелью подрабатывал стенографированием заседаний в трибунале; Вастин пошел служить в типографию; Ноэль давал уроки рисования; что же до Шентрёя, то он недавно потерял свое место коммивояжера из-за того, что опоздал на работу,

увлекшись этюдами на пленэре... Но их вера в успех, в свой талант, их решительное нежелание идти на компромиссы были незыблемы. Их мужество не может не вызвать уважения: *«Деброссы половину дней проводят впроголодь, а другую половину помирают от холода...»* Что поделаешь — «время проходит, а аппетит остается, и надо лечь спать, чтобы приснилось: ты ужинаешь у Вефура...»

К нищете у Анри прибавилась еще и худшая из ее спутниц — болезнь. Он захворал пурпурой, и эта хворь уже никогда его не оставит: кожная болезнь, заключающаяся в том, что на теле появляются багровые пятна (отсюда и название), своим происхождением обязанные выходу за пределы кровеносных сосудов красных кровяных телец, своего рода кожные кровоизлияния. Когда начиналось обострение, он покрывался такими пятнами с головы до пят.

Так начался его крестный путь из больницы в больницу, путь, который через двадцать лет приведет его напрямик в могилу. Ничто ему не помогало: ни кровопускания, ни лечение серой, приступы болезни настигали его с угрожающим постоянством.

У его товарищей дела шли все хуже и хуже, и однажды, чтобы посмеяться над судьбой, они приняли решение как бы «узаконить» свою нищету, организовав «Общество любителей воды». Почему именно воды? Да просто потому, что это единственный напиток, который был им по карману в столь трудные времена.

До нас дошла статья № 5 устава этой ассоциации — одна-единственная, но весьма характерная:

«Цель Общества — поддержка каждого из его членов в неукоснительном соблюдении чистоты его искусства, от которого никто не имеет права отступить».

Судя по всему, здесь скрывается намек на то, что членам Общества запрещается работать только «за пропитание», пользуясь терминологией того времени.

Но как только эти молодые люди, бывшие до этого словно бы одним целым, ощутили себя связанными некими обязательствами, между ними тут же начались конфликты.

Вскоре, по общему согласию, «Общество любителей воды» было распущено, и между друзьями тут же вновь воцарился мир.

Между тем процесс, получивший в газетах название «Дело 79 воров», шел своим ходом. Мари Вималь была арестована, в 1842 году ее дело слушалось в суде присяжных. И здесь произвело поистине театральный эффект выступление Фонблана: он попросил проявить снисходительность к его жене, заявив, что она была всего лишь жертвой, инструментом в его руках, послушной исполнительницей его воли.

Мари оправдали.

Анри, еще уязвленный ее изменой, не старался увидаться с ней, да и сама она не подавала о себе никаких вестей.

Однако три месяца спустя после оправдательного приговора они случайно встретились на улице. Их связь на несколько дней возобновилась, но принесла обоим только разочарование. Слишком уж все изменилось: уделом Анри стали теперь голод и больницы, а Мари была прямая дорога на панель... Но он никогда ее не забудет.

Ему исполнилось двадцать лет, и он был настолько беден, что вся его одежда, за исключением повседневного костюма, была заложена в ломбард; чаще всего единственной его пищей был черствый

хлеб, и, как это иногда случается при недостаточном питании, он стал толстеть.

Если ему удалось не умереть с голоду, то только благодаря пятидесяти франкам, которые он зарабатывал в месяц у графа Толстого, а еще, как это ни странно звучит, благодаря частому пребыванию в больницах, где ему выпадало счастье есть по два раза в день.

Однажды ему улыбнулась удача: сын царя российского императора Николая I Александр женился на принцессе Марии, дочери великого герцога гессен-дармштадтского, и Мюрже посоветовали написать подходящие к случаю стихи, которые граф Толстой мог бы доставить к российскому двору.

Ода была прекрасно принята, в качестве благодарности за нее Анри получил пятьсот франков и на какое-то время стал богачом. И что же? Он внес квартирную плату за три месяца, отдал кое-какие долги, помог тем из своих товарищей, кто был еще несчастнее его самого, — словом, распорядился деньгами именно так, как было принято среди представителей богемы.

Самое забавное во всей этой истории то, что помогал ему редактировать весьма низкопоклоннический панегирик, посвященный «Его Величеству императору Николаю, властителю Всея Руси», не кто иной, как Потье — автор «Интернационала», под звуки которого царский режим был сметен шестьюдесятью годами позже. Вот ведь какие шутки выкидывает порой судьба!

Но вскоре нищета и болезнь снова его настигли. В больнице Мюрже всегда старался устроиться на кровати, стоявшей в углу, где до утра горел ночник: только так он мог работать, потому что не умел писать днем. Врачи считали, что в его болезни

виноват кофе, который он поглощал в невероятных количествах, чтобы не заснуть, но он их не слушал: Анри нуждался в своем «наркотике», который единственный помогал ему преодолеть трудности, возникавшие в процессе сочинительства.

Увы, в промежутках между приступами ему приходилось покидать свое убежище, и тогда вновь надо было начинать погоню за деньгами. А деньги случались все реже и реже, и положение усугублялось тем, что, заканчивая пролог к «Via Dolorosa» — поэме, так и оставшейся неизданной, но представлявшей собою первую версию «Жизни Богемы», — он в один из субботних дней не явился на работу и из-за этого потерял место.

Произошел окончательный разрыв с отцом: тот больше не желал видеть сына, за которого ему было стыдно перед соседями из-за его вечно просящих каши башмаков и сомнительной чистоты сорочек.

Анри уже подумывал о самоубийстве или — что, было для него ничуть не лучше — о том, чтобы пойти в матросы, но в этот момент в его жизни появился Шанфлери*, прибывший из Лана с намерением стать писателем и предложивший Мюрже поселиться вместе.

Учитывая полный финансовый крах всего бывшего «Общества любителей воды», возможность получить крышу над головой была для Мюрже огромной удачей, хотя трудно было бы придумать два существа, столь подходящих друг другу, чем они с Шанфлери. Но каждый из них привносил в совместную жизнь то, чего не хватало другому:

* Шанфлери (1821—1889) — французский писатель и искусствовед, теоретик реализма. — *Прим. ред.*

Шанфлери привлекала радостная свобода богемы, хотя и несколько смущал постоянно маячивший перед ее представителями призрак больницы для бедных, а Мюрже нашел в своем новом друге практичность, которой всегда так недоставало ему самому, и постоянство в работе, абсолютно не свойственное такому слабовольному человеку, каким он был и каким останется до конца своих дней.

Но на такой разнице во взглядах на жизнь прочной дружбы не построишь, и всего через три месяца молодые люди разъехались. Шанфлери влился в группу, члены которой постепенно освобождались от влияния богемы и переходили в разряд «золотой молодежи»; в эту группу входили Жерар де Нерваль*, Готье**, де Бовуар... А у друзей Мюрже не было никакой уверенности в будущем, и Шанфлери всех их считал идеалистами с посредственными способностями.

Анри опять остался в одиночестве и был в ужасе от своего положения. Но тут ему снова повезло: он встретил Турнашона, который пустил его к себе жить, предоставил работу за 35 су в день в ежедневной газете «Коммерс» и представил Банвилью***. Однако и Турнашону не удалось избежать общей участи: он угодил в больницу, и вот Мюрже опять предоставлен самому себе.

К счастью, граф Толстой снова взял его к себе на службу.

* Нерваль, Жерар де (Жерар Лабрюни; 1808—1855) — французский писатель, предвестник сюрреализма. — *Прим. ред.*

** Готье Теофиль (1811—1872) — французский писатель, автор романа «Капитан Фракасс». — *Прим. ред.*

*** Банвиль, Теодор де (1823—1891) — французский поэт. — *Прим. ред.*

Разрыв с Шанфлери был не настолько серьезен, чтобы друзья стали друг другу неприятны: они часто виделись в кафе «Момус», поблизости от Сен-Жермен-ль-Оксерруа, где собирались бывшие «Любители воды» и многие другие художники и поэты. Эта веселая компания буквально оккупировала второй этаж заведения, хозяин которого, так и не сумевший примириться с тем, что вместо поэтической карьеры ему приходится разливать лимонад, относился к богемным посетителям весьма снисходительно.

Положение Мюрже понемногу улучшалось. При помощи бывшего жильца дома на улице Трех Братьев, с которыми они вместе учились в начальной школе, он попадает в «Корсар» — маленькую бульварную газетенку, каких тогда было множество. Общество газетных щелкоперов его немного смущало, но поскольку благодаря своему перу он стал зарабатывать по несколько десятков франков в месяц, то в конце концов приходит к выводу, что журналистика — это не так уж и плохо.

Ему поручили вести рубрику, которая могла стать постоянной, и так 9 марта 1845 года на газетных страницах впервые появились «Сцены из жизни богемы».

Очень застенчивый и всегда погруженный в себя, Мюрже не стал далеко ходить в поисках персонажей: он взял их из числа своих приятелей — завсегдатаев кафе «Момус». Впрочем, он не относился слишком серьезно к этой рубрике, ввел подзаголовок «Проделки в мастерской художника» и из осторожности подписывался не «Henri Murger», а «Henri Mur...er».

В качестве сюжета он попросту использовал мотивы «Via Dolorosa».

За несколько страничек ему заплатили пятнадцать франков.

Его наброски очень понравились читателям «Корсара», правда, к сожалению, довольно немногочисленным.

Другой бы на его месте стал эксплуатировать этот успех, но только не Анри, хотя редактор газеты очень уговаривал его продолжать. Но Мюрже отказался: он воспринимал свои заметки лишь как повод повеселить друзей, описывая их повседневную жизнь, радости и заботы. Особенно много смеялись те, кто узнавал себя в персонажах: Коллин был помещью Трападу с Жаном Валлоном; в Марселе были объединены Шанфлери и Табар; Шонар походил на Шанна. Что до Мюзетты, то это, конечно, была Мариэтта, их общая подружка.

Но можно ли отождествить самого Мюрже с Рудольфом?

Конечно, есть там намеки на бороду и голый череп, но теперь уже никто об этом не помнит, и для большинства читателей Рудольф, а следовательно, и Мюрже — обворожительный молодой человек с длинными светлыми волосами, как носили тогда художники, с чарующей улыбкой и ласковым взглядом.

В то время как на самом деле... Но предоставим слово современникам. Вот что пишет Рико д'Эрико:

«Он был ужасно уродлив, вульгарен, очень неловок, мал ростом и неопрятен. Надтреснутый голос, лысая голова, длинная каштановая борода, которая казалась крашеной, опухшие веки, глаза без блеска, большие, с выражением кротким и застенчивым, но при этом имеющие одну характерную особенность: они были одновременно прищуренными и выпуклыми... Он вытирал платком эти постоянно слезящиеся глаза, шумно сопел и фыркал, вытягивая губы и



*Дагерротип «Мюзетты» и ее сестры.
Фото Пьера Марешаля.*

приближая таким образом к ноздрям свои вылинявшие, вечно мокрые усы...»

Простите, дамы... Простите, барышни... Ничего не поделаешь, историческая объективность!

Однако вас должно немного утешить другое свидетельство, которое не только рисует внешний облик, но и раскрывает внутренний мир нашего героя:

«Он был тогда очень молод, но со лба уже начинал лысеть и здоровья был слабого и хрупкого. Мы все его любили, и он любил нас, потому что от природы был ласковым, добрым и привязчивым. Он был с нами откровенен — рассказывал обо всех своих мечтах, обо всех воздушных замках... Сколько раз я жалел, что поблизости нет стенографа! Он вел себя достойно и вежливо, его скромность была настолько естественной и настолько искренней, что было видно: он не знает себе цены. Когда мы подшучивали друг над другом, его розыгрыши были беззлобными, насмешки — изящными и ничуть не обидными. Если он сердился, его гнева хватало не долее чем на секунду, и к нему тут же возвращались его прелестная сердечность, нежность, подобная нежности юной девушки, и совершенно детские простодушие и наивность...»

Из этих двух портретов, на первый взгляд совсем не похожих один на другой, можно извлечь, по крайней мере, одну общую черту: оба автора говорят о застенчивости Мюрже, о его простодушной неловкости.

Понятно, что через его жизнь прошло немного женщин. Должно быть, он не знал, как к ним подступиться, и нужно было, чтобы они сами сделали первый шаг, — либо были очень несчастны.



«Завтрак на траве» (гравюра той эпохи).
Фото Пьера Марешаля.

Совершенно очевидно, что, ко всему прочему, он страдал еще и от полового бессилия — не полного, может быть, но вполне достаточного для того, чтобы постоянно опасаться провала, как в случае с той, кого он называл «Датчанкой». Эта богатая замужняя женщина двадцати пяти лет «со злобной душой и красивая, как английская гравюра», никак не могла простить ему того, что зря вскарабкалась на шестой этаж в его убогую каморку, надеясь отвлечься там от своей слишком сытой жизни и немного «вываляться в грязи»...

И вот наступила весна 1845 года, когда произошло знакомство «Рудольфа» и «Мими».

В то утро стояла прекрасная погода, и друзья решили отправиться на встречу с весной туда, где ее не заслоняют каменные громады, иными словами — за город.

В те благословенные времена пригороды начинались близко и достаточно было пройти всего одно лье*, чтобы оказаться на природе. В корзине лежала купленная в складчину еда: немного холодного мяса и колбасы: в первой же попавшейся на пути деревне купили хлеба и вина, а вишен нарвали с растущих вдоль дороги деревьев. Они слишком часто голодали, чтобы придавать значение меню, — главное было, что они вместе, что они молоды и могут веселиться и любить друг друга...

Как это обычно бывает, к компании присоединились друзья друзей, и все разбились на парочки, причем девушки возвращались не всегда об руку с тем, с кем вышли в путь...

Компания устроилась в очаровательном тенистом уголке. Повесив свои чепчики на ветки деревьев,

* Лье — мера длины во Франции, равная 4,444 км. — *Прим. ред.*

девушки уселись на рединготы, услужливо расстеленные их кавалерами, чтобы они не испачкали своих светлых платьев. Шентрёй начал делать наброски; Луизетт старалась помешать Шонару затрубить в охотничий рог, потому что знала: эта его ужасная привычка обычно заканчивается приходом жандармов, а их появление способно испортить самый прекрасный день; Мариэтта пыталась убедить Бонвена, что любит его одного... Они шутили, целовались... На несколько часов ушли в сторону все заботы...

А Мюрже не мог отвести взгляда от юной особы, которая впервые появилась в их веселой компании. Она пришла с Краппоном, архитектором, с которым жила уже несколько недель. Тот представил девушку собравшимся: ее звали Люсиль.

Ей едва ли было больше двадцати лет, она была хрупкая и застенчивая; похоже было, что жизнь не слишком ее баловала. Бледное личико, обрамленное гладко зачесанными темно-каштановыми волосами, — такое бледное, как бывает у плохо питающихся работниц, дышащих спертым воздухом своих мастерских. И совершенно необыкновенные глаза — глаза цвета незабудок, полные меланхолической нежности. На ней было муслиновое платье в голубой горошек с белым воротничком и манжетками. Талия, до того тонкая, что казалось: ее можно охватить двумя ладонями, была стянута шелковым кушаком, а забавная шляпка — вся из розовых лент, — по дороге защищавшая ее головку от солнца, теперь покачивалась на ветвях орешника. Вдобавок ко всему руки у нее были как у принцессы.

Молчаливая поначалу, она вскоре разговорилась и стала щебетать без умолку, словно опьяненная солнцем и воздухом. В ответ на комплименты своему

наряду она горделиво рассказывала, что сама смастерила его — по вечерам при свечах или перед работой, при свете утренней зари... Чувствовалось, что она давно готовилась к этой прогулке как к событию исключительному.

Мюрже, растянувшись на траве с цветком в зубах, не спускал с нее глаз. Он смотрел, как сверкают из-под юбки ее белые чулки, как мелькают ее красно-коричневые с золотистым отливом туфельки, и говорил себе, что жизнь прекрасна.

Он стал спрашивать о ней Крампона. Тот рассказал, как познакомился с Люсиль; произошло это самым что ни на есть банальным образом. Встретив девушку на улице, он отпустил мимоходом какой-то комплимент, за что был награжден разгневанным взглядом. Правда, потом, когда он принялся извиняться, взгляд девушки смягчился, и состоялось свидание, которое «ни к чему не привело». Однако три дня спустя, когда Люсиль потеряла ключ от своей комнатки под самой крышей, ей волей-неволей пришлось остаться у архитектора.

Вот вам и начало «Богемы» Пуччини — с той лишь разницей, что пока еще не у «Рудольфа» задержалась «Мими».

Но до этого уже было недалеко: их пальцы встретились, когда они собирали ягоды, а на обратном пути Мюрже уже поддерживал под руку Люсиль, которая теребила другой рукой завязки розовой шляпки.

Кто же она была такая? Дочь торговца требухой Луве, она в шестнадцать лет вышла замуж за сапожника Франсуа Польгера. Но когда при ней кто-нибудь вспоминал об этом браке, она замыкалась в себе и умолкала, поэтому, хотя никто ничего и не знал о причинах ее разрыва с мужем, можно



Мими, персонаж из «Сцен из жизни богемы».
Фото Роже Виолле.

было догадаться, что воспоминания об этом причиняют ей боль. К моменту встречи с Мюрже она жила на улице Фобур-Сен-Дени и занималась изготовлением цветов и листьев. Несмотря на кажущуюся поэтичность этой профессии, работа была очень тяжелой: чтобы придать гибкость кусочкам ткани, из которых делались лепестки, их надо было «прокатать», то есть отформовать на специальном аппарате с каучуковой болванкой. При этом «каждое движение рукоятки сопровождалось толчком в грудь, куда упирался инструмент». Понятно, что толчки эти были не только очень болезненными, но и вредными для здоровья. Люсиль была бледна именно по этой причине: ее уже пожирал туберкулез, и, несмотря на свою молодость, она уже не раз успела побывать в больнице. Но все-таки ей надо было зарабатывать себе на жизнь, потому что сделать это за нее было некому, — к счастью, искусственные цветы были тогда в моде, так что работы, хоть и плохо оплачиваемой, хватало.

Романы? Скорее — поиски нежности без надежды на будущее. Люсиль была не из тех, кто ищет в мужчине денежный мешок и обращает свою любовь в звонкую монету. Она была настоящей гризеткой с типичными для этих девушек бескорыстием и непосредственностью и столь же типичной неуверенностью в завтрашнем дне.

В ней Анри снова увидел Мари, которую в действительности никогда не переставал любить. Он заботился о молодой девушке, как только мог, и несмотря на всю его физическую непривлекательность, она начинала любить его.

Эта зарождающаяся любовь и желание сделать жизнь Люсиль хоть сколько-нибудь радостнее и удобнее вызывали у Мюрже стремление зарабаты-

вать как можно больше денег: он писал стихи и прозу — в «Артист», он вел театральную и художественную хронику в «Монитор де ла Мод», несколько смущая читателей своим пристрастием к романтикам... К сожалению, в этом последнем журнале принято было платить авторам как можно меньше, а еще лучше — не платить вовсе, так что Мюрже, лишенный особых амбиций, был очень счастлив, что снова работает у графа Толстого... Однако, несмотря на все это, его преследовала свора кредиторов, один из которых угрожал наложить арест на его жалованье в газете.

Люсиль переехала к нему, они жили теперь в гостинице «Мерсиоль», находившейся в доме № 5 по улице Каннетт.

На этом ветхом полуразрушенном здании следовало бы повесить мемориальную доску, и, наверное, не один прохожий замечтался бы у надписи: «Здесь любили друг друга Рудольф и Мими».

Подталкиваемый настоятельными просьбами редактора «Корсара», который чувствовал, что эти заметки будут иметь успех, Мюрже снова взялся за «Сцены из жизни богемы». 6 марта 1846 года, год спустя после первой, была опубликована вторая глава романа с продолжением. Подобно водяному знаку на бумаге, в этой главе уже проступает образ Люсиль: здесь говорится о мимолетном романе с маленькой работницей, которая живет на улице Фобур-Сен-Дени. Правда, ее зовут еще не Мими, а Луизой.

И только в третьей главе, вышедшей в свет 9 июля 1846 года, появилась наконец настоящая героиня. Модель находилась перед глазами у автора, — модель в смысле физическом, но не в моральном. И трудно простить ему, что он преоб-



Анри Мюрже.
Рисунок Гаварни. Фото Роже Виолле.

разил существо, преданное ему, как собака, в «одну из тех перелетных птишек, которые по воле фантазии, а чаще из нужды, всего на день, а точнее — на ночь свивают себе гнездышки под крышами Латинского квартала; впрочем, они охотно задержатся у вас еще на пару дней, если такова будет их прихоть или если вы сумеете удержать их парой цветных ленточек...»

Правда, мужчины не любят играть роли злодеев — они скорее станут утверждать, что «делают из своего сердца подушечку, куда женские пальцы впиваются, как булавки», чем признают истину.

В оправдание Анри надо сказать, что у героини, названной Мими, было в реальной жизни два, если не три прототипа. Безусловно, главной вдохновительницей Мюрже стала Люсиль, но в Мими чувствуются и воспоминания о Мари, ей свойственна и беззаботность Мариэтты. Эта последняя, которую, как полагал автор, он «заточил» в Мюзетте, вырвалась на волю и подчинила себе главную героиню, и было немного похоже, будто она стала для писателя наваждением. Скорее всего, так оно и было: на редкость живая, капризная, легкомысленная, весело торгующая своими ласками, Мариэтта представляла собою именно тот тип девиц, каких никогда не будет в жизни того, кого прозвали «лысой незабудкой».

Говорят, он всегда любил только тех женщин, которые ему не принадлежали. Что касается Мариэтты, то тут ему некого было упрекнуть, кроме себя самого: ведь она спала со всеми его приятелями и его тоже вряд ли бы отвергла. Однако, несмотря на желание, которое она в нем вызывала, он никогда не просил об этом. Застенчивость Анри порождалась неуверенностью в себе, и чем более доступна была



Отель «Мерсиоль».
Фото Пьера Марешаля.

женщина, тем труднее ему было решиться на поступок, за который никто бы его не упрекнул.

К счастью, преимущество писательского ремесла заключается в возможности преобразовывать действительность в соответствии со своими фантазиями, — вот почему Рудольф красив, вот почему он любит Мими, непостоянную, как Мариэтта...

Но если два главных героя отличаются от своих жизненных прототипов, то все остальное в книге просто списано с натуры. Источником вдохновения для Мюрже служила повседневная жизнь его товарищей, и он практически ничего не придумал, кроме поведения Мими. Возможно, именно поэтому и сейчас — спустя полтора столетия — герои его остаются такими забавными и живыми, такими близкими нам. В этом произведении, главная тема которого — бедность, нет ни горечи, ни досады. Герои веселятся и дурачатся, ключом бьет фантазия, выдумка, а главное — молодость.

Мюрже упрекали в том, что он «устроил себе кормушку из собственных чувств»; что он «по мере надобности отрезает от своей жизни куски, как отрезают ломти паштета...» Критики забывали, что любовные сцены — лишь узор на ткани этого произведения, истинная героиня которого — богема. И было бы очень жаль, если бы до наших времен не дошло это живое свидетельство, этот ответ определенной формы существования, кажущийся таким точным.

Конечно, в сущности, с тех пор не так уж много изменилось: и сейчас художники, поэты и артисты сталкиваются в начале своего пути с такими же трудностями, — но, кажется, переживают их не так весело, не так беззаботно. Правда, материальные условия нынче не те, что были, и нехватка денег

теперь означает потерю комфорта, с которой трудно мириться: куда сложнее и куда дороже восстановить отключенное электричество, чем купить новую свечку... Как бы то ни было, а рецепт веселья, которое было своеобразной формой мужества, кажется, утерян — и утерян навсегда.

Однако надо признать, что, как ни веселись, в жизни представителей богемы нередко случались вечера, когда в животе урчало от голода. Может быть, именно в такие вечера были написаны сцены роскошных обедов и ужинов, которыми пестрит книга Мюрже? Ведь вообразить пирушку — это неплохой способ обмануть голод!

Но мог ли Мюрже обречь Люсиль на ту жизнь, с которой сам готов был примириться? Конечно же нет...

Она такая хрупкая и болезненная... Она нуждается в мясе и хорошем вине... Реакция Анри была вполне по-человечески объяснима: в конце концов он стал сердиться на нее за то, что не в состоянии был обеспечить ее всем необходимым, — а что он мог со своими ста франками в месяце?..

А она... Она ничего не просила: ей нужна была только его нежность, его присутствие.

Они все хуже понимали друг друга, и это приводило к мучительным сценам, повторявшимся все чаще и чаще. Чтобы молодой женщине не пришлось пережить вместе с ним еще один день без хлеба и без огня в очаге, он отсылает ее прочь, потом снова зовет:

«О, малютка Мими, радость моего дома, неужели вы покинули меня, неужели я сам прогнал вас и больше никогда не увижу? О, Господи!..»

Люсиль возвращается, потому что она только этого и ждала, и на несколько дней в комнатухе

опять воцаряется радость... Снова веселая компания, снова смех... Когда один из друзей случайно получил какую-то сумму, он тут же тратил ее на всех; к ним возвращался оптимизм, и Люсиль оживала: ведь теперь хоть несколько дней можно было не бояться, что ее отошлют восвояси...

Искренняя привязанность к Мюрже соединялась в ней с восхищением его друзьями. В глазах этой скромной работницы обитатели улицы Каннетт и им подобные были людьми особенными, они существовали в странном и таинственном мире. У них не было постоянной работы, и они не искали ее; они допоздна валялись в постели, а ложились спать тогда, когда нормальные люди отправлялись на службу; они смеялись над самыми серьезными вещами, они писали статьи в газеты и были знакомы с разными знаменитостями. Она не очень хорошо их понимала, но быть принятой в эту компанию считала для себя честью.

Кроме того, она очень гордилась своим возлюбленным: ведь однажды, когда они вдвоем гуляли по Люксембургскому саду, с ним поздоровался сам Виктор Гюго — царь и бог их поколения!

Но растущая известность, ограничивавшаяся пока кругом читателей «Корсара» да немногими знатоками, все не приносила Мюрже богатства, и после множества ссор, переходивших в примирения, и примирений, заканчивавшихся новыми ссорами, произошло неизбежное: Люсиль окончательно покинула отель «Мерсиоль», возвратилась на улицу Фобур-Сен-Дени и снова занялась изготовлением цветов.

Может быть, тогда Мюрже и написал:

*У меня не осталось ни гроша, моя дорогая,
и Кодекс законов*

*В подобных случаях предписывает забвение,
И без слез — как устаревшую моду —
Ты скоро забудешь меня, правда, Мими?
И все же, знаешь, у нас были, моя дорогая,
Не считая ночей, счастливые дни,
Они длились недолго, но — что поделаешь?
Все лучшее в жизни так быстро кончается...*

И последнюю строфу, которой нет в книге, но которая была опубликована в «Корсаре»:

*Да исполнится воля Господня,
И мы опустим занавес над нашей любовью...
И, не мешкая, ты уйдешь, Минетт, а,
Чтобы поднять его над новой любовью...*

Здесь лжива не только третья строка: в действительности не было никакого виконта Поля, который якобы содержал Мими, — этот персонаж был выдуман Мюрже в свое оправдание. Существовала лишь бедная работница, которая вернулась к своему тяжелому труду, в убогую комнатку; существовал, быть может, даже ее муж — раскаявшийся или равнодушный. Снова аппарат для «прокатывания» лепестков, который давил на грудь, снова долгие часы за работой, но теперь еще — ностальгия по жизни богемы.

А Анри опять переехал. Теперь он обосновался в доме № 78 по улице Мазарини, в маленькой, бедно обставленной комнате. Там стояли единственный продавленный стул и узкая кровать с продавленным матрасом, висело засиженное мухами зеркало в выщербленной раме. Мюрже плохо ладил с домовладельцем, потому лишь, что весьма нерегулярно вносил арендную плату. Он все никак не мог

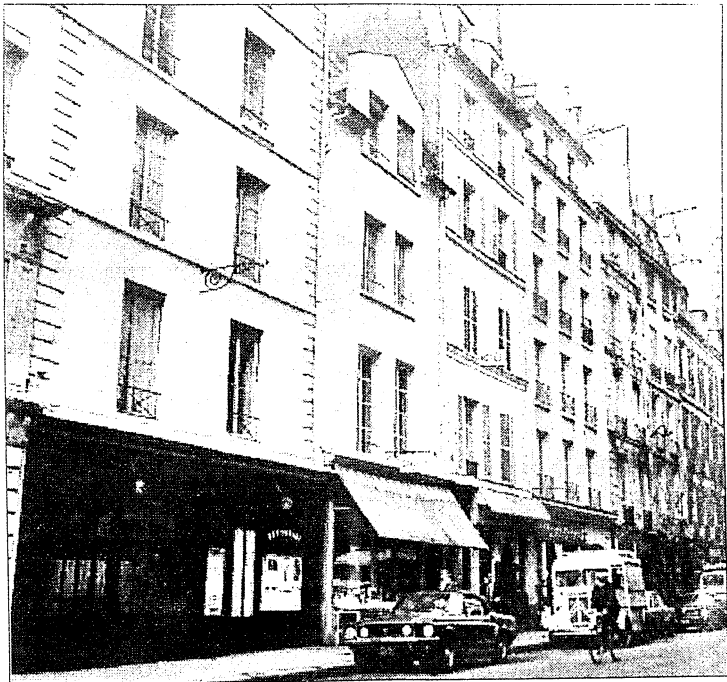
вылезти из нищеты, хотя «Сцены из жизни богемы» печатались теперь регулярно, — ведь публикация всего романа с продолжениями принесла ему в сумме всего лишь семьсот франков!

К тому же он был очень одинок: хозяин дома, где он теперь жил, грозился немедленно выставить его за дверь, если он кого-нибудь приведет к себе — все равно, мужчину или женщину. Для Анри, привыкшего к обществу веселых друзей, этот запрет был особенно мучительным.

Но почему же он уехал с улицы Каннетт? Бежал ли он от воспоминаний о Мими или завидовал друзьям, для которых любовь была не так сложна и не так мучительна? А может быть, между ними произошло что-то вроде раскола: ведь его упрекали в том, что он не забыл принципы «Общества любителей воды» и продал свой талант за несколько пистолей... Или, возможно, им руководил инстинкт, который гонит больное животное подальше от себе подобных и заставляет скрываться в глубине своей берлоги в ожидании выздоровления?

Здоровье его не улучшилось: к мучившей его пурпуре, которая плохо поддавалась лечению, добавился еще и сифилис. Наверняка он снова побывал в больнице Сен-Луи, у которой по сравнению с его камеркой было большое преимущество: там кормили...

Как бы там ни было, но он находился в полной моральной изоляции в тот зимний вечер 1848 года, когда Люсиль постучалась в его дверь. Точнее сказать, это была лишь тень прежней Люсиль: нищета и чахотка хорошо над ней потрудились. Ее жалкое платьишко было все заляпано грязью, потому что она долго бродила по улицам, прежде чем решилась подняться: очень уж она боялась застать



*Дом № 78 по улице Мазарини —
последнее пристанище Мюрже и Люсиль.
Фото Пьера Марешаля.*

Мюрже с женщиной. Тот, взволнованный, раскрыл ей объятия, и она бросилась к нему на грудь.

Она вся горела, и он отнес ее на кровать — это было нетрудно, ведь она уже почти ничего не весила.

Прерывающимся голосом она рассказала ему, как ее выгнали из комнаты, за которую она больше не могла платить. Все, о чем она просила, — позволения немного согреться, остаться у него хоть на одну ночь. А потом она опять уйдет... куда, зачем — там будет видно...

Анри колебался, он слишком хорошо знал, что консьерж непременно нажалуется на него владельцу дома, — а как ему прикажете поступать по отношению к жильцу, который не дает чаевых? Ведь этот самый консьерж видел, как вошла Люсиль. Он, должно быть, задумался, к кому она идет. Он сейчас явится... Он уже идет... Слышны его шаги на лестнице... Вот он стучит в дверь!

Но все-таки чудеса иногда случаются: если этот достопочтенный привратник и явился побеспокоить Мюрже, то вовсе не для того, чтобы напомнить Анри об известном ему запрете и прогнать молодую женщину, нет, он принес письмо от господина де Виньи. Тот писал, что ему поручено передать поэту сумму в 500 франков в качестве помощи вспомоществования: любовь и удача возвратились вместе.

Столь щедрый дар произвел на консьержа такое впечатление, что он даже притворился, будто не замечает присутствия Люсиль.

Однако, когда у тебя полно долгов, пятьсот франков тают едва ли не быстрее, чем снег под солнцем.

К обычным заботам Мюрже снова добавилось беспокойство о здоровье Люсиль: отвратительная

погода, промерзшая комната, нехватка продуктов — все это было для нее губительным. Она не жаловалась, но с каждым днем кашляла все сильнее, все больше худела, и лихорадка уже не оставляла ее.

Одно слово, которое они не решались произнести вслух, занимало все мысли любовников: больница. Только там несчастной могли оказать необходимую ей помощь, только там она смогла бы регулярно питаться. Мюрже не осмеливался первым заговорить об этом, боясь, что девушке покажется — он хочет от нее отделаться; а она... она хотела насколько только можно продлить свои последние, как она понимала, дни — дни жизни и счастья...

Сотрудники Мюрже по «Корсару» были удивлены и обеспокоены озабоченным видом коллеги. Они расспросили его, и он все им рассказал. И тут оказалось, что брат одного из журналистов, Шарля Тубена, работает в больнице Питье. Когда Эжену Тубену рассказали, как обстоят дела, он пообещал устроить туда Люсиль. Но это оказалось не так уж просто. Не нужны были долгие обследования, чтобы понять — больная безнадежна; а больница — не благотворительное учреждение, чтобы предоставлять места умирающим, когда и обычным пациентам коек не хватает...

К счастью, Эжен был на хорошем счету, и заведующий больницей, доктор Клеман, желая сделать ему одолжение, подписал направление на госпитализацию.

Молодой врач поспешил на улицу Мазарини, чтобы обрадовать Мюрже. Того не оказалось дома, и дверь открыла Люсиль. Тубен придумал какой-то предлог для объяснения своего визита, пообещав зайти еще — но девушка отлично поняла, что могло послужить единственной причиной его прихода. И

раз уж он не решался об этом заговорить, она взяла самое трудное на себя: очень спокойно заявила, что сама хочет лечь в больницу, зная, как тяжело с ней Анри и какие жертвы он приносит ради нее.

Она протянула руку за направлением. Возмущенный и растроганный Эжен передал ей бумагу, сказав несколько утешительных фраз: одобрил ее решимость, похвалил за то, как разумно она поступает, что-то бормотал о выздоровлении, о возвращении домой, о светлом будущем... Люсиль благодарила его с легкой иронической улыбкой.

Назавтра, 6 марта, она покинула улицу Мазарини. Мюрже плакал, а она шутила, чтобы ему было не так тяжело...

Прошло два года — почти день в день — со времени выхода первой части «Сцен из жизни богемы», прошел год — день в день — с момента публикации второй их части. Люсиль не сомневалась в том, что ее образ проживет куда дольше, чем она сама: для нее все заканчивалось сегодня. Встретит ли она хотя бы годовщину той весны, когда впервые их руки соприкоснулись, срывая спелые плоды?

Как коротка пора вишен...

В больнице Питье она заняла койку № 8 в палате Святого Карла.

Она была послушной, спокойной, безропотно покорявшейся неизбежному пациенткой. Она оживлялась только в приемные часы. Задолго до того, как начинали пускать посетителей, она причесывалась, разглаживала свою рубашку, поправляла простыни... И начиналось долгое — и всегда тщетное — ожидание.

Потому что Мюрже к ней не приходил.

Лишь однажды он переступил порог палаты, где лежала больная, и в тот вечер температура у нее снизилась и ночь прошла спокойно. Но больше он уже не повторил этого поступка.

Соседок по палате трогали эти тщетные надежды. Несмотря на сопротивление Люсиль, они рассказали обо всем Эжену, поскольку знали, что тот очень ею интересуется, а Эжен передал брату, который, встретив Анри в редакции «Корсара», осыпал его упреками.

Тот принялся оправдываться: у него совершенно нет денег и ему стыдно являться в больницу с пустыми руками, не имея возможности купить больной подруге даже грошового букетика... Но пусть она немного потерпит: в рощице поблизости от улицы Вожирар он знает место среди кустарников, где вот-вот распустятся фиалки. Тогда он отнесет Люсиль эти цветы.

Тубен не стал скрывать, что молодая женщина находится в чрезвычайно тяжелом состоянии и что один его приход может оказать благотворное действие. Но ничто не могло поколебать апатии Анри.

Непонятно, чем молго быть вызвано подобное чудовищное безразличие. Страхом, что он не сможет скрыть от умирающей своего горя?.. Боязнью самого запаха больницы, где, как он хорошо знал, ему тоже предстоит умереть?.. Или, может быть, он просто не хотел видеть, во что болезнь превратила его любимую... Впрочем, в этом случае ничто не может служить ему оправданием.

Так прошел месяц.

Однажды вечером, когда Мюрже сидел в кафе «Ротонда», туда ворвался совершенно запыхавшийся Эжен. Явившись, как обычно, в Питье, он узнал от

одной из монашек о смерти Люсиль и, не теряя времени на выяснение подробностей, тотчас же кинулся известить об этом Анри. Молодой врач был уверен, что тот поспешит в больницу, чтобы в последний раз увидеть свою Мими. Но Мюрже, услышав трагическую весть, поднялся, отошел к окну, всплакнул там и вышел, не сказав ни слова. В больницу он так и не поехал.

Он упустил свой последний шанс, потому что назавтра, во время обхода, Эжен услышал, как кто-то его зовет. Это оказалась Люсиль. Ложное известие о ее кончине было результатом зловещей ошибки, но выглядела она немногим лучше мертвой.

Задыхаясь, она попросила Эжена, чтобы тот умолил Анри прийти поцеловать ее, пока она еще жива. Эту женщину, которая давно уже стояла на пороге могилы, держала в жизни единственная надежда: еще хоть один раз увидеть того, кого она так долго любила.

Но и теперь Мюрже по-прежнему оттягивал свой визит — последнюю радость, которую мог ей подарить. Быть может, ему нужно было время на то, чтобы нарвать фиалок той заповедной рощице...

Во всяком случае, когда назавтра он наконец явился в больницу, ему сказали, что Люсиль умерла еще утром.

Может быть, он попросил разрешения поклониться ее останкам... По крайней мере, нам хочется на это надеяться. Впрочем, у него все равно ничего бы не вышло: как все покойники, не имевшие при жизни ни денег, ни семьи, Люсиль была уже отправлена в морг. Анри назвали день и час, когда тело опустят в общую могилу, но он не явился и на погребение, и «Мими» ушла, не согретая дружеским теплом, без последнего «прости» своего «Рудольфа».

А он в этот момент, сидя один в своей комнате, может быть, повторял фразу, которую в «Муфте Франсины» («Le Manchon de Francine») вложил в уста Жака, стоящего у открытой могилы своей любовницы:

О, моя молодость, это тебя хоронят...

Если он и плакал, то плакал над самим собой. Преданная любовь Люсиль заслуживала лучшего, чем этот постыдный эгоизм.

Единственным надгробным памятником, которого удостоилась несчастная девушка, стала запись на странице из «Книги регистрации умерших больницы Питье», датированная 9 апреля 1848 года:

«Люсиль Луве, возраст — около 24 лет, цветочница, родилась в Париже, проживала в доме № 58 по улице Фобур-Сен-Дени. Поступила 6 марта 1848 года. Туберкулез».

А у Мюрже впереди был успех пьесы, написанной Баррьером по «Сценам из жизни богемы», известность, почти богатство — во всяком случае, вполне приличный доход. Потом будет дом Марлотта и последняя «Мими» — Анаис. Но болезнь шла за ним по пятам, и, как он всегда предвидел, Анри умрет в больнице, и смерть его будет мучительной: он станет гнить заживо, пожираемый гангреной. Но до этого дня — 28 января 1861 года — пройдут еще долгие годы, в течение которых те, кто служил прототипами героев «Богемы» состарятся, станут знаменитыми или остепенятся. Идя за его гробом, они посмеивались про себя над тем, что один из них удостоился столь официозных похорон: ведь здесь был не только весь парижский «бомонд», но и представители двух министров! Интересно, что «Фи-

гаро» впервые опубликовала тогда на своих страницах список лиц, присутствовавших на похоронах: это была дань уважения к известному писателю со стороны редактора газеты Вильмессана.

Какая-то женщина под вуалеткой, пришедшая последней, бросила на могилу маленький букетик фиалок, который до тех пор держала в руке. Говорили, что это была Мариэтта, принесящая тому, кому никогда не принадлежала, посмертное «прости» от Мюзетты.

Отсутствовала только легкая тень, имя которой — Люсиль — было всеми уже давно позабыто.

*Меня зовут Мими,
А почему? Не знаю я...*

БЛАНШ Д'АНТИНЬИ И ЛЮС

Бульвар Мажента, 36

Вторая империя...
Какое бы социальное, политическое или экономическое значение ни придавалось этому периоду истории, он остается для нас прежде всего временем, когда под звуки вальса Метра кружились в танце фраки и кринолины.

И если нам хочется сохранить в памяти именно этот образ, то только потому, что тогда в последний раз жизнь в этой стране была счастливой и беззаботной.

Кое-кто возразит нам, что это относится лишь к привилегированному классу, а народ в это время тяжело трудился... Ну что ж, мы ответим, что никогда больше не было столько балов и спектаклей, как в ту эпоху, и что их посещали не только обитатели бульвара Сен-Жермен... Если для некоторых — пусть даже для многих — жизнь была трудной, все же она была легче, чем сейчас. Жить в комфорте еще не значит жить счастливо, и когда не было радиоприемников, людям приходилось петь самим...

Но, разумеется, в том мире, в который мы войдем сейчас вслед за Бланш д'Антиньи, был миром малонаселенным; в наше время ничего подобного уже нет. У людей, составлявших этот

замкнутый мирок, было только одно занятие — прожигать жизнь. Разнообразных рент и доходов с земель им вполне хватало, чтобы вести образ жизни, который показался бы нам теперь сказочным. Правда, еще в течение многих лет человека, имеющего только одну служанку, считали если и не нищим, то по крайней мере бедняком.

Не забывайте, Франция была богата, а Париж считался центром Вселенной.

Выставка 1867 года имела грандиозный успех. После приема в Тюильри все иностранные монархи отправились в театр на Ортанс Шнайдер.

Потому что Париж — это еще и Ортанс Шнайдер, то есть театр, красивые женщины, поздние ужины в «Мэзон Дорэ»... Такие ночные «кутежи» тогда еще были праздниками, со всеми радостями, которые несут с собой молодость, здоровье, веселье и сумасбродство. Тогда не вошло еще в моду быть пресыщенным и разочарованным, и тем, кто скучал в обществе, быстро указывали на дверь.

Рестораны, где ужинали эти люди, еще не назывались «ночными кабаками», но зато там много смеялись, много пили и с аппетитом поглощали за один вечер такое количество пищи, какого наверняка хватило бы на недельный рацион современной модницы, озабоченной подсчетом калорий.

Люди, склонные видеть во всем лишь дурную сторону, с возмущением называют эти пирушки вакханалиями, но на самом деле сегодняшние вечеринки куда больше похожи на вакханалии, только веселья в них меньше; в прошлом веке люди опьяняли себя шампанским, а это лучше, чем ЛСД, и танцевали польку, не выключая свет. Гомосексуализм был тогда исключением из правил, и женщины

предпочитали оставаться для мужчин кумирами, а не стремились сравняться с ними во всем.

Впрочем, не будем их идеализировать: если уж речь зашла о женщинах, то надо заметить, что они делились на категории, чрезвычайно разнящиеся друг от друга, — те, что входили в понятия «народ», «буржуазия», «свет» и «полусвет».

Что такое был этот пресловутый полусвет? Дюма-сын дает такое определение: «Он начинается там, где заканчивается законная супруга, и заканчивается там, где законная супруга начинается». И еще добавляет, что «он отделен от порядочных женщин публичным скандалом, а от куртизанок — деньгами». И в конце концов делает вывод: «Это падение для женщин из высшего общества и вершина для тех, кто вышел из низов». Можно ли было выразиться яснее?

«Мостиком» между светом и полусветом были светские мужчины. Тогда не понимали, как это, имея некоторый «standing»*, можно не показываться везде с любовницей, которая делает вам честь. А где найти такую прелестницу, если не среди тех, чье главное предназначение — быть красивыми, элегантными, забавными и молодыми?

Конечно, с ними был риск разориться, но в мире существует огромное количество способов потерять деньги, и разве можно бросить камень в этих барышень за то, что они были самым приятным и самым прощательным из этих способов?

С другой стороны, не будь этих красавиц, сколько денег было бы банально вложено в земли и в недвижимость — то есть, говоря коммерческим языком, лежало бы без движения! А благодаря им

* «Standing» (англ.) — положение в обществе, вес. — Прим. пер.

процветало множество людей: ювелиры, кружевницы, каретных дел мастера, парикмахеры...

Тем не менее не надо полагать, что эти очаровательные существа были продажными. Дюма-сын дает на этот вопрос совершенно определенный ответ: это были вовсе не куртизанки, и если они много тратили, то только следуя правилам, принятым в обществе. Тогда во всей Франции не было человека, который жил бы по средствам, — это стало почти что лозунгом правительства, и непредусмотрительность была общей чертой. Людям казалось тогда, что эра процветания будет длиться вечно.

Так что пристрастие «дам полусвета» к бриллиантам, роскошным туалетам и деликатесам было всего-навсего данью моде. Но любовников они выбирали, не считаясь с толщиной их кошелька; конечно, состоятельность была немаловажным достоинством, но этим барышням случалось покидать богатого покровителя ради нищего комедианта, который им понравился. Вот почему большинство из них умирало почти в нищете, что — пусть это не прозвучит кощунственно — безусловно, делает им честь.

И все же в глазах чужаков полусвет сверкал тысячью огней; он казался им чем-то вроде земли обетованной, куда приходишь с полными карманами, а уходишь с пустыми. Так зачем было всему этому рою красивых женщин быть святее Папы Римского? Ведь к ним отовсюду стекались набобы, жаждущие разориться, и было бы так нехорошо обмануть их ожидания!

Как все это должно было быть удобно тем, кто, привлеченный огнями Парижа, приезжал сюда со всего света: они точно знали, где найти мир, в котором можно весело прожигать жизнь, не рискуя

совершить оплошность или заскучать... И если они и покидали этот мир с пустыми кошельками, зато уносили с собой прекрасные воспоминания — ах, эта кадриль из «Парижской жизни», этот дьявольский ритм последних радостных лет, увы, навсегда ушедшей эпохи...

Неудивительно, что появление Бланш д'Антиньи было воспринято завсегдатаями «Мэзон Дорэ» или «Кафе «Англэ» с большим энтузиазмом: ведь она была одной из этих «славных девушек», всегда готовых к удовольствиям, девушек без комплексов и без проблем, но не продажных и не жадных до наживы.

Откуда она явилась?

Она родилась в 1840 году в Мартизе, неподалеку от Буржа, и ее псевдоним не был полностью вымышленным, потому что на самом деле ее звали Мари-Эрнестиной Антиньи и она только изменила имя и добавила к фамилии частицу «д».

Как и большая часть девушек ее происхождения, она начала с того, что стала продавщицей в магазине, но, насмотревшись на богатых и элегантных покупательниц, загорелась вполне понятным желанием стать такой же, как они.

Она была свеженькая, аппетитная, смешливая... Больше ничего и не понадобилось, чтобы соблазнить Мезенцева, префекта полиции Его Величества императора Всея Руси. Мезенцев безумно влюбился в нее, едва увидев, и увез с собой в Санкт-Петербург.

И началась настоящая волшебная сказка: живущая в роскошной обстановке, сверкающая драгоценностями, принимающая у себя самых важных из придворных, Бланш скоро сделалась любимицей всего города.



Текст под картинкой:
«Мадемуазель Блани д'Антиньи».
Национальная библиотека. Фото Роже Виолле.

Но успех в обществе не помешал ей сохранить свою природную насмешливость, и по городу ходило множество легкомысленных, а то и не вполне приличных куплетов, которым она обучала своих поклонников за бокалом шампанского.

Однако ничто не могло заменить ей Парижа, и время от времени она сбегала во Францию, чтобы заказать туалеты и драгоценности, а главное — чтобы окунуться в неповторимую атмосферу этого города.

К тому же ею владело честолюбивое стремление, которого не могли заглушить все брошенные к ее ногам богатства: она мечтала играть на сцене, а артистическая карьера была для нее возможна только в Париже.

Ей понадобилась лишь пара улыбок, чтобы добиться от редактора одной петербургской газеты Иосифа Капельмана рекомендательного письма к Анри Пену, которому принадлежала парижская «Газетт дез Этранже». Капельман просил коллегу помочь *«мадемуазель д'Антиньи как можно быстрее получить дебют в оперетте на сцене «Пале-Рояля».*

Сначала Анри Пен попытался ее отговорить, что «ей придется променять свою богатую и спокойную жизнь на бобовую похлебку жизни театральной»; но все уговоры оказались тщетными.

Сидя напротив него, она объясняла, что хочет всего лишь затмить слау Ортанс Шнайдер; тогда, в 1868 году, это было верхом наглости.

Впрочем, его визави была на редкость хороша собой. «Молочно-белая кожа, золотистые, как сжатая пшеница или как шампанское, волосы, угольно-черные ресницы, бросающие легкую тень на щеки, зеленые глаза, искрящиеся лукавством», — роскошное создание, вполне в теле, как любили тогда, —

создание, в котором так и кипело заразительное жизнелюбие. Умеет ли она петь?.. Сможет ли держаться на сцене?.. Да какая разница в конце концов! Важно то, что она понравится публике, а в этом Анри Пен был уверен.

Пришлось ему пойти ей навстречу, и вскоре директора «Пале-Рояля», Планкетт и Дормей, сообщили, что «будут иметь честь и удовольствие представить мадемуазель д'Антиньи парижской публике». Нам не известно, какие причины — финансовые или какие-либо иные — способствовали столь быстрому согласию.

В ожидании своего дебюта Бланш каждый вечер показывалась в театре в компании Нестора Рокеплана, одного из столпов парижского общества. Она произвела сенсацию... о ней заговорили... ее принимали как свою.

Поэтому, когда 6 июля она впервые вышла на сцену в опереттах «Данэ и его служанка» и «Замок в Тото», зал был настроен весьма доброжелательно.

Это единодушное одобрение — даже дамы не ревновали — основывалось на том, что все были убеждены: происходящее — всего лишь фантазия пресыщенной молодой женщины, которая, осуществив свой мимолетный каприз, вернется к себе в Санкт-Петербург.

Ко всеобщему удивлению, она на редкость хорошо справилась с обеими ролями. Никто ведь не знал, сколько сил и старания она вложила в работу над ними, потому что для нее речь шла об истинном призвании, и она собиралась трудиться настолько серьезно, насколько только сможет, чтобы стать настоящей артисткой.

Назавтра ее имя появилось на страницах газет: «Мадемуазель Бланш д'Антиньи обладает зарази-

тельной живостью, весельем без налета вульгарности, очень точным ощущением парижского духа, отличным голосом, выразительными чертами лица и отменным вкусом в выборе туалетов». Сердце дебютантки, должно быть, забилося сильнее, когда в рецензии, подписанной грозным Кларети, она прочла такие строки: «Трудно было себе представить, что у мадемуазель Шнайдер так скоро появится столь опасная соперница. Возможно, из Петербурга к нам прибыла та, кто — при условии усердной работы — могла бы сместить с трона великую Герцогиню Герольштейнскую*...»

И действительно — уже 29 июля Бланш вышла на сцену в роли Мими Бамбош, которую раньше играла Ортанс.

Весь Париж собрался на нее взглянуть, несмотря на страшную грозу, которая буквально не давала выйти из дома. Но в тот вечер игралась решающая партия: в оперетте не могло быть двух королев... И журналисты, ни один из которых не пропустил этого события, затачивали свои перья, одинаково готовые хвалить и хулить.

Осыпанная бриллиантами, восхитительная в своих то и дело сменяющихся туалетах: желтом, голубом, белом, красном — улыбающаяся Бланш выиграла эту партию: она имела «тройной успех — как модница, как красавица и как актриса».

«Бриллианты мадемуазель Дюверже отжили свой век — следовательно, настало время аплодировать драгоценностям мадемуазель д'Антиньи. Сказать, что она играла восхитительно, было бы слишком

* «Герцогиня Герольштейнская» — оперетта Ж. Оффенбаха. — Прим. ред.

сильно, но за неловкостью дебютантки уже проступают ум и оригинальность.

Мадемуазель д'Антиньи обладает исключительной органичностью, временами она забавна, но всегда очень своеобразна. Замечательное ее качество — умение не принимать себя всерьез. Она играет для собственного удовольствия, но делает это настолько чистосердечно, что увлекает публику своей необузданной фантазией. Это вылитая мадемуазель Шнайдер из «Фоли Драматик», но имеет пред нею одно существенное преимущество: она на несколько лет моложе...»

Видя, какой успех имеет начинающая актриса, Плэнкетт предложил ей контракт на три года по 12 тысяч в год. Но Бланш обещала Мезенцеву вернуться в Санкт-Петербург — и честно отправилась на встречу с ним в Бад. Он был тронут ее поступком и, чувствуя, что ничто не сможет доставить ей большего удовольствия, разрешил еще разок «сыграть комедию»... Он и не подозревал, что теряет ее навсегда... Бланш никогда уже не вернется в Санкт-Петербург.

Она не обманывала Мезенцева, обещая вскоре приехать, — но разве могла она предвидеть, что произойдет встреча, которая окончательно и бесповоротно решит ее судьбу: встреча с Эрве*.

Эрве был тогда модным композитором, который только что встал в один ряд с Оффенбахом, написав «Простреленный глаз». А теперь он репетировал в «Фоли Драматик» спектакль «Шильперик III», в котором, следуя обычному своему правилу, оставил за собой главную роль. Но он поссорился с парт-

* Эрве (Флоримон Ронже; 1825—1892) — французский композитор и дирижер, один из создателей жанра оперетты-буфф. — *Прим. ред.*

нершей, Джулией Барон, и пришлось срочно подыскивать актрису на роль Фредегонды.

Тогда и состоялась «историческая встреча» — и вот как, по дошедшим до нас сведениям, она проходила:

— Есть ли у вас голос, мадемуазель?

— Да, месье, — без ложной скромности ответила Бланш.

— Хорошо, но недостаточно. У вас красивые ноги?

— Шутишь?! — воскликнула прелестная девушка. — Смотри и радуйся, великий музыкант!

И, не заставляя долго себя упрашивать, будущая Фредегонда задрала юбки до колен, открыв взору композитора и директора театра ножки поистине волшебных очертаний.

— Ну, много ли ты видел таких? — спросила она, продолжая обращаться к Эрве «на ты».

— Ей-богу, нет... И если все остальное...

— До чего любопытный... Об остальном мы поговорим позже!

Нам не хочется выглядеть нескромными, но придется уточнить, что об остальном они-таки «поговорят».

Вскоре Париж узнал, что 8 октября в 6 часов вечера Бланш, не разрывая договора с «Пале-Роялем», подписала специальный контракт с «Фоли Драматик».

Премьера стала ее триумфом. Фредегонда была увешана бриллиантами на триста тысяч франков и одета в костюм, который едва прикрывал ее прекрасное тело. Когда занавес опустился, ее наградили такими овациями, каких в этом театре и не слыхивали. Бланш стала знаменитостью.

Главным свидетельством ее популярности стало

огромное количество рецензий. Отныне каждое событие в ее жизни, каждый, даже самый незначительный поступок будут описаны, перевернаны, раздуты вездесущими газетчиками... Это была слава.

Еще одним ее признаком стали «дрожки», которыми правил «мужик» в алой шелковой рубаше, — экипаж, на подушках которого Бланш томно раскидывалась, совершая неизменный «тур вокруг озера» в Булонском лесу.

Но в особенности об успехе примадонны говорил занимаемый ею особняк — дом № 11 по улице Фридланд, арендная плата за который составляла 15 тысяч франков в год, — двухэтажное здание с полуподвалом и помещениями под самой крышей для слуг...

Вестибюль был украшен коврами, стены вдоль лестницы декорированы золочеными решетками, увитыми белой сиренью, спальня обита бледно-лиловым атласом, а мебель, кружева и шелк в ней стоили 55 тысяч франков. В будуаре на самом видном месте красовались два забавно смотрящихся вместе сувенира, которыми она особенно дорожила: папское послание Папы Римского «*Filiae meae optimaе Bianca d'Antigny*»*, отправленное им в благодарность за сбор пожертвований на нужды собора Святого Петра, и массивный серебряный ночной горшок с надписью: «Клуб «Риголо» в знак признательности Бланш д'Антиньи, Санкт-Петербург, 6/18 июня 1865 года».

Невозможно описать здесь всю роскошь ее апартаментов; отметим только, что газета «Фигаро»

* «Возлюбленной моей дочери Бланш д'Антиньи» (лат.). — Прим. ред.

посвятила отдельную статью рассказу об одних лишь залах для приемов...

Кто платил по счетам? На этот вопрос трудно ответить с точностью.

Все... И никто...

Бланш никого не любила огорчать; ее дом был открыт для всех. Ее ужины славились тонкостью блюд и богатством столовых приборов. Тон был принят легкомысленный, чуть гривуазный... Подавали отличное шампанское... И как было не отблагодарить хозяйку достойным подарком за подобный вечер — или за ночь?..

Не стоит, однако, думать, что Бланш была куртизанкой. Но у нее была публика, публика времен Второй Империи, которая любила роскошь и не простила бы артистке неуместной скромности.

Естественно, ее гонораров никогда не хватило бы на все эти драгоценности, меха, приемы, которые она устраивала и отголоски которых донеслись даже до наших дней:

...Потому что весь Париж ужинал у Бланш.

Звуки вальса «Шамперик», блеск, ажиотаж.

Золотистые шиньоны!

В ушках — изумруд!

Все парижские пажоны

побывали тут.

*Это был волшебный остров,
что ни говори.*

И шампанское, и тосты,

и вино любви.

Пузырьков игра в бокале,

И со всех сторон

*стрелы слал, крылат и славен,
шустрый Купидон.*

Перевод Ларисы Румарчук

Но каких бы покровителей она ни имела, невозможно отнести ее к разряду содержанок.

У нее было ремесло, которым она занималась со всей серьезностью и добросовестностью. Она работала над ролями, занималась голосом, училась актерскому мастерству, не желая довольствоваться лишь славой обольстительной красоты.

Что же до остального, то если здоровье позволяло ей безрассудно расходовать себя, — какое право имеем мы ее судить?

Во всяком случае, очевидно одно: если Бланш и имела столько (а то и больше) любовников, сколько ей приписывают, то она никогда не делала это ради денег. Она не понимала, почему надо отказывать понравившемуся ей мужчине в такой малости, даже если от этого не будет никакой прибыли. Единственным исключением был граф Бишоффшайм, которого она не любила, но который щедро снабжал ее средствами к существованию. Этого ей было достаточно; за излишествами она не гналась.

Однажды, когда один из ее воздыхателей посетовал на то, что, наверное, надо быть очень богатым, чтобы добиться ее милости, она дала ему листок, озаглавленный «Список моих бедняков»:

Пилотель — за шевелюру;

Эрве — за талант;

Милер — потому что он бакалавр;

Джэйм — за душевную чистоту;

Амбюрже — за элегантность;

Х, Y, Z и так далее — потому что они меня об этом попросили...

И этот анекдот говорит о ней больше, чем долгий рассказ.

И все же не нужно думать, будто вся ее жизнь состояла из одних лишь удовольствий: вкусно поесть, выпить шампанского, вдоволь посмеяться и спать не в одиночестве. На самом деле, между пятью и семью часами вечера ее нередко можно было встретить вместе с Анной Дельон в «Новой библиотеке», куда часто, как в клуб, приходили модные писатели. Читать она предпочитала романы и исторические сочинения. Рассказывают, что, готовясь к роли Фредегонды, она попросила одного из своих поклонников подарить ей полную «Историю Франции» Анри Мартена и толстенный том Мишле* с золотым обрезом.

— Мне нужно хорошенько изучить эту королеву, чтобы как следует влезть в ее шкуру.

Похвальная добросовестность, особенно если вспомнить, что играть она собиралась всего лишь в оперетте.

Возможно, именно благодаря ее серьезному отношению к профессии Эрве продолжал писать для нее роли. Конечно, композитор может доставить удовольствие красивой и известной женщине, предоставив ей возможность однажды выйти на сцену, — это вполне понятно и даже естественно; но ни один автор не станет повторять подобных экспериментов, если они закончились провалом.

Правда, Бланш не всегда приносила спектаклю успех, но в этом надо винить прежде всего совершенно неудобоваримые тексты, которые ее иногда просили произносить. И нельзя порицать ее за то, что она пыталась скрасить убожество, если не

* Мишле Жюль (1798—1874) — французский историк и писатель. — *Прим. ред.*

сказать — идиотизм этих текстов костюмами, создаваемыми для нее мадам Лаферрьер: бывают приправы, с которыми можно съесть любую отраву, и многие никудышные пьесы делали неожиданно высокие сборы только потому, что актриса была удачно одета — или, точнее, раздета.

Отныне ее имя не сходит с афиш: она играет и в «Маленьком Фаусте» Эрве, и в «Жизни в замке» Шиво и Дюрю, в новой постановке «Простреленного глаза»... Из «Пале-Рояля» она едет в «Фоли Драматик», а оттуда в «Пале-Рояль».

Ее верным рыцарем, выражаясь высокопарным стилем, был Теодор де Банвиль*. Он был от нее без ума и писал ей прелестные стихи — вроде этого наброска, который словно вышел из-под кисти Лами:

*Во всей своей прелести
Царствует Блани д'Антиньи,
Ожившая роза и лилия, более аппетитная,
Чем куропатка с трюфелями от Маньи...*

И это тоже слава: когда о тебе слагают стихи...

Но, может быть, стоит привести здесь портрет, автор которого — современник Бланш, — портрет, более точный, чем фотография, написанный без снисходительности, но и без злобы:

«У нее были неправильные черты, но — что куда важнее — приятное лицо. Блондинка с чудесными пышными волосами, с блестящими смеющимися глазами; рот немного великоват, но совершенно прелестен, зубы — ослепительные. Нос чуть крупноват и довольно забавен. Ноги изумительные, а вот руки

* Банвиль, Теодор де (1823—1891) — французский поэт. — Прим. ред.

длинноваты, но она придумала для себя покрой рукава, отлично скрывающий этот недостаток. Плечи великолепные. Бланш была высокой, даже чересчур высокой, но уверенность, сквозившая в ее походке, превращала это в еще одно достоинство...»

Бланш стала одной из королев Парижа, но это не слишком ее трогало. Ее забавляли все эти преследующие ее взгляды, грохот аплодисментов... Успех пьянил ее, как шампанское — то самое шампанское, которым она, как рассказывают, заполняла свою ванну, чтобы искупаться.

Иногда она получала письма от Мезенцева: эхо ее триумфов докатывалось даже до далекой России. Мезенцев радовался за нее: должно быть, он все еще ее любил...

Жизнь была прекрасна, и Бланш была счастлива. Вот и исполнилась мечта ее юности...

Но 19 июля 1870 года началась война. Праздник кончился...

Театры объявили «перерыв на неопределенное время», и последние звуки оркестров угасли, как угасли огни рамп.

Париж опустел — те, кто устраивал шумные празднества, покинули его. Одни сбежали к родственникам в провинцию или в собственные поместья, другие — их было больше — отправились на военную службу, и многие франты сражались и умирали как герои, — они, которые, казалось, умели только помирать со смеху от удачной остроты или млеть при виде красивой девушки.

А сами красотки? Что стало с ними?

Что ж, они просто выполняли свой долг теми средствами, которые были им доступны. Они устраивали представления в пользу госпиталей, разносили шампанское на частных благотворительных спектак-

лях и назначали свои поцелуи выигрышами в лотереях, средства от которых шли в пользу раненых.

Бланш, чья доброта была общеизвестна, открыла для раненых свой особняк на авеню Фридланд и, чтобы послужить общему делу, устраивала там вечера, куда собиралось около пятисот человек, только и составлявших в то время «весь Париж».

Но светские репортеры, которым в это грустное время почти нечего было описывать, жадно набросились на эту информацию — и вывернули ее наизнанку, крича на всех углах, что за «так называемыми благотворительными праздниками» у Бланш в действительности скрывались оргии и вакханалии.

У дверей особняка собралась толпа, в окна летели камни... Бланш успокоила нападавших, предложив реквизировать своих двух лошадей, но люстры, на которых ее грозились повесить, загасила.

Она не понимала, за что ее поносят и почему осуждают за то, за что других женщин возносят до небес. Она не отдавала себе отчета в том, что это ее прошлое породило весь этот поток клеветы. Если бы она принадлежала к «свету», ее поведение во время войны не просто ценили бы, но и прославляли.

Но наконец трудная зима окончилась, осада была снята и мир подписан.

С возвращением парижан домой началась обычная парижская жизнь с ее прекрасными вечерами и разноцветными огнями.

17 марта 1871 года Бланш снова вышла на сцену: это был спектакль «Белая кошечка» в театре «Гэтэ». Поклонники встретили ее овацией.

Увы, вскоре разразилась Коммуна, и правительство «эмигрировало» в Версаль — переждать, пока в столице дела пойдут лучше.



Партитура «Маленького Фауста».
Национальная библиотека. Фото Пьера Марешала.

Не было больше речи ни о театре, ни о балах, ни о приемах, даже благотворительных, — на парижских улицах, при неверном свете пожаров, играли совсем другой спектакль...

Парижане больше боялись революции, чем войны: может быть, они понимали, что это переворачивается страница истории и что никогда теперь жизнь уже не будет такой сладостной и такой легкой...

И действительно, когда в стране снова воцарилось спокойствие, прежняя беспечность уже не вернулась: словно весь народ разом повзрослел...

И все-таки — плохо ли, хорошо ли — жизнь возвращалась на круги своя, и Бланш вышла на подмостки «Фоли Драматик» в одной из своих самых удачных ролей — Маргариты в «Маленьком Фаусте». Она вновь обрела свою прежнюю публику, потому что люди теперь приходили в театр, ища в Бланш и ее песенках отзвуки эпохи, вместе с которой ушла их молодость. Может быть, именно в этом и заключалась причина того, что сборы возросли.

Один памфлетист, по фамилии Освальд, избрал Бланш объектом своих нападок. Он упрекал ее в «тупой настырности, с которой эта толстая девица демонстрирует на сцене свои грубые манеры и хриплый голос», и, хотя и не мог отрицать очевидного успеха спектакля, утверждал, что «мадемуазель д'Антиньи была бы неправа, ставя себе в заслугу это скопление народа». Более того, он добавил: «Я думаю, что без нее сборы бы только возросли». Разве можно быть более любезным!

А Бланш лишь посмеивалась над наскоками Освальда: она-то понимала, что публика приходит ради нее. К тому же она знала, что еще способна

разбивать сердца: в нее всерьез влюбился молодой тенор, исполнявший роль Валентина.

Он не признавался ей в своем чувстве, но страшно краснел каждый раз, когда к ней обращался, и эта застенчивость забавляла и трогала ее.

Бедный парень не был ни красив, ни богат, ни элегантен; внешность его была настолько заурядна, что товарищи называли его «увальнем» — впрочем, совершенно беззлобно: он был таким приятным человеком, что не имел врагов. Кроме того, у него был такой красивый, гибкий и мягкий голос, что он пользовался расположением как публики, так и критики. Журналисты находили его игру «искренней и симпатичной, а голос чистым и звучным» и полагали, что в «Маленьком Фаусте» он показал себя «изобретательным художником, искусным певцом и истинным артистом».

Его звали Люс.

Бланш как-то мимиходом поинтересовалась его прошлым. Она узнала, что Люс — бывший рабочий-чеканщик, который забросил свою мастерскую ради дешевых кафешантанов Латинского квартала, где он «пел, танцевал и кувыркался», что оказалось весьма полезно для формирования будущего актера оперетты, которая еще не называлась тогда ни «музыкальной комедией», ни «мюзиклом».

Надо думать, он имел успех, потому что вскоре его пригласили в труппу «Фоли Сен-Мартен»; затем — в «Эльдорадо» и, наконец, в «Фоли Бержер», где он играл в спектакле «Дядя Помар», которым открылся театр.

Затем он получил ангажемент в «Атене», где сначала сыграл великана-людоеда в спектакле «Мальчик-с-пальчик», а потом — главную роль в оперетте — «Чайный цветок».



Люс.
Фото Пьера Маршала.

Это была его первая заметная роль, и он сыграл ее так хорошо, что, когда пьесу поставили в «Варьете», на главную роль снова пригласили Люса.

Он еще не стал звездой, но уже снискал некоторую известность, поэтому Моро Сэнти, директор «Фоли Драматик», поспешил подписать с ним контракт. Тогда и произошла первая встреча Люса с Бланш.

Для нее он был поначалу лишь второстепенным актером, ничем особо не выделявшимся, кроме разве что чудесной улыбки.

Их история могла бы здесь и закончиться, не начавшись, так как Бланш, у которой был контракт с «Пале-Роялем», должна была там играть в «Трикош и Каколе», новом водевиле Мейлака и Галеви.

Но это не устраивало директора «Фоли Драматик»: ему необходима была звезда, которая привлекала бы публику, и он решительно настаивал, чтобы Бланш участвовала в ближайшей премьере — «Ящике Пандоры» и Литоффа и Теодора Баррьера, пародии в стиле «Орфея в аду».

Чтобы переманить примадонну, были использованы все средства: ей предлагался столь же выгодный контракт, как в «Пале-Рояле», было обещано уплатить неустойку, но главный аргумент был такой: артистке сделают для роли Минервы не один, а целых два комплекта доспехов, которые выгодно подчеркнут ее формы и оставят открытыми ноги, являвшиеся — и не без основания! — предметом особой гордости Бланш.

Мадемуазель д'Антиньи в роли богини мудрости... Вот уж действительно анекдот! Но эта актриса должна была придать особый вес будущей премьере.

Особый вес... Это выражение подходило к ней как нельзя лучше — не случайно же Жувен, зять Виллемезана, так сформулировал общее мнение:

— Если бы Олимп вдруг расформировали и этой богине пришлось подыскивать себе занятие, из нее получилась бы отличная жена мясника...

Решительно в ту пору критикам не хватало элементарной вежливости!

Должно быть, любопытный это был спектакль! На сцене царила Минерва — пышнотелая, увешанная бриллиантами: актрисы в те времена, вне зависимости от амплуа, имели обыкновение надевать на сцену если не все имеющиеся в наличии драгоценности, то, по крайней мере, большую их часть.

И опять-таки Банвилю мы обязаны подробным изображением этих пресловутых доспехов. Не можем отказать себе в удовольствии угостить вас этим описанием.

«Железная кираса, сделанная из наслаивающихся чешуек, облегла ее туловище, грудь и могучие бедра. Руки у нее были обнажены, но к верху кирасы железными цепочками, заканчивавшимися античными медалями, были прикреплены газзовые рукава, декорированные железными же кружевами. Золотая кираса отличалась от железной лишь тем, что ее украшал большой орел, в точности воспроизведенный на шлеме с белыми перьями, из-под которых выбивалась белокурая грива, — орел с распахнутыми крыльями, усыпанными бриллиантами. Тяжелое ожерелье, медальон и лучезарные бриллиантовые подвески в ушах — ручей из светлых огоньков и искрящихся цветов — дополняли этот драгоценный убор Афины Паллады...»

Нечего удивляться тому, что Люс, который пел в спектакле вместе со своей возлюбленной, совсем потерял голову. Правда, текст их знаменитого дуэта весьма этому способствовал. Сюжет был таков: Минерва, влюбленная в застенчивого Прометея,

пристает к нему, начиная с первого акта, с явно недвусмысленными требованиями:

МИНЕРВА

Представь себе, что я — Олимп!

Карабкайся по склону.

Седьмое небо — небо нимф,

мой юноша влюбленный.

Когда Прометей набирался дерзости поцеловать кончики ее пальцев, потом ладонь, затем предплечье, она подбадривала его следующими словами:

МИНЕРВА

Ах, Ах, да выше, выше же!

ПРОМЕТЕЙ

Куда же выше, Боже!

Ведь над Олимпом я уже

вишу, неосторожен.

(Целует ей руку еще выше и поднимается таким образом до плеча.)

МИНЕРВА

Еще, еще, еще шажок!

ПРОМЕТЕЙ

Ну что? Ну здесь? Ну хватит?

МИНЕРВА

А вот и нет. Еще, дружок.

Ты ленишься некстати.

Перевод Ларисы Румарчук

Автор этих строк явно не был большим поэтом — но публике куплеты нравились...

А еще больше все это нравилось молодому тенору, хотя он и был столь стеснителен, что лишь имитировал поцелуи, не решаясь коснуться губами кожи, запах которой его опьянял.

В конце концов Бланш взволновала эта сдержанность, к которой она не привыкла, и, видя, что ее воздыхатель никогда в жизни не отважится на решительные действия, она сама решила сделать первый шаг.

То, что было дальше, дошло до нас в виде забавного анекдота: Бланш пригласила молодого человека в свою гримуборную и сказала, долго, пристально и ласково глядя на него:

— У тебя в глазах целые миры...

— Не смейтесь!.. Спрячьте ваши губы! — взмолился он, заливаясь краской.

— Возьми их...

И он взял...

Спектакль между тем провалился, быстро сошел с афиши и был благополучно забыт — но Бланш Люса не забыла...

В начале нашего рассказа мы подробно описали особняк Бланш.

Подталкиваемые любопытством, мы разыскали выписку из кадастра, служившего тогда основой для сбора налогов на недвижимое имущество, где с присущей подобным документам сухостью показано, что представляло собой жилище Люса: убогая темная комната на втором этаже с окнами во двор... Очевидно, обстановка там была бедной, но опрятной... В разнице их жилищ, как в зеркале, отразилась вся драма этой связи. Люс ли приходил к Бланш или наоборот? Как хотелось бы найти

ответ на этот вопрос — ведь это многое бы объяснило...

В первом случае тенор должен был чувствовать себя одним из Бог знает скольких любовников, несмотря на все положенные клятвы... Во втором — словно богиня спускалась с небес к простому смертному...

Но как бы там ни было, они больше не расставались, к величайшему сожалению завсегда-ев особняка на авеню Фридланд.

Любовники не разлучались даже на работе, потому что служили в одном и том же театре и играли вместе каждый вечер.

К несчастью, спектакли, в которых они принимали участие, успеха не имели: «Башня Зеленого пса» провалилась в январе 1872 года «под улюлюканье и свист огромного скопления публики», несмотря на заказанные для Бланш у мадам Лаферрьер костюмы; пьесу «Рюи Блаз из дома напротив», пародию на Гюго, постигла та же участь.

Но Люс был счастлив: ему было наплевать на успех спектакля, лишь бы находиться рядом с той, кого он так любил.

А Бланш злилась: «Трикош и Каколе» шли с триумфом, и она сожалела, что не занята в этой постановке. Совершенно очевидно, что в подобной ситуации блаженная радость партнера должна была особенно действовать ей на нервы.

Немного утешили ее гастроли в Лондоне. Она играла там «Простреленный глаз» и «Шильперика» с таким блеском, что, говорят, Ортанс Шнайдер, исполнявшая в том же городе роль Герцогини Герольштейнской, лопалась с досады.

Критики просто бредили мадемуазель д'Антиньи, даром что англичане:

«Жемчуга во рту, бриллианты вокруг шеи — и алмазные стрелы из глаз, стрелы, поразившие сердца восхищенных зрителей...»

Люс разделил с ней триумф; это были его последние счастливые дни.

Правду сказать, Бланш начинала тяготиться им: она любила смеяться и шутить, а романтическая любовь, на которую обреч ее бедный малый, ее уже совсем не забавляла.

Когда 7 сентября 1872 года они вместе сыграли «Мазепу» Шабрийа и Дюпена, он ее все еще обожал, а она... она его больше не любила.

После первых же представлений стало ясно, что спектакль, скорее всего, долго в репертуаре не продержится, и Бланш уже прикидывала, как бы разорвать контракт с «Фоли Драматик», а заодно избавиться и от Люса.

Но, как ни парадоксально, «Мазепу» спасла злоба критиков. Они раздули целый скандал вокруг подвенечного платья, которое Бланш надевала во втором акте, и весь Париж пожелал взглянуть на актрису в этом туалете. *«Что за непристойность! Никогда еще искусство раздеваться не заходило так далеко! Рядом с этим платьем, которое ничего не прикрывает, фиговый листочек Евы показался бы просторным плащом!»* — бушевал один из репортеров, и ни одна хорошо организованная рекламная кампания не могла бы вызвать к спектаклю большего интереса.

Чего же удивляться, если после такой статьи сборы существенно увеличились?

Все были довольны, кроме, может быть, Люса... Где ты, дуэт из «Ящика Пандоры»? Теперь Бланш-



*Здание на булваре Мажента, где умер Люс.
Фото Пьера Марешаля.*

Фриска могла петь Люсу-Мазепе: «Я женщина, и я тебя люблю», — но сердце ее больше не трепетало.

Она находила многочисленные предлоги, чтобы пропускать свидания, и немного нервничала из-за того, что Люс, казалось, не понимал: все между ними кончено. Она была слишком добра и не могла объясниться напрямую, но ей очень хотелось, чтобы он сам, как другие, смирился с неизбежным и «удовольствовался тем, что она ему уже дала».

Как только «Мазепа» сошел с афиши, а это случилось довольно скоро, она перешла в «Меню Плезир» и играла там «Курочку, несущую золотые яйца» Эрве. В конце спектакля уличная певичка преображалась в богиню, «увенчанную золотым шлемом, с пышным бюстом, гордо обтянутым кирасой из золотых чешуек». Решительно, этот костюм, «подчеркивавший округлости и обтягивающий шелковой сеткой прекрасную обнаженную плоть», стал для нее традиционным.

У театралов зрелище вызывало приливы крови, потому что в основном публика была более чем зрелого возраста. «Фигаро» написала: «Можно было подумать, что ты в Опере, столько в первых рядах партера виднелось лысых голов и красных розеток».

Бедняжка Бланш, она не осознавала, что способна теперь лишь пробудить спящее в сердцах престарелых господ животное.

Что касается Люса, то он не мог вынести жизни вдали от нее. Ему необходимо было ее присутствие, пусть даже только во время спектакля. И вот он разрывает свой контракт с «Фоли Драматик» и вступает в труппу «Меню Плезир». Через два месяца ему предстояло снова оказаться на одной сцене со своим кумиром.

А пока он каждый вечер после спектакля приходил взглянуть на свою возлюбленную. Он не приближался к ней, не говорил ни слова: он просто пожирал ее глазами, и этого счастья ему хватало до следующего дня.

Можно себе представить, как он выскакивает со сцены, весь в поту, не тратя времени даже на то, чтобы разгримироваться, и мчится с улицы Бонди (теперь — Рене Буланже) на Страсбургский бульвар, чтобы не пропустить выхода Бланш.

Но тогда, в самом начале 1873 года, стояли страшные холода. Париж весь заиндевел, бассейн Пале-Рояля покрылся льдом, и говорили, будто даже аисты улетели в южные края...

Дрожая от холода, Люс прижимался к стене у артистического подъезда и ждал, когда откроется дверь и появится его любимая. Иногда ждать приходилось долго, потому что Бланш после спектакля принимала гостей в своей гримерной. Но Люс не двигался с места, он лишь поднимал воротник своего пальто, которое почти не защищало его от холода.

И вот, наконец, Бланш — цветущая, улыбающаяся... Она бросает шуточки провожающим, она нежно целует всех по очереди на прощание и, вполголоса напевая какой-то мотивчик, садится вместе с Бишоффшаймом в карету, дверцу которой открывает окоченевший в ожидании кучер.

Люс успевал только увидеть светлые кудри и угадать очертания зябко укутанного в меха тела, воспоминания о котором продолжали терзать его.

Он ни разу не позволил себе даже жеста, который можно было бы принять за мольбу или угрозу... Не двигаясь с места, он молча смотрел, как удаляется карета, увозящая его любимую и ее

покровителя туда, где в то время модно было ужинать.

А он — он останется без ужина... Да и обедал ли он сегодня? Его заработков хватало лишь на то, чтобы поддерживать весьма скромное существование, однако же он ухитрялся даже из этих небольших доходов выкраивать деньги на букеты для Бланш. Обнаруживая присланные им цветы у себя в гримерной или у дверей своего особняка, она смеялась и, чуть растроганная, говорила своему сегодняшнему избраннику, чтобы возбудить в нем ревность: *«Бедняга Люс... Вот кто действительно меня любит!..»*

Потом, заговорившись, она забывала позвонить прислуге, чтобы та поставила цветы в воду.

С ее стороны это было не безразличие — это было непонимание. Ей даже в голову не приходило, что человек, так хорошо знающий ее, ее образ жизни, ее отношение к любви, которую она воспринимала лишь как способ приятно провести время, — что этот человек может питать к ней такую романтическую и мучительную страсть. Для нее он был только одним из многих, и хотя его верность ее трогала, но одновременно и немного раздражала: надо же быть таким дуралеем!

Бланш знала, что он подолгу простаивает у служебного входа театра на улице Бонди, но думала, что ему это вскоре наскучит. Она только побаивалась, что он однажды возмутится, станет предъявлять на нее права... Ведь жизнь так коротка, не так уж много нам отпущено счастливых дней... Где же найти время для любовных горестей, даже если это любовные горести ближнего?!

Но вскоре комедия обернулась драмой: Люс в конце концов простудился и заболел.

Если бы он начал лечиться, едва появился кашель, если бы прекратил свои ежевечерние походы на Страсбургский бульвар, он бы, наверное, быстро поправился. Но бедняга ни за что на свете не хотел пропустить ни одного из этих печальных свиданий — свиданий со своими воспоминаниями.

Его состояние ухудшалось, вскоре началось кровохаркание, и ему пришлось наконец лечь в постель — впрочем, он уже и так не держался на ногах.

Мир театра — это большая деревня. Узнав о болезни своего бывшего любовника, Бланш примчалась на бульвар Мажента и заняла место у его изголовья.

Она хотела быть единственной его сиделкой и оставляла его только вечером, уходя на спектакль. Как только занавес опускался, она возвращалась к нему и, отказываясь от всякой посторонней помощи, выполняла самую черную, самую грязную работу, не брезгуя ничем. Часто ее губы прижимались к горящим в лихорадке губам Люса в нежном поцелуе.

Была ли это любовь, или угрызения совести, или просто человеческое участие? Мы этого уже не узнаем. Но очевидно, что она дала Люсу в течение этой последней его недели больше, чем за все время их короткого романа.

В бреду умирающий вспоминал обрывки песенок, которые исполнял когда-то в «Эльдорадо» или в «Фоли Бержер». Бланш прислушивалась к его угасающему голосу, держала Люса за руку и плакала...

Иногда на час или на два Люс приходил в себя, и начинались клятвы, планы, он говорил о нежной любви и счастливом будущем, которое их ждет... Потом болезнь опять вступала в свои права, и бред возобновлялся...

Наконец, 28 января, лицо Люса исказила предсмертная судорога; Бланш наклонилась к нему и в последний раз поцеловала побледневшие губы. Было девять часов вечера...

В «Театр Франсэ» в тот вечер давали «Мадемуазель де Бель-Иль», в театре «Тур д'Овернь» репетировали «Октожен» — пьесу, написанную господами Ламбером и Тибо, «с целым батальоном весьма юных и красивых женщин». Жизнь продолжалась...

Но Бланш вышла на сцену только после похорон; она до последнего оставалась на бульваре Мажента рядом с человеком, который в буквальном смысле умер от любви к ней.

Один из журналистов, не называя имен, воздал ей должное на страницах своей газеты:

«В течение восьми последних дней, которые предшествовали его смерти (речь идет, естественно, о Люсе), одна из его коллег регулярно появлялась у него в четверть первого ночи, отыграв свою роль в хорошо известном вам спектакле. Она усаживалась у изголовья больного и ухаживала за ним с восхитительной преданностью. Эта дама — из тех, кого называют «славными девушками»: выражение, быть может, несколько банальное для мира, где разворачивались эти события. Но надо признать, что именно в этом мире, как бы ни поносили его буржуа, чаще всего встречаются такие вот «славные девушки».

Хотя Люс не был звездой, публика его любила; кроме того — редчайший случай в театральном мире! — любили его и товарищи по сцене.

Ему устроили роскошные похороны, каких не достаивались даже великие теноры. Отпевание проходило в квартале Сен-Мартен, на улице Марэ,

в церкви, где три года спустя состоятся пышные похороны Фредерика Леметра*.

Служба началась в два часа пополудни; хористки из «Фоли Драматик», хотя и привыкли к совсем иным текстам и мелодиям, пожелали сами спеть вечерню, которую наскоро выучили и отрепетировали, добавив туда даже трехголосие Плантада.

Акомпанировал на органе Эрве, и это стало доказательством его любви к Бланш: играть для того, кто, как и многие другие, был соперником композитора в погоне за милостями примадонны. Как жаль, что технические средства того времени не позволили записать траурный марш, который он импровизировал, отдавая последний долг усопшему, и, если в этой печальной мелодии проскользнуло несколько нот из «Маленького Фауста» или «Простреленного глаза», никто за это не осудил его, даже наоборот.

Дорога на кладбище Сен-Дени казалась нескончаемой, потому что было холодно и опускались сумерки.

Похоронную процессию засыпало снегом, и надо было обладать большим мужеством или быть настоящим другом покойного, чтобы пройти этот путь до конца. Во главе траурного кортежа шли Алексис Бувье и Анри Шабрийа.

У открытой могилы Бувье даже произнес речь, а пока гроб медленно опускали в землю, хористки в последний раз пропели «De Profundis»**. Это было очень трогательно: скромные труженицы сцены пожертвовали своими немногими часами отдыха для

* Леметр Фредерик (1800—1876) — французский артист, известный актер своего времени. — *Прим. ред.*

** «De profundis» («Из глубин», лат.) — начало покаянного псалма, который читается как отходная молитва над умирающим. — *Прим. ред.*

того, чтобы убаюкать религиозной песнью уснувшего последним сном товарища.

А что же Бланш?

Вся в черном, как вдова, под глухой вуалью, она горько рыдала, и каждый из присутствовавших с тревогой размышлял о том, во что выльется подобное горе.

Кое-кто даже сомневался, захочет ли она снова выйти на сцену, и в последующие несколько дней все эти события обсуждались с волнением, соответствующим тому, какое место занимали в парижской жизни малейшие подробности из жизни «дам полусвета».

До нас дошла трогательная история о том, как артистка пришла за авансом к директору «Меню Плезир», который очень удивился, когда женщина с десятитысячными бриллиантовыми серьгами в ушах попросила срочно выдать ей 150 франков. А она смущенно ответила, что ей нужно оплатить цветы на похоронах Люса и что она хочет сделать это только из честно заработанных денег...

Разумеется, этот рассказ, как и многие подобные ему, в действительности был не чем иным, как плодом воображения, — и все же подобные истории до глубины души трогали людей, которые готовы были многое простить Бланш за то, что она много любила...

Но она была не из тех, кто долго плачет. Вскоре она снова вышла на сцену «Меню Плезир» в спектакле «Новобрачная из Сен-Дени». В зале была ее обычная публика: «гардении... небесно-голубые платья... розовые шиньоны... жилеты с глубоким вырезом»...

Пьеса была ужасна и вскоре провалилась: шум,

вызванный смертью Люса, давно уже утих, и любопытство уже не влекло зрителей в театр.

А Бланш еще никогда так не нуждалась в успехе: ей наступали на пятки кредиторы, она задолжала и каретному мастеру, и торговцу париками...

Она не впервые оказалась в подобной ситуации, но прежде у нее были богатые поручители, да и сама ее слава обеспечивала ей солидный кредит. Теперь же, что греха таить, она вышла из моды: кто-то еще приходил взглянуть на нее, привлеченный отголосками былой известности, но в целом юная Республика воспринимала ее как представительницу отжившей эпохи Второй империи. А поскольку содержать гаснущую звезду считалось дурным тоном, некому было обеспечить ей ту роскошь, к какой она привыкла. К тому же ей ведь было уже за сорок...

Если бы она не рассорилась с Бишоффшаймом, он бы, конечно, продолжал снабжать Бланш всем необходимым. Но они разошлись — может быть, из-за Люса, может быть, по какой-то иной причине... Во всяком случае, она осталась одна лицом к лицу со своими долгами.

Охваченная внезапной паникой, она кинулась за помощью к друзьям. Вот что она написала Бермону: *«Эти господа совершенно неумолимы. Прошу вас, немедленно черкните им словечко и уговорите обождать до субботы, — пока не придут деньги...»*

Но никто не торопится так, как судебные исполнители: они чуют запах банкротства. И когда в назначенный день деньги все-таки не появились, на ее лошадей, на ее кареты, на ее драгоценности был наложен арест. Бланш была вынуждена покинуть свой особняк на авеню Фридланд и переехала в меблированные комнаты на улице д'Антен.

Она попыталась продать по сходной цене принадлежавшие ей картины и бриллианты, но опыта в подобных делах у нее не было, и полученной суммы оказалось недостаточно. Был наложен арест и на ее гонорары в «Меню Плезир», которые поднялись до сорока франков за спектакль, что, даже если перевести на наши современные деньги, совсем немного.

К счастью, в этот момент ей предложили турне по Египту. Она сразу же вообразила себе арабского пашу, несметные богатства, сокровища Голконды...

Она отправилась в путь 15 октября 1873 года с двумя своими камеристками: Амбруазиной и ее дочерью Генриеттой, — и даже со своим кучером Жюстенем.

1 ноября поднялся занавес в александрийском театре «Зизиния». Французскую диву приветствовали восхищенными выкриками и бурными овациями. Но вдруг в зале раздался свист, топот, улюлюканье... Все это безобразие было, по всей видимости, организовано артисткой Флорой Руссо, позавидовавшей успеху Бланш, и осуществилось под руководством ее любовника — некоего Эбеда, именовавшего себя Абетом. Началась жуткая потасовка, зал разделился на два лагеря, которые осыпали друг друга бранью и тумакками. Представление было прервано, пришлось спешно опустить занавес.

Взбешенная и уязвленная Бланш аннулировала ангажемент и уехала в Каир. Александрия долго еще гудела, с трудом успокаиваясь после ее краткого визита.

В Каире ее с почестями принял хедив*, а чтобы не оказаться забытой на родине, Бланш ежедневно

* Хедив (перс. — господин, государь) — титул египетских правителей 1867—1914 гг. — Прим. ред.

телеграфом сообщала в «Фигаро» о своих успехах, и газета регулярно печатала отчеты о ее гастролях.

Но, к сожалению, все хорошее быстро кончается. Пришлось Бланш вернуться в Париж — вернуться такой же бедной, как уезжала, потому что, несмотря на щедрость хедива, оплата только самых неотложных долгов поглотила всю прибыль, какую она извлекла из этой поездки.

Увы! Она вернулась в Париж, но не на сцену...

Напрасно добрый Банвиль, чтобы утешить ее после скандала в Александрии, сочинил для нее забавную оду:

*Прекрасная о Бланш д'Антиньи!
Она чарует Ниццу и Ланьи.
И даже на обедах у Маньи
прекрасней нету Бланш д'Антиньи.
Она с полотен Рубенса сошла.
Ее богам — богам любви — хвала!*

Перевод Ларисы Румарчук

Истина обязывает нас сказать, что в первой версии «оды» вместо слова «боги» было написано «святые»...

Чтобы о ней не забыли окончательно, она время от времени посылала информацию в «Театральный курьер...», сообщая о своих планах...

А на самом деле — она умирала. Умирала от той же болезни, что и Люс, чьи лихорадочные поцелуи стали для нее роковыми.

Худая, глаза обведены свинцовыми кругами... Она не строила никаких иллюзий по поводу своего состояния.

Все, чего она хотела, это испустить последний вздох в особняке, который сняла на бульваре Осман

и в котором мечтала устроить потрясающее новоселье.

Из отеля дю Лувр, где она жила в ожидании окончания работ в особняке, ее везли туда медленно, придерживая лошадей. Она лежала на носилках.

Едва успев добраться до места, Бланш умерла. Это случилось 27 июня в 11 часов вечера. Причина смерти — вызванное туберкулезом внутреннее кровотечение. Рядом с ней находился священник...

Весь Париж шел за ее гробом: завсегдатаи с галерки и публика из первых рядов партера, модники и артисты, уличные девки и светские львы...

Целых два дня в городе только и было разговоров, что о ней: для многих ее смерть стала прощанием с молодостью.

О ней еще долго судачили, преувеличивая и перевирая каждую мелочь... Можно сказать, что она вошла в легенду.

Банвиль оказался единственным парижанином, верным ей и после смерти:

«Я не из тех, кто говорит: «Это пустяки...»

На 13 февраля 1875 года в отеле «Друо» были назначены торги «после кончины покойной мадемуазель Бланш д'Антиньи», и обычные стервятники — завсегдатаи подобных распродаж — растащили по кусочкам все, что осталось после нее...

А несколько лет спустя один человек сделал ей самый драгоценный подарок: он преподнес ей бессмертие... потому что именно Бланш д'Антиньи послужила основным прототипом главной героини романа Эмиля Золя «Нана».

Так что она не исчезла бесследно — та, о которой верный Банвиль писал:

«Она была парижанкой в полном смысле этого слова, она была частью нашей жизни, и мы не скоро забудем эту прелестную живую розу, которую она горделиво прикалывала к своим волосам...»

МАРИЯ И ПЬЕР КЮРИ

Улица Гласьер, 24

«**К**огда я вошла, Пьер Кюри стоял в проеме балконной двери. Он показался мне совсем молодым, хотя к тому времени ему уже исполнилось тридцать пять лет. Я была потрясена выражением его светлых глаз и ощущением какой-то неприкаянности, исходившим от его высокой фигуры. Его речь, чуть медлительная и задумчивая, его простота, его серьезная и одновременно юношеская улыбка вызывали доверие. Между нами сразу же завязался разговор, очень скоро ставший дружеским; мы говорили о кое-каких научных вопросах, по поводу которых мне было очень интересно узнать его мнение...»

Так Мария Кюри рассказывает о своей первой встрече с тем, кому суждено было стать ее мужем.

Однако в то время, то есть в начале 1894 года, Маня Склодовская и не помышляла ни о какой любви: она отлично осознавала свое положение бедной девушки, ко всему еще и иностранки, которая должна во что бы то ни стало сдать экзамены, если она хочет иметь средства к существованию.

Там, в Польше, в Варшаве, ее отец из кожи вон лез, чтобы высылать ей по сорок рублей в месяц, которых еле-еле хватало на жизнь.

Сорок рублей... Это означало по тогдашним



*Пьер и Мария Кюри.
Фото Роже Виолле.*

деньгам три франка в день, и из этих трех франков необходимо было платить за жилье (на отопление уже не хватало), покупать еду, оплачивать занятия в Университете, учебники, книги, одежду... Питалась она ужасно, и одна из ее подруг, при которой она упала в обморок, сообщила об этом зятю девушки Казимиру Длускому, который, на счастье, был практикующим врачом, хотя, разумеется, испытывал на себе все трудности, с которыми сталкиваются начинающие специалисты.

Казимиру не понадобилось много времени, чтобы поставить диагноз: Мария умирает с голоду. Однако, проведя несколько дней в гостях у молодой четы, которая кормила ее и заставляла отдыхать, девушка сослалась на необходимость серьезной работы и продолжала дальше «жить святым духом».

Она могла бы остаться у сестры и зятя, они ей это предлагали, но она была для этого слишком независима и слишком горда.

А ведь Бронислава, ее сестра, была ей обязана буквально всем: чтобы та смогла уехать в Париж и продолжать учебу, Мария, тогда еще Маня, в течение четырех лет, жертвуя собственными честолюбивыми надеждами, работала в Варшаве воспитательницей в богатых домах и посылала Броне сумму, которой почти целиком хватало на ее нужды: сначала четыреста, потом пятьсот рублей в год. Правда, та, как только сумела, мало-помалу отдала сестре долг, но вот чего она не смогла ей вернуть, так это хотя бы некоторой беззаботности. Несчастная любовь открыла молодой девушке, что социальное неравенство может существовать даже между теми, кто не мыслит жизни друг без друга, и что если сын твоих хозяев без памяти в тебя влюбился, это еще не значит, что дело закончится свадьбой, как в волшеб-

ных сказках. Это достаточно жестко объяснили Марии, которая тем не менее не отказалась от места, потому что знала: сестра нуждается в том, что она зарабатывает. Девушка довольствовалась тем, что стала еще более неприметной, еще более смиренной... Хотя, надо сказать, польки тогда вообще были приучены к покорности: их страна была оккупирована русскими, и всякое открытое сопротивление жестоко подавлялось.

Мария прошла отличную школу молчания. Впрочем, это отнюдь не означало, что она покорилась на самом деле... Но ее возлюбленный оказался слабохарактерным и не решился пойти против родителей. Разочарованная Мария вернулась к тому делу, которым занималась и прежде у себя в деревне: она обучала польскому языку детей, которым официально разрешалось знать только русский. Девушка хорошо выполняла свою работу, стараясь не думать о будущем, потому что при той жизни, которую она вела, никакого будущего у нее не было.

А потом пришло письмо от сестры, только что вышедшей замуж за студента-медика, тоже поляка:

«А теперь пора и тебе как-то устроить свою жизнь, моя малышка Маня. Если бы ты собрала в этом году несколько сотен рублей, то в будущем году могла бы приехать в Париж... Тебе действительно необходимо подкупить несколько сотен, чтобы записаться в Сорбонну... Я тебе гарантирую, что через два года ты получишь ученую степень...»

Фразы, написанные между двумя лекциями на вырванном из тетрадки листочке, плясали у нее перед глазами... И все-таки она колебалась: ведь существовал отец, одинокий человек, о котором надо было позаботиться... существовали младшие брат и сестра, которым нужно было помогать... Вот что она

писала в ответном письме Броне 12 марта 1890 года:

«Я тебе уже наскучила разговорами о Хеле, об Иосифе, об отце, о моем собственном несостоявшемся будущем. На сердце у меня такая тяжесть, мне так грустно, что я все время чувствую: ну, не должна я вваливать на тебя все это и отравлять твое счастье... Ты — единственная из всех нас, кому улыбнулась удача...»

Мы знаем из воспоминаний отца Мани, что от всех этих переживаний она приболела. На самом деле, хотя он и сам себе в этом не признавался, он был очень доволен, что дочь остается с ним в Польше.

А впрочем — кто знает, вполне может быть, что в своем письме Мария кое-что утаила... Она не порвала окончательно со своим возлюбленным и в глубине души все-таки надеялась, что ему удастся победить сопротивление родителей. Она отпустила на это год, в течение которого жила в Варшаве в родительском доме.

Мария обрела здесь старых друзей, позабытое за время скитаний по чужим домам тепло, а самое главное — случилось событие, определившее все ее будущее: впервые в ее распоряжении оказалась лаборатория.

Ее собственный кузен под прикрытием «Музея промышленности и земледелия» — это название не вызывало беспокойства у русских — предпринял попытку обучать молодых поляков наукам, весьма нежелательным для оккупантов, которым была известна сила образования. Как всегда жадная до обучения и полная энтузиазма, Мария записалась на эти курсы. В ее мемуарах мы находим рассказ о маленькой девочке, приходившей в восторг от науч-

ной аппаратуры, которую ее отец держал в застекленном шкафу. Маня тогда еще не догадывалась, что это восхищение было свидетельством пробуждавшегося призвания...

На курсах она довольно быстро проделала несколько удачных экспериментов и с каждым днем увлекалась наукой все больше. Между делом она организовала свадьбу брата, пристраивала на работу сестру... У нее почти не оставалось времени на мечты, но все же она с нетерпением ждала сентября, когда должна была отправиться в Карпаты, в Закопане, чтобы встретиться с тем, кого, вопреки всему, продолжала считать своим женихом.

Увы, во время первой же совместной прогулки между молодыми людьми произошло объяснение. Его спровоцировала сама Мария, которая не могла больше вынести вечных колебаний со стороны того, кого любила.

— Если вы не видите способов прояснить наше положение, не мне учить вас, как это сделать...

Между ними все было кончено.

Вот тогда-то она ощутила пустоту своего существования. Ей было уже двадцать четыре года, из них шесть она работала учительницей... Марии казалось, что она постепенно забыла все, чему сама научилась в гимназии, которую закончила восемь лет назад...

Письмо, посланное ею сестре 23 сентября 1891 года, — настоящий крик о помощи:

«Решай, действительно ли ты сможешь устроить меня у себя... потому что я теперь могу приехать...»

И началось путешествие, условия которого диктовались строжайшей экономией: сбережения Марии да те несколько рублей, что смог добавить отец, роскошествовать не позволяли. Третий класс на железных дорогах России и Франции, четвертый —

на дорогах Германии: вагоны «были почти такими же голыми, как товарные: по скамейке у каждой из четырех стенок и посередине пустое пространство, где можно было довольно удобно устроиться на складном стульчике...»

Три дня подобного путешествия не сломили духа Марии, — правда, это вообще было довольно трудно сделать.

И вот она въезжает в Париж... Наконец перед ней Сорбонна, куда она так стремилась. Университет подвергся тогда полной реконструкции, что заставляло студентов постоянно перемещаться из аудитории в аудиторию по мере продвижения ремонтных работ.

Мария занималась со страстью и с завидным упорством. А по вечерам возвращалась в скромную квартирку сестры и зятя на улице Германии, которую Броня с отменным вкусом обставила вещами, купленными на распродажах. Атмосфера там была теплая и приятная. Там смеялись, пели, там за чашкой чая с пирожными собирались компании соотечественников... Надо сказать, что сестра Марии была истинным гением организованности и что ее визиты к больным и консультации (она специализировалась в гинекологии) не могли помешать ей отлично вести хозяйство и быть замечательной кухаркой. Марию немного мучила совесть из-за того, что у нее не было времени помочь сестре по дому, но на самом деле она не обладала особыми навыками в хозяйственных делах, а готовить не умела совершенно.

Однако, несмотря на любовь, которой окружали ее родственники и друзья, Мария вскоре начала страдать от того, что не может уединиться и поработать в тишине: слишком много шума, без

конца кто-то приходит и уходит, пациенты Брони и Казимира могут явиться даже среди ночи... и еще эти приятели, которые все время поют или играют на фортепиано, пытаюсь таким образом воссоздать атмосферу далекой родины.

Под тем предлогом, что ей далеко — да и дорого — ездить в Университет, она сняла комнату поблизости от Сорбонны, где могла спокойно заниматься.

И потекли трудные месяцы, когда она пренебрегала хлебом насущным, жалея на еду времени и денег, — месяцы, проведенные в добровольном уединении и посвященные исключительно работе. «Она обрекла себя на спартанское существование, где не было места человеческим слабостям» — так, ссылаясь на собственные слова Марии, говорила позже ее дочь, рассказывая об этом периоде жизни матери.

Подобное упорство не могло не принести свои плоды: в 1893 году Мария Склодовская стала первой среди лиценциатов физического факультета, в 1894-м — второй среди лиценциатов математического. Правда, в сентябре 1893 года, благодаря стараниям одной из ее подруг, она получила стипендию Александровича, предназначавшуюся лучшим из студентов-поляков и позволявшую им продолжать обучение за границей.

Так на нее внезапно свалилось богатство: целых шестьсот рублей! Она решила, что теперь продержится ровно пятнадцать месяцев, потому что до сих пор существовала лишь на сорок рублей, ежемесячно присылаемых отцом.

Здесь нам хочется привести пример, который лучше всего продемонстрирует честность и принципиальность Марии. Несколькими годами позже,

когда ей удалось, жестко экономя буквально на всем, скопить шестьсот рублей, она сразу же отнесла их секретарю фонда Александровича, чтобы он смог предоставить деньги в распоряжение другой молодой девушке, терпящей нужду. Это был первый и единственный случай, когда человек, получивший эту стипендию, счел нужным ее возвратить!

А пока у нее была лишь холодная комната, вечная усталость, трагедия из-за прохудившихся туфель, тяжелый труд — и гордость, которая заставляла ее соорудить вокруг себя стену независимости и убеждать себя, что она счастлива за этой стеной, чего бы это ей иногда ни стоило. К тому же унижения, которые принесла ей первая любовь, как бы защитили ее сердце броней, и она не желала даже думать о возможности полюбить снова. Ее заставили понять, что единственное предназначение бедной девушки — это работа, и она не хотела забыть горького урока.

Но случилось так, что в Париж в свадебное путешествие приехала со своим мужем молодая женщина, с которой Мария когда-то была знакома. Их фамилия была Ковальские. Муж был преподавателем физики в университете Фрибурга, он поговорил с Марией о работе, и та пожаловалась ему, что не может найти лабораторию посвободнее, чтобы провести заказанную ей серию экспериментов по магнитным свойствам разных видов стали.

В ответ Юзеф Ковальский пригласил ее назавтра к ним в гости, где она сможет встретиться с одним молодым ученым, у которого, возможно, окажется подходящее помещение в Школе физики и химии, где он преподает.

Этим молодым ученым оказался Пьер Кюри. Вот так, в скромном семейном пансионе, были представ-

лены друг другу эти два человека, которых разлучила потом только смерть, — люди, чьи имена знает теперь весь мир.

В то время Пьер был уже довольно широко известен за границей, но, как известно, нет пророка в своем отечестве, и во Франции его мало кто знал. Впрочем, ему это было безразлично, он предпочитал славе работу и даже отказался от «академических пальм», когда узнал, что ему собираются присудить эту награду.

По происхождению эльзасец и протестант, он был сыном и внуком медиков. Как это ни удивительно, Пьер никогда не учился в школе — просто потому, что не мог смириться со школьной дисциплиной. Его отец, человек редкостного ума, понял это и сам занялся образованием сына, а потом доверил его преподавателю, в котором не сомневался, — господину Базилю. В шестнадцать лет юноша стал бакалавром естественных наук, в восемнадцать — лицензиатом. В девятнадцать он уже работал лаборантом факультета естественных наук, где вместе с братом, пошедшим по его стопам, занимался исследованием пьезоэлектрических свойств кварца, позволяющих «с высокой точностью измерять малые количества электричества».

В двадцать четыре года Пьера назначили руководителем практических работ в парижской Школе физики и химии; Жак, его брат, уехал преподавать в Монпелье.

Служба не мешала Пьеру продолжать научные исследования: именно тогда им был сформулирован принцип симметрии кристаллов — основа современной физики; были сконструированы сверхчувствительные «весы Кюри» и открыт фундаментальный

закон магнетизма, известный ныне под названием «закон Кюри».

Когда Пьер познакомился с Марией, за плечами у него были уже пятнадцать лет работы, серьезные научные успехи и безоговорочное поклонение учеников, которых у него было множество. Но «государство платило ему триста франков в месяц — почти столько же, сколько получал на заводе квалифицированный рабочий...».

Благодаря дочери Пьера, Еве, мы можем представить себе человека, явившегося взгляду Марии:

«Он обладает своеобразным обаянием, в котором сочетаются серьезность и беспечная мягкость. Он высокий; его старомодный костюм немного ему велик, но тем не менее очень идет ему: сам об этом не подозревая, он наделен элегантностью от природы. У него длинные нервные пальцы. Черты правильные, малоподвижные, овал лица удлинняет жесткая бородка. Он очень красив; особенное очарование ему придают глаза — спокойные, с необыкновенным, глубоким и безмятежным взглядом, словно оторванным от мира вещей. Хотя этот человек всегда сдержан и никогда не повышает голоса, невозможно не заметить, насколько он умен, благовоспитан и изыскан. В мире, где интеллектуальное превосходство не всегда сочетается с нравственным, Пьер Кюри является образцом почти уникальной человечности: это мощный и благородный ум».

Мария, с присущей ей восприимчивостью, не могла сразу же не заметить близости, установившейся между ею и ее собеседником, но это было пока лишь родство взглядов в области науки — по крайней мере, с ее стороны.

А Пьер, который в свое время написал «гении среди женщин — редкость», был сначала очарован

хрупкой грацией молодой девушки, ее серыми глазами, белокурыми волосами. Внезапно он заметил, что ее пальцы изъедены кислотой, и понял, что она способна пожертвовать ради науки даже собственной привлекательностью.

Тогда он перевел разговор на физику, и его поразило, как в Марии сочетаются подлинная страсть к науке с огромным объемом знаний.

Она же поначалу стеснялась, больше слушала, не решаясь расспрашивать, но постепенно оживилась и даже пробовала спорить.

Когда пришло время расставаться, Пьер решил, что им обязательно надо увидеться снова, даже и не пытаясь разобраться, что именно им движет: научный интерес или какое-то другое чувство — такое сильное и нежное, какого он давно уже не испытывал.

«Как бы случайно» он встречался с ней в Физическом обществе, во время докладов о новейших научных достижениях.

Однажды он захотел сделать ей подарок, но это не был ни букет цветов, хотя они оба обожали цветы, ни какая-нибудь безделушка, которую Мария, конечно, приняла бы без всякого удовольствия. Это был только что опубликованный доклад «О симметрии в физических феноменах. Симметрия электрических и магнитных полей». На первой странице он начертил слова, которые стали первым его любовным письмом:

«Мадемуазель Склодовской — с почтением и дружбой от автора».

Вопреки тогдашним правилам он явился с визитом в ее комнатку в доме №11 по улице Фейантин. За этим не скрывалось никаких задних мыслей: все, что он знал об этой молодой польке от Ковальских,

внушало к ней глубокое уважение. А теперь ему были известны и ее жертвенность, и ее отношение к работе. У него сжалось сердце, когда он увидел, в какой бедности она живет, но обстановка настолько соответствовала аскетическому образу жизни обитательницы этой каморки, что вскоре он забыл о жалости и, несмотря на весь свой солидный научный опыт, почувствовал себя с Марией на равных.

Ее влияние на него росло по мере того, как укреплялась их дружба, которая быстро переросла в близость, свойственную людям, имеющим общие идеалы. Они совершали долгие прогулки по окрестностям Парижа и, собирая цветы в букеты, вели откровенные беседы. Мария обладала сильной волей, воздействовавшей на довольно беспечного — что греха таить — Пьера, и тот благодаря ей, — а может быть, и ради нее — опубликовал свою докторскую диссертацию и оформил работы по магнетизму.

Однажды Пьер произнес фразу, которая в устах людей застенчивых означает предложение руки и сердца:

— Мне хотелось бы познакомить вас с моими родителями...

Мария, казалось, не поняла. Она ценила свою свободу — а еще, может быть, боялась нового разочарования, которое оказалось бы для нее еще болезненнее прежнего.

Она была покорена теплым приемом, который встретила в семье Кюри, в их небольшом домике в Со, напомнившем ей квартиру ее отца в Варшаве, — но все-таки еще не уступила. Все, чего Пьер смог от нее добиться, — это обещания вернуться в Париж после отпуска, проведенного в Польше.

Все долгое лето 1894 года Пьер писал ей

длинные письма, в которые вкладывал всю душу. Письма эти были несмелыми, стыдливými, но, не решаясь из страха отпугнуть девушку заговорить о любви, в сентябре месяце он все же пишет: «Я очень бы хотел, чтобы мы стали, по меньшей мере, неразлучными друзьями», — словно предвидя, какое будущее их ожидает.

В октябре Мария снова приехала в Париж — как она полагала, всего на год. Затем она собиралась вернуться в Варшаву, чтобы параллельно с преподаванием опять заняться общественной деятельностью на благо своей родины.

Пьер этого не понимал. Ведь во Франции перед ними открывались прекрасные возможности для научной работы — так неужели судьба Польши кажется Марии важнее этого?

А для него самым важным была она. Он предложил ей работать «в его квартире на улице Муффтар с окнами, выходящими в сад, в квартире, которая легко делится на две независимые друг от друга части...» В конце концов он даже вызвался поехать вместе с ней в Польшу...

Он совершенно потерял голову — словно двадцатилетний юноша; впрочем, в глубине души он всегда им оставался. Именно в этом возрасте он лишился подруги детства, «которую очень любил», как сам признается Марии позже, и именно тогда — «по доброй воле» — обрек себя на монашеское существование. Теперь внезапно он вновь обрел любовь — и продолжил с того самого места, где остановился в прошлый раз...

Мария — упрямая, принципиальная, замкнувшая себя за стеной одиночества, которую сама и воздвигла, — не поддавалась.

Тогда вмешались семьи. Броня, ставшая к тому

времени матерью очаровательной дочурки, повидавшись с Пьером, отправилась в Со к мадам Кюри. Все сходилось на том, что редко можно встретить столь гармоничную пару, и никто не понимал Марию.

А она-то твердо знала, чего хочет: быть хозяйкой самой себе и своему времени. У нее было очень развито то, что она считала своим долгом, и она отказывалась тратить на любовь дни, которые ей казалось необходимым отдать работе.

И только по окончании учебного долга она наконец сказала Пьеру «да», в очередной раз отложив личное счастье ради выполнения задачи, которую перед собой поставила.

26 июля 1895 года в мэрии Со состоялось их бракосочетание. Мария была в новом платье — свадебном подарке матери Казимира, ее зятя: пожилая женщина жила теперь вместе с молодой семьей.

— Если уж вы так добры, что дарите мне это платье, мне хотелось бы, чтобы оно было темным, очень практичным и чтобы я могла потом надевать его, идя в лабораторию.

И тогда мадам Гле, портниха, жившая по соседству, сшила для нее костюм из темно-синей шерсти с блузкой в сине-голубую полоску...

Свадьба Марии и Пьера была не похожей на другие: они не заказывали обручальных колец, не устраивали приема, даже не венчались. На церемонии присутствовали только самые близкие друзья и старый профессор Складовский, который по такому случаю приехал с младшей дочерью из Варшавы.

У молодоженов не было ни одного лишнего су, и они владели единственным богатством: парой велосипедов, купленных накануне на деньги, преподнесенные им в качестве свадебного подарка одним из

кузенов. Благодаря этим велосипедам они смогли — вместо далекого и дорогостоящего свадебного путешествия — устроить себе во время медового месяца «свадебное бродяжничество» по деревням Иль-де-Франс. Они строили планы, они говорили о физике и о любви... они рвали цветы... они были счастливы...

В октябре они поселились на улице Гласьер — в квартире на пятом этаже, выходившей окнами в сад. Квартира состояла из трех маленьких комнат, которые, по обоюдному согласию, были меблированы весьма скромно, без каких-либо излишеств. Домашнее хозяйство казалось молодой женщине бесполезным занятием, поглощающим уйму времени и сил, так что она считала: чем реже ей придется вытирать пыль, тем лучше. Кроме того, они решили, что если хотят выполнить намеченную для себя программу, то не должны тратить время ни на приемы, ни на хождения по гостям.

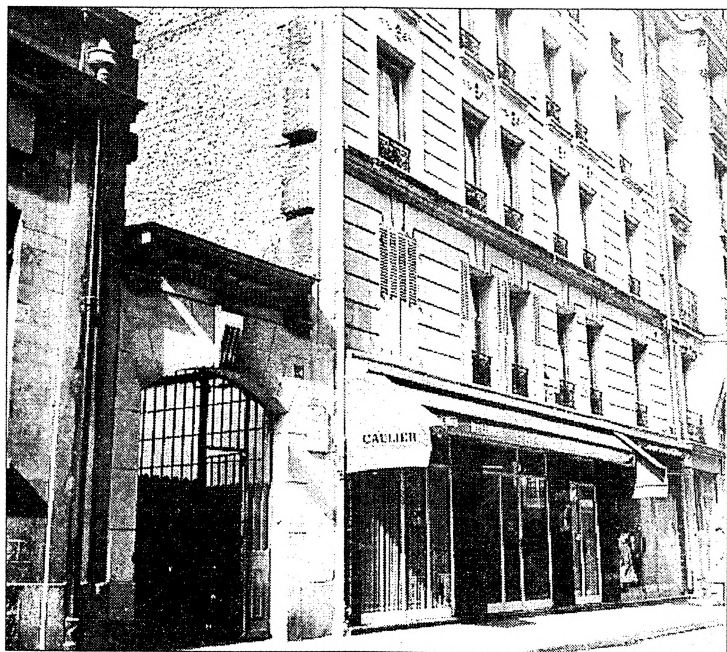
«Книжный шкаф, белый деревянный стол, два стула, научные работы по физике, керосиновая лампа, букет цветов» — такова была обстановка, в которой зародится идея одного из самых необычных открытий нашего времени.

Что касается Пьера, то он добился цели, которую поставил перед собой сразу, как познакомился с Марией: заниматься своей наукой вместе с любимой женщиной.

Понимая, что жизнь не сможет дать ему больше, чем уже подарила, он с головой погрузился в дорогие его сердцу занятия.

С чисто мужским эгоизмом он не отдавал себе отчета в том, на что обрекает свою молодую жену.

А та вновь столкнулась с теми же проблемами, которые преследовали ее в начале ее нищенской



*Здание, где жили Пьер и Мария Кюри.
Фото Роже Виолле.*

жизни в Париже. Правда, Пьер зарабатывал теперь пятьсот франков, но на эти деньги надо было ухитриться прожить вдвоем, потому что Мария не могла преподавать, пока не получит диплома, дающего право на звание адъюнкт-профессора.

Но ей было не занимать мужества, тем более что теперь его должно было хватить еще и на то, чтобы уберечь мужа от повседневных забот. И первой ее тратой стала покупка тетради для учета расходов.

Она знала, что такое экономия: это был враг, с которым она давно научилась управляться. Но теперь перед ней встала и другая проблема: она не умела готовить. Внезапно Мария осознала, что охотно отдала бы один из своих дипломов, чтобы научиться хотя бы жарить яичницу...

К счастью, рядом была сестра, которая всему научилась, когда после смерти матери вела их хозяйство в Варшаве. Мария тайком бегала к ней за советами и с таким же усердием и пылом, как все, чему когда-либо училась, усваивала непростую науку составления меню и приготовления хотя бы основных блюд.

Она читала поваренные книги и делала на полях пометки о результатах своих опытов — как будто речь шла о химии или физике. Когда она ставила на стол тарелку, то дрожала от страха, что мужу не понравится. Но Пьер не был гурманом и, привыкнув к тому, что у матери все получалось как бы само собой, совершенно не понимал, каких усилий требует кухня от его жены.

И если бы только кухня!.. Но надо же было еще вытирать пыль, стирать, гладить и делать еще тысячу разных дел, которым она прежде не уделяла никакого внимания, потому что не чувствовала в этом необходимости. Лицей, работа гувернантки,

студенческая жизнь... Возможно, все это многому ее научило, но, беспомощно глядя на незастеленную постель или невымытые окна, она начинала понимать, что наука — это еще не все в жизни.

И началась погоня за убегающим временем: рынок, лаборатория, где она добилась права работать вместе с мужем, хозяйство... Правда, у них была прислуга, которая приходила на час в день, мыла посуду и выполняла самую тяжелую работу.. но в доме оставалось еще столько дел! Настоящим отдыхом для Марии становились восемь часов в сутки, отданные научным изысканиям, и подготовка к конкурсу на право преподавания, которая часто затягивалась до трех-четырёх часов утра.

Это были для нее минуты счастья... Мы бы даже сказали — минуты любви. Каждый из супругов углублялся в свою работу, а потом кто-то из них поднимал голову, другой чувствовал это и улыбался...

Вот что Мария писала брату в ноябре 1895 года:

«У нас все идет хорошо: мы отлично себя чувствуем и жизнь к нам благосклонна...»

Хеля, ее младшая сестра, выходила замуж. У семейства Кюри не было денег на то, чтобы отправиться в Варшаву на свадьбу... Но их утешали простые радости: *«На улицах Парижа продается много цветов и по вполне доступным ценам, поэтому у нас всегда стоят букеты...»*

Учебный год закончился победой Марии: она оказалась первой по результатам конкурса на право преподавания в средней школе.

И тогда, как школьники, вырвавшиеся на каникулы, они закрыли за собой двери своей квартиры и отправились на велосипедах в путешествие по дорогам Оверни... Все вокруг них дарило им радость, все давало повод посмеяться, все оставляло



*Пьер и Мария Кюри.
Фото Роже Виолле.*

счастливые воспоминания. Они были молоды, влюблены друг в друга и беззаботны...

Но наступила пора возвращаться к работе. Правда, для них это было как бы продолжением вечных каникул, потому что они трудились вместе над задачей, которую сами перед собой поставили.

А потом случилось то, чего следовало ожидать: Мария забеременела.

Ожидание ребенка переполняло обоих супругов радостью, но, к несчастью, молодая женщина плохо переносила свое положение: *«У меня постоянно кружится голова, весь день, с утра до вечера. Чувствую себя неспособной к работе, и моральное состояние от этого очень плохое»*.

Теперь Марии, никогда не уделявшей никакого внимания своему здоровью, приходилось принимать всяческие меры предосторожности, чтобы не повредить растущей в ней жизни.

Однако ей приходилось так часто, как только возможно, навещать в Со: мать Пьера умирала от рака груди, и визиты невестки очень ее радовали.

Иногда молодая женщина спрашивала себя, хватит ли у нее сил выдержать все это... Всегда такая волевая, она чувствовала сейчас, что ей недостает воли, и очень страдала от этого. Тогда она сцепляла зубы, выпрямлялась, улыбалась Пьеру и снова бралась за дело: дом, лаборатория, дом, занятия...

Пьер-то не беспокоился: ему казалось, жена хорошо выглядит. Что до ее недомоганий, они представлялись ему естественными в ее состоянии. Впрочем, поскольку сама Мария вроде бы и не придавала им значения, что же можно требовать от него? Кроме того, как любой на его месте, он очень

тревожился из-за болезни матери, зная, что она неизлечима.

В одном из писем Марии брату есть трогательная фраза, которая показывает, насколько она всегда забывала о себе, думая о других: *«Я все время боюсь, что болезнь подойдет к развязке одновременно с моей беременностью, и тогда у моего бедного Пьера будут очень трудные недели...»*

Но профессор Склодовский знал, как тяжело приходится его дочери. Он проводил лето во Франции и настоял, чтобы она пожила вместе с ним в Пор-Блане, в отеле «У серых скал». У Марии в этом году не было экзаменов, и, значит, она вполне могла отдохнуть во время каникул. А когда Пьер освободится, он тоже приедет к ним.

Так супруги в первый раз разлучились, и благодаря этому до нас дошли чудесные любовные письма, которые доказывают, если это нуждается в доказательствах, что ученые тоже способны чувствовать:

«Моя маленькая девочка, такая дорогая, такая милая девочка, которую я так сильно люблю, я получил сегодня твое письмо и был очень счастлив. У меня нет никаких новостей, кроме той, что мне тебя ужасно не хватает: моя душа следует за тобой...»

Еще одно доказательство любви: Пьер писал жене по-польски!..

Она отвечала ему такими же нежными письмами: *«Приезжай скорее... Я жду тебя с утра до вечера... — и затем, без всякого перехода: — Книга Пуанкаре* гораздо труднее, чем я думала. Мне необходимо обсудить ее с тобой...»*

* Пуанкаре Анри (1854—1912) — французский математик. — Прим. ред.

Но для будущего отца существовали вещи, поважнее Пуанкаре:

«Я отправил тебе сегодня посылку: ты найдешь там две трикотажных распашонки... Это самый маленький и следующий размеры. Маленький размер подходит для трикотажных распашонок, но хлопчатобумажные надо будет сделать попросторнее. Тебе необходимо иметь распашонки двух размеров».

Какой необычный это был союз, если мужчина здесь брал на себя материнские заботы, а женщина говорила о работе...

Мария была уже на восьмом месяце беременности, когда Пьер наконец приехал к ней в Пор-Блан. И — как бы это ни показалось невероятно — они как ни в чем не бывало отправились в Брест на велосипедах! Правда, чтобы не разочаровывать мужа, обожающего подобные долгие прогулки, Мария уверила его, что такое путешествие ничуть не опасно и нисколько ее не утомит.

Тут ее мнение не совпало с мнением будущего ребенка, который заявил о своих правах, вынудив родителей срочно вернуться в Париж, где и родился на свет 12 сентября.

Роды у своей невестки принимал сам доктор Кюри; он первым взял на руки Ирен, когда никто и не подозревал, что ей суждено стать Нобелевской лауреаткой.

Одна небольшая деталь показывает, какие безумства позволили себе молодые родители в честь рождения дочери, — в книгу расходов было внесено следующее:

Шампанское — 3 франка

Телеграмма — 1 франк 50 сантимов

Аптека и сиделка — 71 франк 50 сантимов.

Все эти расходы, которые в то время еще не

оплачивались органами социального обеспечения, тяжелым грузом легли на скудный семейный бюджет — настолько тяжелым, что под общим итогом сентября были проведены две жирные черты. Но какой мелочью показались бы им три франка на шампанское, если бы они знали будущее этого ребенка!

Ирен еще больше осложнила жизнь своей матери, но Мария вела себя так, словно появление ребенка ничего не изменило в жизни их семейства: просто у нее появилась еще одна обязанность, вот и все.

Но вскоре и мать и ребенок стали слабеть, и Марии пришлось перестать кормить дочку грудью. Это было для нее большим горем, которое удваивалось от мысли, что из-за оплаты кормилицы еще больше возрастут их расходы.

А у ее близких была другая причина для тревог: доктор Вотье, который осматривал Марию, заподозрил, что у нее в левом легком туберкулезные изменения. Но молодая женщина даже слушать не желала ни о каких курортах.

Да и как она могла позволить себе уехать, когда надо было заканчивать работу о магнитах, которая должна быть опубликована в бюллетене Общества поддержки национальной индустрии?..

И снова замкнутый круг: работа, дом, работа, дочка... Появление ребенка перевернуло четкий распорядок их жизни, в которой обилие занятий требовало строжайшей организации. Но как заранее запланировать, что девочка станет плакать всю ночь, потому что у нее режутся зубки, и Мария, не выспавшись, не сможет работать с обычной эффективностью?.. К счастью, тут пришел на помощь отец Пьера. Как и предвидела Мария, его жена умерла

практически тогда же, когда ее внучка появилась на свет, поэтому дедушка перенес на ребенка всю свою нежность, которая после кончины жены оставалась в нем невостребованной. Ирен проводила целые дни в Со, где училась ходить, и благодаря этому Мария по нескольку дней подряд могла работать спокойно.

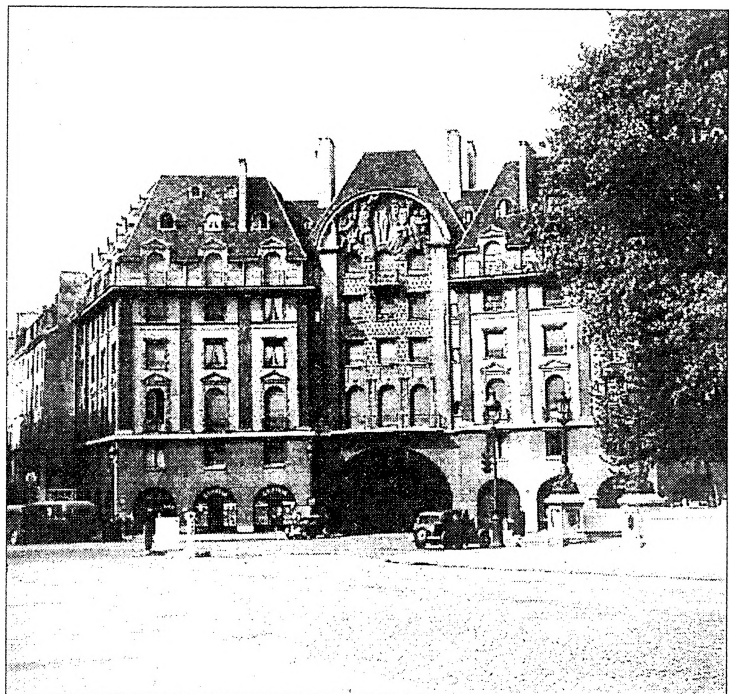
Теперь пора поговорить об условиях, в которых ученые проводили свои эксперименты. Единственным помещением, которое они смогли получить в свое распоряжение, был небольшой сарай на улице Ломону, принадлежавший Школе физики и химии, — бывшая мастерская, которая служила им теперь и кладовой, и лабораторией. Никаких удобств, сырость, безнадежно устаревшие приборы...

Однажды Мария написала: *«Жизнь нелегка, но что поделаешь — надо иметь упорство, а главное — верить в себя. Надо верить, что ты родился на свет ради какой-то цели, и добиваться этой цели, чего бы это ни стоило».*

И если Мария Кюри была восхищена, то не в тот день, когда получала Нобелевскую премию, а когда в течение четырех лет день за днем упорно искала элемент, в существование которого верила, — элемент более радиоактивный, чем уран или торий, — в холодном помещении, в почти невыносимых условиях, в каких сегодня отказался бы работать самый последний лаборант.

Мы не собираемся здесь вдаваться в подробности их открытия, да и вряд ли нам бы это удалось. Ограничимся тем, что сухо изложим научные факты. Однако история открытия радия — это ведь и история любви.

Вот два лица, склонившиеся над приборами, в поисках неведомого вещества, присутствие и излучение которого они чувствуют. В блокнотах, где они



*Площадь, где погиб Пьер Кюри.
Фото Роже Виолле.*

день за днем отмечали каждый свой шаг, трудно отличить почерк одного от почерка другой. С этих пор, рассказывая о своих изысканиях и о своих достижениях, они никогда не говорят «я» — только «мы», потому что Пьер бросил все свои исследования, чтобы вместе с женой полностью отдаться изучению радиоактивных элементов.

Но семейная жизнь шла своим чередом, и нам хотелось бы процитировать здесь три текста, написанных практически одновременно — в июле 1898 года; эти три отрывка лучше, чем целые тома, расскажут нам о Марии Кюри:

«Некоторые минералы, содержащие уран и торий (смоляная обманка, халколит, уранит), весьма активно испускают лучи Беккереля. В предыдущей работе один из нас показал, что их активность даже выше, чем у урана и у тория, и высказал мнение, что этим эффектом мы обязаны некоей весьма активной субстанции, которая в малых количествах содержится в этих минералах... Мы полагаем, что субстанция, выделенная нами из смоляной обманки, содержит неизвестный доселе металл, близкий по своим аналитическим особенностям к висмуту. Если существование этого металла подтвердится, мы предложим назвать его «полонием» — по имени страны, где родилась одна из нас.

(Пьер и Мария Кюри «Из отчетов...»)

«Я взяла восемь фунтов фруктов и столько же сахарного песка и, прокипятив в течение десяти минут, пропустила смесь через достаточно мелкое сито. У меня получилось четырнадцать банок отличного желе, правда, не прозрачного, но прекрасно застывшего.

(На полях книги «Городская кухня»)

«Ирен показывает ручкой «спасибо»... Она теперь очень хорошо ходит на четвереньках и говорит: «Гогли-гогли-го...» Она целые дни проводит в саду (в Со). Она катается по траве, поднимается и садится...»

Ее дом, ее дочка, ее работа: вся жизнь Марии отныне заключена в этих трех понятиях.

Она очень устает, но не показывает вида. К счастью, в августе их с мужем ожидал отпуск, они оба очень любили это время и ясно себе его представляли.

Из-за Ирен они сняли крестьянский домик в Оверни и оттуда уже разъезжали на велосипедах в разных направлениях, обретая в этих прогулках детскую радость и беззаботность.

В течение целого месяца они могли принадлежать только себе самим, любить друг друга и если и говорить о работе, то посреди полей, а не во вредоносной атмосфере маленькой мастерской на улице Ломон.

Как и год назад, они ожидали «счастливого события», но теперь это был не ребенок, а новое вещество, которое они вот-вот должны были открыть... И это ожидание было так же восхитительно, так же сулило надежды и так же объединяло их, как и ожидание ребенка...

Вернувшись в Париж, Мария узнала огорчившую ее новость: ее сестра и зять должны были вернуться в Польшу для постройки санатория: *«С вашим отъездом я потеряла все, что привязывало меня к Парижу, кроме моего мужа и моего ребенка. Теперь мне кажется, что Парижа больше не существует за стенами нашего дома и школы, где мы работаем...»* Дом, работа, Ирен, работа...

И вот наконец сообщение, сделанное Пьером, Марией и их сотрудником Бемоном для Академии наук. Этот доклад был прочитан на заседании Академии 26 декабря 1898 года:

«По причинам, которые мы только что перечислили, мы пришли к мысли, что новое радиоактивное вещество содержит новый элемент, которому мы предлагаем дать название «РАДИЙ». В новом радиоактивном веществе в больших количествах содержится барий, но несмотря на это его радиоактивность вполне достаточна. Это значит, что радиоактивность радия должна быть огромной».

Теперь, по прошествии времени, можно с уверенностью сказать, что это было одно из самых грандиозных открытий в истории современной науки.

Однако неделей позже Мария с такой же, если не большей гордостью запишет: *«У Ирен уже пятнадцать зубов...»*

Словно в хорошо построенной пьесе, тут заканчивается первый акт жизни Пьера и Марии Кюри, опускается занавес и происходит смена декораций.

Им придется покинуть улицу Гласьер, потому что для ребенка нужен сад, где девочка могла бы свободно развиваться.

Есть, конечно, Со, но это далековато.

Решение было принято быстро: на бульваре Келлерман нашелся свободный домик, достаточно просторный для того, чтобы доктор Кюри мог жить здесь вместе с сыном, невесткой и внучкой.

Так была перевернута страница, которая, хоть они сами и не подозревали об этом, стала самой счастливой в их жизни.

В последовавшие затем годы к ним придет слава, а вместе с нею, в 1903 году, и Нобелевская

премия. Но эта слава делает невозможным то, чем они больше всего дорожили: спокойную жизнь, наполненную мирным трудом. Мария сама признается в этом:

«Усталость, ставшая результатом усилий, которые превосходили наши возможности и которые мы вынуждены были предпринимать из-за неудовлетворительных материальных условий, только умножилась от обрушившейся на нас известности. Мы по-настоящему страдали оттого, что наше добровольное уединение было разрушено, и это стало для нас подлинной катастрофой...»

Подобная жалоба в устах женщины, не терявшей мужества даже в самые трудные времена, просто потрясает.

Им пришлось маскироваться, чтобы незамеченными уехать в деревню и возобновить свои велосипедные прогулки, которые только и помогали им скрыться от любопытствующей толпы. Они боялись журналистов, которые преследовали их всюду, хотя Мария постоянно твердила им: «В науке интересны факты, а не личности...»

Ничто их больше не радовало. Пьер обессилел. Мария устала.

Родилась вторая дочка, ее назвали Евой.

К счастью, они смогли уберечь от нашествия любопытных свой домик на бульваре Келлерман. Там они принимали немногих друзей, по преимуществу — ученых, там наблюдали за тем, как растут их дочери...

Наконец Пьер узнает, что в Университете специально для него создается кафедра физики и что он может отныне иметь трех сотрудников: руководителя работ, лаборанта и служителя. Естественно, в качестве руководителя работ он выбрал собственную

жену. Так Мария впервые стала официальным сотрудником лаборатории своего мужа.

«Госпожа Кюри будет получать на этой должности годовую заработную плату в размере двух тысяч четырехсот франков, начиная с 1 ноября 1904 года...»

Две тысячи четыреста франков в год... То есть всего вдвое больше, чем посылал ей отец, когда она была всего-навсего нищей студенткой... Абсурд!

Но главное преимущество их нового положения заключалось в возможности получить наконец на улице Кювье почти нормальную лабораторию, состоящую из двух комнат.

Ох, как же нелегко было этого добиться! На этот раз основную нагрузку взял на себя Пьер: он боролся, писал во все инстанции, защищая свое дело. Мария скажет позже:

— На самом деле открытие радия было совершено в совершенно неподходящих условиях; хотя помещение, в котором это произошло, и овеяно теперь романтическим флером. Но для нас этот налет романтики вовсе не был преимуществом, он только отнимал у нас силы и время. Имея лучшие средства, мы бы справились за два года вместо пяти, потратив при этом меньше усилий.

Но даже для самой скромной лаборатории нужны были кредиты, за которые они бились, выбивая каждый франк...

Пьер строил планы сооружения лаборатории, о которой они мечтали, лаборатории, где были бы идеальные условия для работы. Он чертил проекты, производил расчеты, составлял сметы... Но пройдет еще восемь лет, пока они получат наконец помещение, достойное их открытий.

Но Пьер этого уже не увидит...

В это время Академия внезапно осознала, что присутствие среди ее членов знаменитого физика стало бы логическим следствием его всемирной известности.

Не дожидаясь обращения самого ученого, напротив, без всякого желания с его стороны, его избрали 3 июля 1905 года членом Института Франции, объединяющего пять академий.

В порядке анекдота уточним, что двадцать два из его будущих собратьев проголосовали против...

В 1906 году новоявленный академик напишет: *«Я так до сих пор и не понял, зачем нужна Академия».*

Почести были безразличны супругам Кюри, их дружное и плодотворное сотрудничество продолжалось, и не стоит думать, что отношения между ними были строги и суровы. Совсем наоборот: фундаментальные открытия, которые вывели Францию в авангард мировой науки, были сделаны в атмосфере, где царили хорошее настроение, взаимное доверие и даже веселье.

Эти двое были практически одним целым: они относились друг к другу с той снисходительностью и добротой, какие люди обычно приберегают для себя самих.

И, конечно, подобное единство было важнейшей причиной всех их успехов.

Но жизнь — суровый кредитор: тот, кому много дано, платит за это слишком высокую цену.

14 апреля 1906 года Пьер написал:

«Мы с мадам Кюри работаем сейчас над точной дозировкой радия на основании его излучения. Это кажется пустяком, но тем не менее мы трудимся уже много месяцев и только сейчас начинаем получать стабильные результаты...»

А 19 апреля произошла трагедия.

Достаточно было скользкой мостовой, достаточно было оступиться, достаточно было воза с запряженными в него лошадьми, которых кучер не сумел сдержать, и колеса, которое прокатилось по телу, выткнувшемуся на земле, чтобы на перекрестке улицы Понт-Нев и набережной красная и вязкая материя смешалась с грязью... Это был мозг Пьера Кюри...

— Пьер умер?... умер?... Совсем умер?...

Этот отчаянный крик испустила Мария, когда ей сообщили ужасную новость. Она не хотела верить в его смерть.

А потом потянулись ритуалы, постепенно отбирающие у человека его физическую сущность: последний туалет, положение во гроб, захоронение...

Мария отказалась от всяких почестей, какие полагались при похоронах; все, о чем она просила, это чтобы ей разрешили устроить их в Со, в самом узком кругу, и если уж обязательно должен присутствовать министр, а именно — министр народного просвещения, то пусть он придет туда как частное лицо: Аристид Бриан* полагал, что он обязан отдать последний долг умершему.

Разумеется, явились и репортеры: они надеялись сделать сенсационную фотографию, подсмотреть какую-нибудь скандальную деталь: но горе Марии было таким огромным, что все репортажи получились достойными и уважительными:

«Госпожа Кюри, опираясь на руку своего свекра, шла за гробом мужа до могилы, вырытой у самой кладбищенской ограды, в тени каштановых деревьев. Там она на мгновение остановилась и стояла непод-

* Бриан Аристид (1862—1932) — французский политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира. — Прим. ред.

вижно, глядя на могилу строго и пристально. Но когда принесли большой букет цветов, она вдруг резким движением схватила его и принялась по одному бросать цветки на гроб.

Она делала это медленно, важно и, казалось, забыла о присутствовавших, которые, находясь под глубоким впечатлением, не производили ни малейшего шороха». «Журнал», 22 апреля 1906 года.

О чем она думала, бросая на гроб цветы? Может быть, перед ее внутренним взором проходили их долгие деревенские прогулки, откуда они возвращались на своих велосипедах, щедро украшенных букетами... Как много места значили для них цветы...

И все же жизнь продолжалась: Марии было всего тридцать восемь лет, и ей надо было вырастить двоих детей.

Она отказалась от пенсии («Я еще достаточно молода, чтобы заработать на жизнь себе и дочерям»), но согласилась принять кафедру, оставленную мужем.

Впервые в жизни Мария завела дневник, на страницах которого вела долгий разговор с ушедшим. Она так часто разговаривала с Пьером, что сейчас прибегла к этой мучительной уловке, чтобы продолжить диалог... чтобы избавиться от ощущения, что она осталась одна... совсем одна...

— Пьер спит последним сном под землей... это конец всему... всему... всему...

Но эта хрупкая маленькая полька снова набралась мужества — и вернулась к работе.

Она станет знаменита, как никогда не была знаменита ни одна женщина, но каждый, кто увидит

ее, удивится ее щедрости и застенчивости: это и есть мадам Кюри? Та самая прославленная мадам Кюри?

Все ее исследования, все открытия станут отныне лишь данью любви к покойному мужу.

В течение двадцати восьми лет окруженная почестями, все более хрупкая, все более слабая, она будет находить поддержку в мысли о том, что продолжает *их дело* — дело, начатое на улице Гласьер, за белым деревянным столом, украшенным букетом цветов.

В своем дневнике она так и останется той влюбленной молодой женщиной тех времен; говоря со своим мертвым мужем, она станет ему рассказывать как о предметах исключительной важности:

«Я хотела тебе сказать, что альпийский рабитник в цвету, и глицинии, и боярышник, и ирисы тоже начинают цвести... Тебе бы все это очень понравилось...»

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Франсуаза д'Обинье и Поль Скаррон.....	7
Франсуаза Скаррон и Луи де Вилларсо	57
Дельфина де Кюстин и Александр де Богарне	92
Герцогиня Орлеанская и Рузе	137
Ламартин и Жюли Шарль	165
Клотильда де Во и Огюст Конт	212
Люсиль Луве и Анри Мюрже	267
Бланш д'Антиньи и Люс	307
Мария и Пьер Кюри.....	348

Популярное издание

Клод Карон

ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ ПАРИЖА

Главный редактор *Л. Михайлова*
Редактор *Л. Аронова*
Корректоры *Н. Коршунова, Т. Нарышкина*
Технический редактор *Т. Кулагина*

ЛР 064134 («КРОН-ПРЕСС») от 07.06.95.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 27.12.97.

Формат 84×108^{1/32}. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Гарнитура Академия. Усл. печ. л. 20,16. Тираж 15 000 экз.
Заказ 1057.

ООО Издательский Дом «КРОН-ПРЕСС»
103030, Москва, ул. Новослободская, 18, а/я 54

По вопросам реализации обращаться по адресу:
127254, Москва, Огородный проезд, 6
Тел.: 218-30-03, 219-82-14

Посетите магазин «КРОН-ПРЕСС» по адресу:
Москва, ул. Новослободская, 18
Тел. 972-14-23

Отпечатано с готовых диапозитивов на Книжной фабрике
№ 1 Госкомпечати России
144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25



Любовь и Париж... Эти два слова таят в себе неизъяснимое очарование. Ни один город мира не был свидетелем столько любовных историй. Ведь именно в Париже чаще всего встречались великие любовники. Возможно, благодаря этой книге вам посчастливится пережить свой собственный чудесный роман — роман с Парижем. Ведь этот неповторимый город дарит себя всякому, кто любит его, дарит свои улицы, дома и свою историю.